ЮНОСТЬ

9

[СОТЫЙ НОМЕР]

1963

Роман

Владимир ОРЛОВ

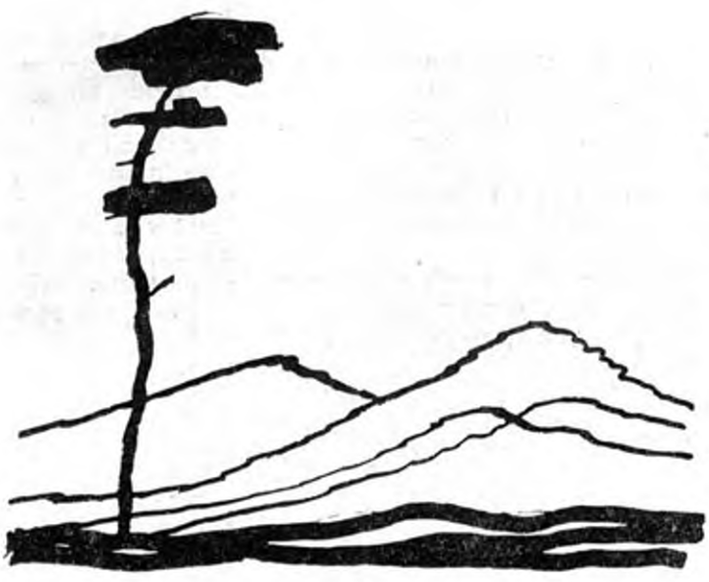
В 1959 году Владимир Орлов, тогда студент-выпускник факультета журналистики МГУ, выступил на страницах нашего журнала с первым своим очерком, «Дорога длиною в семь сантиметров»,— о строительстве железной дороги Абакан—Тайшет. Это была его дипломная работа.

С тех пор В. Орлов, будучи работником «Комсомольской правды», неоднократно выезжал на строительство этой дороги, изучая жизнь молодых рабочих; результатом этого и явился роман «Соленый арбуз» — первое крупное произведение В. Орлова.

Соленый арбуз

Рисунки В. Юдина.

1



У Попа была собака. Поп ее, естественно, любил. Была она лысая, кривоногая, как венский стул, с откровенной ленью в глазах и терпела обидную кличку «Кастрюля». Увидев ее впервые, он, Кешка, понял сразу, что никаких шансов попасть в спутник она не имеет. Тем не менее Поп ее любил.

Еще у Попа был верблюд. Верблюда Поп тоже любил. Даже больше, чем собаку. Еще бы! Собак в Абакане — как белых медведей на Северном полюсе, а верблюд единственный.

И хотя верблюд был пенсионного возраста, и хотя на тощем загривке его торчали бурые и рыжие кустики шерсти, и хотя носил он на мосластых передних ногах лохматые, неприличные подштанники, снижавшие впечатление от его донкихотской фигуры, держался он на редкость гордо и с презрением относился к шестидесятидвухтысячному населению Абакана.

Во рту его все время плавала жевательная резинка, и каждую секунду он мог унизить любого встреч-

ного полновесным свинцовым плевком. Он не щадил авторитетов. И даже однажды совершенно спокойно плюнул в лицо уважаемого товарища милиционера Чорчокова, регулировавшего движение на перекрестке улиц Щетинкина и Чертыгашева.

Обвиняли потом не верблюда, а его, Кешку, будто бы верблюд несознательный и не умеет самостоятельно мыслить...

— Ну ладно,— сказал Николай,— надо ехать.

— А потом верблюд... верблюд...— Кешкин рассказ забуксовал, как «ГАЗ-51» на Чертовом болоте.

Кешка обиделся. Каждый раз не дают досказать ему эту историю. А она интересная. Местами про любовь.

Верблюд был его слабостью. Кешка никогда не мог устоять перед соблазном рассказать про верблюда и про его хозяина Попа, своего бывшего друга («У, гад, обыватель, остался в Абакане вместе с братцем!»).

Конца этой истории никто так и не слыхал. Либо Кешку перебивали, либо он сам забывал о верблюде и начинал описывать свои похождения в Абакане и Красноярске. Он уверял, что его родной Абакан веселее Одессы, и рассказывал, как он делал мясо из живого рогатого скота на Абаканском мясокомбинате.

— Помогай грузиться,— сказал Николай.

У Кешки перекосилось лицо.

— Букварь! Ты еще спишь? — закричал Кешка. Потом он сказал Николаю доверительно:— У нас же есть Букварь.

Из общежития, длинного и приземистого, как солдатская столовая, выскочил Букварь и заспешил к машине.

Букварь пыхтел. Из уголка рта его торчал кончик языка, розовый и несолидный.

По спине Букваря нудно и методично стучал вместительный мешок на коротких лямках, набитый гвоздями, шурупами, болтами, костылями, шпингалетами и дверными ручками.

Букварь осторожно и даже торжественно нес сверкающий бачок размером с ведро, взятый два дня назад со склада. В него были втиснуты бачки поменьше и кастрюли. Лежали сверху чистенькие, но тусклые алюминиевые миски, тарелки и чашки.

Чашки подпрыгивали, перевертывались и позвякивали.

Маленький старательный Спиркин с оттопыренными ушами вышагивал за Букварем с мешком картошки на плечах. Выражение лица у него было суровое и монументальное. Видимо, Спиркина высекли резцом из куска мрамора, и пришлось постоять ему в ответственной скульптурной группе. Потом это ему надоело, и он сбежал с постамента, переквалифицировался в плотники, но изменить выражение лица ему так и не удалось.

— Ты чего? — спросил Спиркин.

Он увидел Кешку, Кешка валялся на траве и жевал травинку.

— Ничего,— сказал Кешка.— А ты чего?

Мраморный Спиркин сплюнул и зашагал к машине.

Плелся за ним и толстый Бульдозер, а по паспорту Борис Андропов, посвистывал и нес брезгливо в обеих руках «авоськи», растянутые, как невод китами, пузатыми пакетами с мукой, крупами, вермишелью, сахаром и прочими непитьевыми продуктами.

Упруго ступали по земле длинные баскетбольные ноги Виталия Леонтьева. Были они обтянуты синими тренировочными брюками и обуты в синие кеды. Как охапку дров, тащил Виталий в левой руке топоры и плотницкие инструменты.

Ольга шла за Виталием Леонтьевым и старательно копировала его упругий шаг. Но ноги у нее были не такие длинные, и упругий шаг получался не так эффектно. Зато изящный наклон головы и философское выражение глаз Виталия она передавала точно.

Николай улыбнулся ей из кузова машины.

Хулиганистый пластмассовый Буратино дергался и пытался вырваться из цепких пальцев Ольги, сжавших его морковный нос. Но у Буратино ничего не выходило, и он продолжал крутиться вокруг оси своего собственного носа, показывая всем желтые пластмассовые ботинки.

— Кажется, все,— сказал Николай.

— Все,— веско подтвердил серьезный Спиркин.

Когда шофер Петухов влез в кабину, Николай сказал ребятам, чтобы они не задерживались и к вечеру были на Канзыбе и что старшим он назначает Спиркина.

— Ясно,— сказал Спиркин и поправил блестящую пряжку отличного командирского ремня.

Конечно, ничего не произошло, но Спиркин все-таки скосил глаза в Кешкину сторону.

Выражение лица у Спиркина было гордое и значительное, словно его фотографировали сейчас у развернутого знамени.

В армии Спиркин был отличником боевой и политической подготовки, своим монументальным лицом неизменно украшал доски почета и дорос до сержанта.

В чемодане Спиркин таскал выгоревшую гимнастерку и галифе. Время от времени он доставал гимнастерку, отглаживал ее, пришивал новый подворотничок и укладывал на старое место. Кешка никогда не упускал случая сострить по этому поводу. Сегодня был день его острот.

Машина катила между коробок общежитий, а Кешка все валялся на чахоточной траве и кричал:

— Букваря не потеряйте! Букваря!..

Ехали час, а может быть, два. Ехали сначала по зигзагам, спиралям и петлям Артемовского тракта, а потом свернули на дорогу, пробитую тракторами и бульдозерами в тайге. Дорога была похожа на лыж-

ню. Бежали к Канзыбе две жирно-бурые глинистые колеи, выдавленные в пахучей силосной траве сталью и резиной.

На Артемовском тракте было шумно и тесно, как в Москве на улице Горького. Только милиционеры не попадались, и в отличие от улицы Горького Артемовский тракт был царством грузовиков.

Букварь подумал: если бы эти труженики исчезли с тракта, замерла бы в Саянах жизнь. Перестали бы крутиться машины Джебской электростанции. Закрылись бы в Артемовске, в таежных деревнях и поселках магазины. Бульдозеры у Кизира уткнулись бы стальными вогнутыми лбами в желтые и зеленые откосы, а не знающие отдыха экскаваторы стояли бы печальные и сонные, как жирафы в Московском зоопарке.

Но уставшие, пропылившиеся грузовики не исчезали с тракта. Они везли жирный, блестящий уголь, бледно-желтую руду, бочки с бензином и пивом, лоснящиеся на солнце рулоны руберойда, длинные туловища саянских сосен и кедров, аккуратные белые листы жести, ящики, в которых подскакивали бутылки с молоком, подсолнечным маслом и водкой, взрывчатку, утюги и свиную колбасу производства Абаканского мясокомбината.

Они летели по тракту, булыжному и узкому, проскакивали отчаянные его спирали.

Букварю нравилось следить, как приближались к ним встречные машины.

Сначала километрах в двух-трех впереди, где-то на петле, повисшей над хрустальным Кизиром, машина ползла, как божья коровка по коричневому осеннему листу. Потом она становилась размером с собаку и шла все быстрее. Потом она неслась метрах в ста впереди, гудела угрожающе, и вот уже была совсем рядом, и вот уже с оглушительным ревом, со смазанными скоростью формами проносилась мимо, как ракета, и у Букваря замирало сердце и от этого рева, и от этой скорости, и от этих смазанных, как на фотографии с большой выдержкой, форм.

Артемовский тракт двигался лентой транспортера. Еще недавно эта торопящаяся узкая лента бежала среди неподвижных, застывших деревьев и скал. Только порывистый, шумный Кизир пытался соперничать с лентой булыжного транспортера.

Теперь движение переместилось в тайгу и горы. По обе стороны дороги суетились экскаваторы, бульдозеры, тракторы, самосвалы, шумели бетономешалки и компрессорные установки, захлебывающимися пулеметными очередями вгрызались в камни отбойные молотки. В скалах над Кизиром, на катышах и уступах, где торчали из камня березы, кривые и причудливые, висели на веревках взрывники с перфораторами в руках, висели на стометровой высоте над летящим серым потоком. Из насыпей, выемок и тоннелей люди и машины готовили ленту полотна для новой дороги, стальные рельсы которой должны были принести в Саяны новые стремительные скорости.

Таежное солнце, как и Кизир, старалось не отстать от этих скоростей. Оно гналось за машиной шофера Петухова и заставляло Букваря одну за другой расстегивать пуговицы ватника. Раскосая девчонка со встречной машины бросила в Букваря венок из жарков. Оранжевое кольцо ударилось о борт машины и упало на булыжное шоссе. Девчонка валялась в кузове на куче мокрого песка, пахнувшего аквариумом, и хохотала. Букварь стащил ватник и помахал им ей вслед. Ему было весело. Ему нравился неслышный хохот девчонки, солнце, летевшее по небу, и спешащий завистливый Кизир.

Еще Букварю нравились суслики.

Суслики рыжими столбиками стояли вдоль шоссе, как болельщики во время велосипедных гонок. Шум трассы выгонял их из нор, завораживал и заставлял часами торчать в метре от бешено вертящихся колес. Они были одинаковые. Почти все стояли у камней на задних лапах, напряженные, вытянувшиеся, с прижатыми ювелирными ушами и наведенными на дорогу антеннами усов.

Ребята, проезжавшие по тракту, запасались камнями и от нечего делать пугали сусликов. Букварь тоже набрал камней. Камни лежали у него в ногах маленькой кучкой. На поворотах кучка меняла формы, и камни тыкались в доски заднего борта.

— Вон в того,— посоветовала Ольга.— Слева.

Букварь целился не в суслика, а в куст. Камень упал около куста и отскочил к суслику. Рыжий столбик даже не вздрогнул, словно был бетонным.

— Ты только посмотри,— радостно сказал Букварь Ольге,— какой хладнокровный! Ты только...

Он обернулся и не договорил. Ольга не смотрела на дорогу. Ее рука лежала в руке Николая. Ольга улыбалась и смотрела в глаза Николаю. Николай тоже улыбался.

Букварь был не маленький и все понимал. Он перевел глаза на Буратино. Буратино сидел рядом с Ольгой, свесив с доски худенькие пластмассовые ноги в тяжелых желтых башмаках.

— Очень хладнокровный суслик,— нерешительно сказал Букварь и отвернулся.

Он взял камни в ладони и не спеша высыпал их на дорогу. Камни попрыгали в пыли и замерли на шоссе длинной ломаной цепочкой.

Когда между стволами деревьев сверкнул зажженный солнцем осколок Канзыбы, шофер Петухов повернул налево. Машина заковыляла медленно и осторожно, мяла траву, кустарник и цветы.

Вещи таскали вчетвером.

Домик, поставленный над Канзыбой лет тридцать назад охотниками, был маленький, но крепкий, похожий на сибирскую баню, коричневый изнутри и снаружи от старости, с единственным окном, стекла которого, покрытые пылью, неизвестно как уцелели.

Нос Буратино уперся в стекло, выцарапал на нем тонкие танцующие буквы, и из них составились слова: «Гостиница Канзыба».

Единственную комнату «гостиницы» забили вещами, и шофер Петухов угнал свою машину, пообещав вечером привезти остальных и не забыть железную печку и брезентовую палатку.

Букварь изучал окрестности. Домик пристроился к боку скалы, лоб которой нависал над Канзыбой. Вода Канзыбы крутилась по спирали и ласкала каменное подножие скалы. Ласка эта была фальшивой.

— Красиво? — спросил Николай.

— Красиво,— выдохнул Букварь.

Глаза Николая горели, словно у него была температура. Букварь чувствовал, что Николай хочет ему что-то сказать, но Николай молчал и нерешительно тер подбородок.

— Знаешь, Букварь,— сказал Николай,— сходи притащи дров, хворосту... Возьми топор...

— Хорошо.

Николай помолчал и добавил:

— Только ты не спеши... Понял? — Он улыбнулся.

Другой на месте Букваря обиделся бы. Это в детстве, когда взрослым нужно было остаться одним, они просили его погулять и даже послали однажды в магазин за пачкой лаврового листа.

Букварь выбрал топор и сказал:

— Ладно, я притащу дров.

2

Сначала Букварь собирал цветы.

Потом, когда в руках у него оказался букет, за который старухи у абаканского вокзала запросили бы рубля три, и не было цветам конца, Букварь положил букет на жилистые, коричневые корни сосны, похожие на огромные старческие пальцы, скрюченные, шершавые и длинные.

Тайга манила его, как пчелу запах меда. Он шел все дальше и дальше, не думая о том, что может заблудиться, сосредоточенный и жадный, стараясь увидеть все и запомнить все.

Совсем другая тайга жила в его воображении. В той тайге деревья жались друг к другу, как прутья в гигантском венике. И земля, по которой никогда не прыгали солнечные лучи, была покрыта слоем прелых, потерявших запах и цвет иголок и похожим на плесень мхом.

Тайга оказалась обыкновенным лесом. Шумным, ярким, приветливым. Стучал по кедрачу дятел, цеплялись за куртку колючие ветки шиповника и малины, танцевали над кустами и травой крупные пестрые бабочки.

Казалось, деревья росли здесь не из земли, а из цветов.

Букварь на секунду закрыл глаза, но цветы не исчезали. На одной из полянок, у острых желтых камней, он не выдержал, остановился и долго стоял и смотрел. Ему вдруг захотелось петь, скакать на одной ноге, как в детстве, или уткнуться лицом в оранжевый букет жарков.

Неожиданно Букварю представилось, что из-за деревьев появился Кешка и, хохоча, показал на него пальцем. Букварь невольно обернулся. Кешки не было. Но дело было не в Кешке. Букварь решил, что все эти его чувства наивны и сентиментальны. В конце концов он уже взрослый. Надо быть сдержаннее.

Ему стало стыдно. Он отломал сухую ветку осины и пошел, посвистывая и сшибая веткой укропные шапки высоких растений. Наверное, так ходил по тайге Кешка.

Букварь быстро спустился в распадок. В распадке перекатывал камушки куриный ручей. Прямо от берега начиналась новая сопка.

Букварь перешагнул через ручей и полез вверх по сопке. Сопка была невысокая, со вмятиной на боку. По пологим откосам вмятины оранжевыми шариками скатывались жарки. Они останавливались у самой вмятины и удивленно смотрели оттуда на ее дно. Там лежал снег.

Во вмятине было сыро и холодно, как в погребе. Букварь с камня соскочил на снег. Снег не скрипел. Букварь ткнул снег носком сапога. Грязно-белые снежные и блеснувшие водяные брызги упали в метре перед ногами Букваря. Носок уткнулся во что-то твердое. Букварь стал разгребать снег сапогом.

Под снегом был целый ледник. Небольшой, шагов пятнадцать в длину, и все-таки ледник. «Может быть, он лежит здесь миллионы лет? — подумал Букварь.— Может быть, он добрался сюда, когда по Саянам еще бродили мамонты и саблезубые тигры? Все остальные ледники давно уже растаяли, а этот спрятался, притаился, только по капле отдает жизнь, ждет чего-то». На секунду от этой мысли Букварю стало жутко.

Букварь вытащил топор и стал стучать им по льду. Лед крошился, острыми стекляшками со злостью колол лицо. Потом Букварю надоело бесцельно стучать по льду. Он расчистил от снега небольшую площадку и аккуратно, словно алмазом по стеклу, вывел лезвием топора на льду четкий прямоугольник.

Теперь он опускал топор осторожно. Пилил топором лед. И когда прямоугольник обозначил ровные узкие щели, стал обрубать лед с боков. Потом он снова углублял щели и снова обрубал лед с боков. Он выбил топором ледяную яму, в центре которой торчал четырехугольный столб. Букварь стал пилить этот столб снизу так, чтобы получился ледяной куб. Он возился с этим кубом, как скульптор с куском мрамора, мудрил, отступал на несколько шагов, наклонив голову и высунув язык, и, неудовлетворенный, снова принимался за работу.

Куб получился четкий, с зеркальными гранями. Букварь тащил его осторожно, обеими руками. Лед жег ладони.

Букварь добрался до поляны, и солнце заиграло голубой и зеленоватой глубиной ледяного камня. Сначала Букварь хотел остановиться на поляне, а потом решил добраться до вершины сопки. Сам не понял, зачем это было ему нужно.

Букварь выбрал плоский камень, освещенный солнцем, и осторожно поставил на него ледяной куб. Уселся рядом, подмяв траву. Смотрел, как бьют по кубу солнечные лучи и как бегут по камню вниз темные взблескивающие полосы капель.

Чего-то не хватало. Букварь встал и ниже камней, у одинокого кедра, нарвал жарков. Рвал только цветы, без стеблей и листьев. Семь оранжевых шариков легли на холодный, чуть похудевший куб.

Темные струйки ледяной крови бежали по желто-розовому граниту.

Два цвета начали бой. Огненно-оранжевый и прозрачно-серый. Лед и пламень. Струек бежало все больше. Камень стал полосатым.

Куб таял, но оставался кубом. Только сверху, там, где горели цветы, лед проваливался, и жарки опускались в воронку с ровными краями.

Тоненькая струйка добралась до сапога Букваря. Букварь тронул ее пальцем. Она не обожгла. Солнце нагрело ее. Или жарки. Жарки лежали на льду, похожие на костер.

Куб съеживался. Как будто ему было холодно.

Жарки горели все ярче.

Букварь смеялся. Он лежал у камней на спине, запрокинув голову, глядел в небо и беззвучно смеялся. Кроме этого неба, кроме этих камней, тайги, безбрежной и спокойной, жарков и солнца, похожего на жарки, никогда ничего не было и ничего никогда не будет. И Суздаля не было, и детства не было, и Кешки не было, и звезд над головой, и морозных ночей, и Канзыбы. Все это ему приснилось. Только это небо, и только он, здоровый, сильный, ощущающий каждый мускул, и только добрый и теплый ветер. Ничего не было, и ничего не будет.

— Букварь! Буква-а-а-рь!..

И эти крики ему снятся. Или это внизу шумят кедры? Или это Саяны потрескивают от удовольствия?

— Буква-а-а-рь!..

Букварь поднял голову. Чуть влажные снизу жарки лежали на камне. Солнце проваливалось за сопку.

— Буква-а-а-рь!..

3

— А где же хворост? Ты думал, что он растет на горах, да? На границе с Тувой?

Кешка возился у костра, и Букварь не видел его глаз. Движения Кешкины были расслабленные и спокойные, но Букварь знал, что все это — только начало.

— Значит, ты так и не нашел плантацию хвороста? — Кешка все еще не подымал головы.

— Я впервые увидел тайгу,— сказал Букварь.

Почему-то все засмеялись. Букварь понял, почему: он сказал это торжественно, глухо, словно у него пересохло горло от волнения, и вместе с тем жалко, оправдываясь. И еще потому, что все ждали очередной стычки. Букварь знал это. Отступать было некуда.

— Я впервые увидел тайгу.

— Ничего себе увидел! — промычал Бульдозер.— Мы успели приехать!

Кешка выпрямился. Оперся на палку, которой постукивал по головешкам.

Букварь смотрел на Кешку и видел только губы. Губы у Кешки были розовые и тонкие.

— Ну и как там небо? Все еще на своем месте?

— На своем.

— Висит?

— Висит...

Опять все засмеялись. Даже Ольга. Даже Николай. И ведь Кешка-то не сказал ничего остроумного.

— Висит, значит?

— Ну, хватит!

Букварь рванулся вдруг к Кешке, схватил за ковбойку. Готовый врезать. Справа. В челюсть. Стоял резкий, вспружиненный. Кешка снисходительно улыбался, хлопал по-детски ресницами.

Подошел Николай. Отвел руку Букваря. Спрятал улыбку.

— Ладно. Мы так до ночи не управимся. Букварь, помоги с палаткой...

— А чего же он?..— обиженно протянул Букварь.

«А чего же ты? Ты же сам просил меня не спешить...» Этого Букварь не сказал. Он просто смотрел в глаза Николая. Николай понял. Он все улыбался. Улыбка у него была счастливая.

— Не на шесть же часов,— сказал Николай.

Букварь поплелся к палатке.

Палатка стояла недалеко от домика. Углы ее были ненатянутые и мятые, и она казалась лопоухой. Букварь вместе со Спиркиным и Бульдозером стал вбивать колья, натягивать шершавый двухслойный брезент.

— Ставим парус,— сказал Спиркин.

Спиркин мог научно объяснить, что такое парус. Он родился на море. Его отец имел шаланду, полную кефали.

Кешка наловил в Канзыбе хариусов, сорог и бульбанов. Они плавали в большом бачке над костром и благоухали. Ольга, веселая и счастливая, вертелась у костра вся в саже, скакала, оседлав новенькую метлу, и радостно спрашивала, похожа она на ведьму или нет.

Когда ребята уже курили над Канзыбой в ожидании ужина, Спиркин сказал Николаю:

— Вы с Ольгой дом забирайте, а мы палатку.

— Точно,— сделал затяжку Кешка.

— Нет,— сказал Николай,— Ольга одна будет жить в доме.

— Зачем?— вступил Букварь.— Мы все поместимся в палатке. Чего ее стесняться? Она же хороший товарищ.

Все захохотали. Даже Виталий Леонтьев улыбнулся, хотя он был человеком сдержанным.

— Ребята, сейчас он прочтет нам лекцию о том, как ему удалось сохранить невинность,— со смехом сказал Кешка.

И когда уже шли к палатке, Букварь услышал, как Кешка, с трудом сдерживая смех, говорил Бульдозеру:

— Надо ему что-нибудь устроить... Устроим ему любовь!.. А?..

...Костер бросал искры в темно-синее небо. Небо стало совсем низким. Оно опускалось переночевать и погреться у костра. Букварь машинально водил колючей веточкой кедра по светящимся углям. Бачок с ухой шумел. Капли выскакивали на стенки бачка и испарялись, успевая пробежать несколько сантиметров.

Букварь чувствовал, как проходит то радостное, счастливое ощущение жизни, которое возникло у него на сопке у таявшего льда. Стало тоскливо. Всегда так! Какой-то глупый разлад. Природа и люди! Душевное равновесие, обретенное в тайге, когда он был один на один с миром, разлетелось, как фарфоровое блюдце, шлепнувшееся об пол. Конечно, он знал, что люди здесь работают обыкновенные, но он представлял себе их иначе и надеялся, что здесь, на стройке, все будет не так. Все было так...

И пристало еще к нему это глупое прозвище — «Букварь»! Он подумал о прозвище с жалостью к самому себе и даже сплюнул от досады и злости.

Он уже забывал, что его зовут Андрей Колокшин.

...Все началось в поезде. Поезд тащился четверо суток от Владимира до Абакана. Андрей стоял в тамбуре, приплюснув нос к стеклу. С землей творилось неладное. На нее набросили унылую, ровную-ровную белую шубу длиною в тысячи километров. Кое-где в шубу воткнули худосочные голые палки, которые летом становились березами. На третий день Андрею стало скучно. Неужели Сибирь не могла быть повеселее?

— Это и есть тайга?— спросил Андрей.

Ему объяснили, что это степь, Барабинская, что тайга начнется, когда проедут станцию Тайга, и вообще посоветовали заглянуть в учебник географии. Вопросы, которые Андрей задавал по любому поводу, осточертели ребятам. И когда он задал новый вопрос, ему напомнили, что на свете есть букварь. Для первого класса. «Рабы не мы». «Мы не рабы».

И пошло!

Уже в Курагине, сам того не зная, подлил масла в огонь прораб Мотовилов. Рассказывая новичкам, что к чему, он сказал:

— Вы школы кончали, освоите все быстро.

— А если я неграмотный?— спросил Андрей.

— Если неграмотный, купи букварь.

Ребята захохотали. И Андрей понял: все! Сколько ни крутись, ничего не выйдет.

Теперь он навсегда стал Букварем, хоть метрики переписывай...

И хотя он окончил школу с серебряной медалью, был рослым, здоровым парнем и у себя под Суздалем целый год работал трактористом, на стройке все относились к нему, как к юнге на корабле.

Он и сам понимал, что выглядит мальчишкой. Большие синие глаза его смотрели на мир удивленно, словно не могли поверить во все то, что происходило перед ними, и ждали еще чего-нибудь более удивительного.

И свое отношение ко всему, что он видел и слышал, Букварь выражал не спеша и не сразу. Смешило ребят и его «володимирское» произношение, медлительное, степенное и тоже чуть удивленное оканье.

На стройке Букварь открывал многое и часто принимался размышлять. Размышления его уже по инерции считались наивными. Огрызаться он не умел и сразу стал удобной мишенью для Кешкиных острот. Хорошо еще, что он не умел по-настоящему злиться и Кешке не всегда удавалось вывести его из себя.

4

Просеку рубили в трех километрах от палатки.

Колышки, вбитые в саянскую землю, показывали дорогу поблескивающим на солнце топорам и старенькой поющей бензопиле «Дружба».

Колышки вбили в землю изыскатели и геодезисты. Они долго ходили по тайге, таскали листы черно-белых чертежей и радужно-лоскутные карты, смотрели на деревья, на валуны придирчивыми глазами теодолитов. Колышки были свежие, аккуратно обструганные, маленькие, как грибы.

Через час работы Виталий Леонтьев выкурил последнюю сигарету. Пошарил в карманах, подвигал «молниями» и ничего не нашел. Все, кроме Букваря и Спиркина, тоже пошарили в карманах и тоже ничего не нашли.

Стало страшно. Забыли.

Бросили жребий. Худенькую занозистую щепку с медовой каплей смолы вытащил некурящий Букварь.

— За час успеешь,— сказал Николай.— Час потерпим.

В палатке сигарет не было. Они лежали в охотничьем домике на коричневом покосившемся подоконнике. Букварь взял три пачки «Примы». Других на трассе не продавали. Потом подумал и взял четвертую. На всякий случай.

Побродил у палатки и около домика и крикнул:

— Ольга!

«Га! Га!»— пробасила соседняя сопка и замолчала. Стало тихо. Только Канзыба бежала и бежала.

— Букварь! Я зде-е-есь!..

«Узнала...» Голос ее звучал снизу, тихо и глухо, словно из-под земли. Букварь прошел за охотничий домик, обогнул скалу и вдруг побежал вниз к Канзыбе. Словно сорвался. Бежал, махая руками, будто хотел удержаться, ухватиться за воздух, цеплялся за ветки берез, за лапы кустарника, хрустел, ломая и давя их, сшибал камни, и они катились вниз, с шумом подскакивали и булькали в летящую воду.

— Букварь! Куда ты?..

— Я сейчас!— закричал Букварь и затормозил, но не смог устоять и повалился на спину у ног Ольги.

Он смотрел в небо. Над ним в синеве смеялись Ольгины глаза. Лоб морщился от смеха.

— Ты это чего?— спросил Букварь. Он встал и пытался наладить дыхание.

— Что чего?— не поняла Ольга.

— В шинели... Жарко ведь.

— Да так. Купалась. Греюсь.

— Ну да, правильно,— сказал Букварь.

Ольга стояла у самой воды, накинув на плечи старую шинель, полы которой доходили почти до самой гальки. Волосы у нее были мокрые и блестели на солнце, и капли, поблескивая, бежали по влажному смуглому лбу, мимо смеющихся темных глаз и падали с бровей и кончика носа.

— Холодно?— с уважением спросил Букварь.

Вода в Канзыбе была ледяная, и никто из ребят еще не решился войти в нее.

— Ничего,— сказала Ольга.

— А тебе шинель... ты в шинели такая...

— Какая?— заинтересовалась Ольга.

Букварь хотел сказать что-нибудь значительное, что бы могло передать ей всю радость, которую принесли ему тайга, звуки и разговоры ее, солнце, эта длинная шинель и мокрые, блестящие на солнце волосы. Но он смутился и сказал тихо:

— Ну такая...

Потом вспомнил:

— Я пойду. Я за сигаретами пришел. Ребята ждут.

Он начал взбираться вверх, и уже на сопке его догнали слова:

— Букварь, подожди...

Он обернулся.

— Скажи ребятам... На первое будут щи... А потом картошка... Понял? Картошка...

— Ладно!— сказал Букварь.

— Щи из свежей капусты... со свиной тушенкой...

Он был уже наверху, недалеко от камней, бурых, словно покрытых шкурой медведя, и снова посмотрел вниз.

Ольга стояла у воды в шинели, маленькая, как Буратино.

— А на третье компот... Ты скажи!..

Букварь подумал: как это все-таки здорово — Ольга в большой и длинной шинели! Вот если бы она надела еще ушастую удалую буденовку. Но где достанешь сейчас буденовку?

Букварь шел по тайге и не слушал тайгу.

Он думал о шинели. Шинель была обыкновенная, пожившая, потертая, с износившейся серой подкладкой, с заплатами на левом локте, с медно-желтыми самодельными проволочными крючками, заменившими старые, сломавшиеся.

Букварь все знал про эту шинель. Про нее рассказывали ему Николай и Ольга.

Ольга впервые увидела эту шинель полтора года назад на станции Кошурниково, названной так в честь легендарного изыскателя. Никакой станции тогда еще не было. Была вешка, воткнутая в землю, с фанерной планкой. На планке написали химическим карандашом: «Здесь будет станция Кошурниково». Видимо, было холодно, когда писали,— карандаш дрожал, и буквы получились неровные.

За вешкой в тайге, в семи километрах от золотого Артемовска, стиснутого сопками, стояло несколько длинных приземистых сборных домов, и в одном из них устроили котлопункт. Ольга и работала в котлопункте.

Две узенькие доски, перекинутые через приток Кизира Джебь, сварливую саянскую реку, связывали Кошурниково с Артемовском. Эти доски вели из Кошурникова на Большую землю.

Их плохо закрепили, нарочно, потому что ребята, переходя через них, любили покачиваться, и доски пружинили под их тяжелыми сапогами. Без этого покачивания на плохо закрепленных досках над шумящей желтой Джебью ребята не могли обойтись. Как не могли обойтись без отварных макарон в меню котлопункта.

Их ели утром, днем, вечером и ночью. По желанию. Ели с кильками, морским окунем в томате, баклажанной икрой, мясом и безо всего.

Однажды котлопункт остался без макарон. Это было то ли в сентябре, то ли в октябре. Мешок макарон — сорок килограммов — должен был притащить со склада из Артемовска один из парней, только сегодня прибывших на стройку и направленных в Кошурниково. Ольга ждала его до девяти, а в девять, сдвинув лавки в угол и вымыв пол, отправилась домой, так и не представляя, чем будет кормить ораву утром. Дверь на всякий случай не заперла.

Утром она увидела на столе котлопункта шинель. Ту самую. С заплатой на левом локте, потертую и мокрую. Из-под шинели торчали сапоги. Ольга постучала по сапогам. Шинель вздрогнула, открыла заспанное, небритое лицо с большими черными глазами.

— Бондаренко?— спросила Ольга.

— Ага,— захлопали ресницы,— Николай.

Из-под шинели высунулась рука. Ольга пожала ее.

— А макароны?

Черные глаза двинулись вправо. Ольга посмотрела на лавки и увидела там мешок с небольшим темным пятном. Сапоги соскочили на пол. Большие руки стали стаскивать шинель. Шинель не поддавалась и горбилась.

— Давайте я вам ее подсушу,— предложила Ольга.

Николай благодарно кивнул, и потом Ольга узнала, как все было.

...На складе проковырялись до восьми, в восемь ушел последний автобус, и ему, Николаю, пришлось тащиться километров десять по деревянным тротуарам незнакомого города, тянувшегося между сопок. Рядом с ним шагала темнота. Она была таежная, черная и густая, как вар.

Все-таки он дошел до Джеби и стал ее переходить. Но доска тут же перевернулась, и он шлепнулся на лед. Понял, что в такой темноте да еще с мешком за плечами по доскам Джеби он не перейдет. Или принесет вместо макарон тесто.

Николай попробовал идти по льду. Лед был тонкий, с водичкой сверху. Он сделал три шага и провалился.

Лет десять назад, в школе, он изучал физику и теперь вспомнил ее законы. Насчет давления и поверхности. Он накрепко привязал мешок к спине, лег на лед и пополз. Полз метров двадцать или тридцать, пока водичка не кончилась. Потом он пришел в котлопункт, скинул мешок и заснул на столе.

— Мешок все-таки чуть-чуть промок,— сказал Николай,— вот тут, сбоку... Это когда я шлепнулся...

Ольга вытаскивала макароны и упрятывала их в шкаф.

— Можно? — спросил Николай.

Он с жадностью грыз макароны. Ольга всплеснула руками и притащила ему хлеб, масло и консервы.

Потом они не видели друг друга полгода, и только в мае, уже в Курагине, Николай подошел к ней на танцах.

Они вместе возвращались домой. Лил дождь, и Николай укрыл ее шинелью.

У Букваря всегда было светло на душе, когда он думал об этой шинели. Он любил думать о ней, об Ольге и Николае. Он любил Николая, Ольгу и эту шинель.

Его всегда удивляло, как могли дать такому человеку, как Николай, унизительное и глупое прозвище «Тату-Мату».

А его звали так года полтора назад, сразу же после того, как он приехал из Красноярска в Саяны. Он сам дал повод. То и дело он повторял «Тату-Мату». Потом заставил себя забыть выражение, облегчавшее ему разговор.

Последний раз «Тату-Мату» прозвучало в клубе маленькой деревушки, пригревшейся под соснами у самого Кизира, за Красным Кордоном и горой Бурлук. Жили там строители, и вот из этой деревушки Николай и выгнал темную личность по кличке «Шериф», отнял у него нож и, выгнав, бросил в спину свое последнее «Тату-Мату».

Это было давно, и о случае с Шерифом ходили уже легенды. Потом Николая перевели в Кошурниково, оттуда — в Курагино. Там он и стал бригадиром.

Ребята в бригаде умели делать многое. И многого не умели. Николай умел делать все. Поэтому к ребятам он относился с доброй снисходительностью, как мастер к ремесленникам. Все, за что бы он ни брался, получалось красиво. И красивыми были не только результаты его труда, но и сам этот труд: ладные, пластичные и экономные движения его рук и тела.

Руководил он ребятами без лишнего шума, и ребята просто не замечали, что ими руководят. Но они хорошо понимали, что значит для них Николай.

Он был старше их. Три месяца назад ему исполнилось двадцать семь. Фигура его, длинная, с широкими плечами и узкой талией, была юношеской, а лицо — взрослым. Николай вообще был человеком взрослым

и серьезным. И вот теперь Ольга стояла в его шинели на берегу Канзыбы.

Ну и что? Просто шинель. Обыкновенная, серая. Такие всем выдают в армии. Только петлички, когда старые износились, мать Николая перешила с дырастой отцовской, отвоевавшей еще в мировую и гражданскую, как память об отце. Николай сначала смеялся, а потом привык.

Обыкновенная... А может быть, и необыкновенная. Для него, Букваря, она стала символом тех принципов, которыми он жил.

— Пятьдесят пять минут, старик,— сказал Леонтьев.— Не так уж плохо.

Букварю хотелось рассказать ребятам про шинель, но им было не до этого. Они курили.

Кешка держал сигарету в уголке рта большим и указательным пальцами, как держал в детстве, когда курил украдкой и прятал окурки в рукаве. Сплевывал он виртуозно и каждый раз на новый пень.

Виталий Леонтьев дымил небрежно, морщился, словно занятие это ему давно надоело, опротивело, пускал к небу пепельно-седые кольца. Кольца поднимались лениво и нехотя, переваливаясь с боку на

бок, и, видимо, подниматься вверх им так же надоело, как и Виталию Леонтьеву смотреть на них.

Бульдозер курил жадно, затягивался и кашлял.

Николай сидел на пне и аккуратно стряхивал пепел о раскрошенную пилой кору пня.

Букварю было скучно, а Спиркин морщился. Он всегда высказывался против курения.

— А Ольга там шинель надела,— сказал Букварь Николаю,— выкупалась и надела.

— Ага... Хорошо...— машинально сказал Николай.

— На первое будут щи, потом картошка и компот...

Николай молча кивнул, и Букварь неудовлетворенный отошел от него. Начинать разговор с Кешкой не имело никакого смысла, и он подошел к Леонтьеву.

— Пришел я туда,— сказал Букварь,— а Ольга стоит в шинели...

— Ну и что? — спросил Леонтьев.

— Как что? — удивился Букварь.— Стоит в шинели...

— Стоит в шинели. Ну и что?

Букварь обиделся, взял топор и пошел, посвистывая и сшибая зеленые хрустящие верхушки высоких растений, пахнущих мятой.

5

Крокодилы бывают разные.

Из каждого крокодила можно сделать самодовольный профессорский портфель. Каждый крокодил, когда хочет, плачет крупными неискренними слезами. Тем не менее крокодилы бывают разные.

Кешка разбирался не только в верблюдах. Он многое знал и о крокодилах. Его вынудила к этому симпатичная блондинка Люба, работавшая в абаканской читальне. Попытка познакомиться с ней обошлась Кешке дорого. Семь вечеров просидел он в читальне, и каждый раз блондинка подсовывала ему массивный двадцать третий том Большой Советской Энциклопедии «Корзинка — Кукунор». Этим томом у них на мясокомбинате можно было запросто забивать крупный рогатый скот.

Кешка старательно читал его и с тех пор стал разбираться в крокодилах.

Так вот, крокодилы бывают большие и маленькие, сонные и шустрые, нахальные и миролюбивые. Самые разные.

Прораб Мотовилов — тоже крокодил. Это Кешке ясно. Неважно, что у него есть усы. Просто это такая особая разновидность крокодила, еще не описанная в энциклопедии.

Сегодня он говорит одно, завтра другое.

Утром Мотовилов приехал давать ценные указания.

Он не спешил. Словно у него в Курагине и у сонной Ирбы не было никаких дел. Он хвалил места у Канзыбы, шутил с Ольгой, усаживался на свежие пни, щурился на солнце и посасывал мундштук. Этот мундштук всем уже надоел. Мундштук был дешевый, желтый, из какой-то ерунды, похожей на янтарь. Мундштук лениво двигался в вялых губах Мотовилова. Он появился во рту Мотовилова полгода назад, когда прораб бросил курить. То ли у него была такая железная воля, то ли он опасался за больные легкие, из-за которых и приехал в Саяны, на горный климат, но так или иначе, а курить он бросил. Купил мундштук и стал сосать его.

Кешка смотрел на жидкие, светлые, с рыжинкой усы и думал про крокодилов.

Кешке было смешно. Мотовилов все тянул и тянул, а ребята прекрасно понимали, что он приехал их уговаривать.

Уже не первый раз их уговаривали. Сначала их — трактористов, электриков, экскаваторщиков, шоферов — уговорили стать плотниками. Стали. Раз стройке нужно. Потом уговорили податься сюда, на Канзыбу. Рубить лес. Раз нужно — подались. Что теперь?

— Я вон на той сопке, где камни, дачу бы построил,— мечтательно произнес Мотовилов,— с террасой, мансардой там...

Кешка уселся на землю и сказал:

— Ну, ладно, Игнатьич, надоело. Валяй, уговаривай.

— Да? — удивленно спросил Мотовилов.

Кешка бесцеремонно обращался с начальством, и это всегда сходило ему с рук. Мотовилов начал копаться в сумке. Сумка у него была из какого-то черного пупырчатого заменителя кожи, на зеленом ремне и походила на сумку почтальона. Мотовилов выволок из нее сложенный вчетверо чертеж, белый носовой платок и бутерброд с маслом и котлетой, завернутый в обрывок газеты. Осмотрел бутерброд и поворчал. Потом развернул чертеж.

— Этого еще не хватало! Масло, что ли...

На чертеже было крупное масляное пятно. Палец Мотовилова тыкался по черным линиям, тонким и жирным, около этого пятна, губы его пытались что-то шептать, помогая прорабу соображать, но им мешал мундштук.

— А чего тут уговаривать,— сказал Мотовилов,— просто так надо... Отсюда и досюда...

Кешка следил за его морщинистым пальцем и понял все.

Но все-таки спросил простовато:

— До этого пятна, что ли?

— При чем тут пятно? — взорвался Мотовилов.— От Заячьего лога и до сопки... Просеку... За три дня...

Николай присвистнул и улыбнулся. Мраморный Спиркин покачал головой. Ресницы Букваря поднялись и захлопали. Бульдозер покраснел от возмущения. Кешка хохотал. Только Виталий Леонтьев похаживал спокойно, словно считал задание прораба самым обыкновенным.

— Выложил наконец-то! — хохотал Кешка.— За три дня!.. За три!..

Мундштук задергался под жидкими усами. Мотовилов вытащил его изо рта и стал объяснять, почему так важно пробить эту просеку именно за три дня.

С Печоры прибыла новая мехколонна. Ей уже отдали часть домов в Кошурникове. Через пять дней она начнет сыпать насыпь до этой самой сопки. До Заячьего лога рубит бригада Воротникова. Им осталось немного. Через три дня все эти столетние кедрики и сосенки должны лежать на земле до самой Бурундучьей пади, что перед сопкой. Еще два дня нужны на трелевку.

Иначе срываются важные сроки, перечеркиваются обязательства, за которые проголосовали все они в разукрашенном кумачом зале.

— Мы не думали,— сказал Мотовилов,— что эта мехколонна прибудет так быстро. А вышло так. И усилить вас некем. Но вы сможете! Вы же такие орлы!

Он заулыбался. Улыбка его получилась добродушная и в то же время льстивая.

Сердце у Букваря забилось быстро и гулко, как на экзамене, когда он брал со стола аккуратный белый листок. Он не отрываясь следил за Мотовиловым.

— Пятно еще тут! — проворчал Мотовилов.

Он скреб большим черным, задубевшим ногтем масляное пятно, пошлепывал губами, бубнил что-то себе под нос, словно всеми этими вялыми, подчеркнуто прозаическими занятиями, и движениями, и сонным выражением своего лица хотел сбить взволнованность ребят и заставить их думать, что дело им поручается совсем обыкновенное.

Это успокаивало Букваря.

И в то же время разочаровывало. Какие слова здесь надо было произнести!

— Это же только за десять дней можно! — возмутился Бульдозер.

— Но ведь она,— показал Мотовилов на Ольгу,— будет кормить вас, как слонов.

Вступать в спор с Бульдозером он не собирался. Он ждал, что скажет бригадир. Если тот начнет спорить, тогда у Мотовилова найдутся слова...

— Раз нужно...— сказал Николай.

Букварь смотрел на него влюбленно.

То, о чем он мечтал, начиналось. Настоящее дело. Три дня боя!

Мотовилову делать было больше нечего, и он пошел к машине.

— Не подведите, братцы,— сказал он, поставив ногу на ступеньку,— теперь уж судьба фронта зависит от вас.

Эти слова он когда-то говорил на войне своим разведчикам, пожимая им руки и понимая прекрасно, что ждет этих людей.

— Вечером я пришлю вам еще две пилы,— сказал Мотовилов уже из кабины.

«Вечером... Еще два пулемета...» — расслышал Букварь.

— Ну вот, так всегда,— выругался Кешка и сплюнул со злостью.

6

— Берегись!

Кешка кричит истошно и с удалью. Кричит не ему, Букварю, и не ребятам, а этой притихшей, позеленевшей от страха тайге, бурым, съежившимся валунам, колючелапым соснам и кедрам, костлявыми коричневыми пальцами вцепившимся в желто-серую твердую саянскую землю, угрюмой, лихорадочно удирающей к югу ледяной Канзыбе.

— Берегись!

Кешкин крик звучит в двадцатый, а может быть, в сотый раз, бьет тишину, как удар гонга.

Букварь отскакивает в сторону, и с ним отскакивают ребята, и в сотый раз застывают на секунду, смотрят, ждут, словно сейчас должно произойти чудо, подготовленное их руками, и боятся, как бы мгновенным, крошечным движением, чуть слышным дыханием не спугнуть это долгожданное удивительное чудо.

Сосна хряскает от отчаяния, вздрагивает вся, до последней молоденькой иголки, словно хочет сбросить с себя что-то невидимое, убивающее ее, и падает. Падает с многоголосым шумом и стоном, падает прямо на большое горящее солнце, судорожно хочет ухватиться за него своими колючими вскинутыми лапами, повиснуть над тайгой и скалами и висеть так, жить так. Но солнце выскальзывает из секундных судорожных объятий, и сосна ухает на свежие тупые пни.

Букварь стоит еще секунду, стоит молча, напряженный, с топором в руках, словно ждет, что эта зеленая живучая махина встрепенется, зашевелит ветвями, попробует встать.

— Берегись!

Кешка кричит просто так, играючи, кричит потому, что ему нравится это делать. Он выкрикивает это слово уже в сотый раз и каждый раз выкрикивает по-новому.

Кешка кричит задиристо, и в крике его звучит настойчивое, неумолимое чувство победителя. Он смакует начало каждой новой победы над молчаливым зеленым морем, и глаза его горят, и Букварь не может узнать вчерашнего Кешку, ворчавшего и ругавшегося в спину прорабу Мотовилову.

— Берегись!

«Сколько часов мы здесь?..» Букварь опускает топор. Треск — и сук, толстый, как хорошее бревно, отскакивает от длинного, поблескивающего смолой коричневого туловища сосны. Букварь уже научился отсекать такие сучья с одного удара. Сколько часов? Солнце еще держится, висит над колючими сопками. Значит, еще немного. Значит, десять. Или двенадцать...

— Берегись! — Это падает сосна слева, сосна Виталия Леонтьева.

Тра-а-а-х! Еще один сук.

Судьба фронта... Тра-а-ах!.. Судьба фронта... Толстый попался сук... Тра-а-а-х!.. Это, конечно, громкие слова. Их не надо часто произносить, иначе они станут стершимися. Но почему-то хочется о них думать. Почему-то хочется о них думать...

— Николай, можно я попробую пилой?

— Валяй. Только держи ее вот так. Ага...

Торопится сталь, вгрызается мелкими быстрыми зубьями в волокнистое деревянное мясо, торопится и дрожит от злости и голода. Дрожат руки, дрожит тело, дрожит тайга, дрожит вся земля, весь этот

приплюснутый сверху и снизу голубоватый шарик, привязанный к своей надоевшей орбите. Желто-розовая пыль сыплется на зеленую высокую траву.

Конечно, это громкие слова. Но если разобраться, то у них на самом деле фронт. Семьсот километров фронта... Так интересней... Нет, это не игра, это не детство. Семьсот километров... Передовая... Танками идут тракторы и бульдозеры... Рычат моторы. Они семеро — десант...

— Ну все, Букварь. Теперь надо подрубать.

Желто-розовая пыль на руках, на траве, на сапогах, желто-розовая пыль...

— Коля, ребята, я кашу принесла. Горячая она. Пар идет.

Ольга стоит под кедрами, метрах в тридцати от сосны, держит в руках бачок, запеленатый шинелью.

— Сейчас,— кричит Николай,— только опустим сосну!

— Берегись!

Каша горячая, пахучая, поблескивает солнечными каплями расплавленного масла.

Такую хочется есть руками. Или вот этой душистой сосновой щепкой.

— Букварь, ты зачем щепкой? Вот же ложка!

— Ух, какая каша! — смеется Букварь, жадничает, обжигает нёбо и горло.— Ух, какая каша!

Кешка корчит свирепые рожи, заглатывает мягкий черный хлеб, стучит ложкой по вылизанному дну алюминиевой миски.

— Добавки!

Ольга подходит к Николаю, гладит его мягкие русые волосы, снимает с них мелкие, въедливые опилки.

— Я вам Буратино оставлю... Пусть он вам поможет. Он сильный.

Ребята смеются и благодарно смотрят ей вслед, словно она оставила им четвертую бензопилу.

...И снова падают на привыкшую к ударам и сотрясениям землю кедры, сосны, ели, длинные толстые березы и осины с гладкой, словно чисто вымытой корой.

Снова дрожат руки Букваря, дрожит тайга, дрожит вся земля, весь этот приплюснутый сверху и снизу голубоватый шарик...

Дрожат руки, рвут толстую слоистую коричневую кору, ломают сосну, проткнувшую небо. И сосна падает, падает, нет, это падает облако из мелких желто-розовых опилок.

Букварь открывает глаза. Мясистое оттопыренное ухо спящего Спиркина торчит перед ним в темноте. Букварь тянет к Спиркину руку, хочет потрясти его за плечо, сказать ему, что он забыл снять на ночь ухо. Потом ему становится жалко Спиркина, и он опускает руку. Черт с ним. Спиркин устал, и он, Букварь, тоже устал.

Букварь думает об усталости. Он потягивается, напрягает тело и с наслаждением расслабляет его, словно отключает пружину, которая весь день держала каждый мускул, каждый нерв в напряжении и помогала Букварю работать за троих. Букварь думает о том, что он любит вот такую усталость, которая валит с ног, расплывается по всему телу, укутывает его теплой и тяжелой ватой. Это счастье — уставать так, выкладывать все и нырять в эту теплую, всепоглощающую, тягучую усталость. Еще он любит теплые и тихие летние вечера, печеные яблоки... которые... которые пахнут... яблоки... которые...

— Подъем! Все наверх!

Ольга хохочет и брызжет ему в лицо ледяными канзыбинскими каплями. Значит, поспал свои четыре часа.

Виталий Леонтьев в плотно обтягивающем его синем тренировочном костюме прыгает у палатки, мнет рубчатыми подошвами мокрую от росы траву, бьет воздух сильными большими кулаками.

Бульдозер зевает и ожесточенно трет склеенные сном глаза.

Кешка орудует зубной щеткой, полощет горло, готовит его к новым победным, торжествующим крикам.

Они завтракают и идут с топорами и пилами, устроившимися на ватных плечах, неторопливо, молча, хозяевами, к длинному Заячьему логу, к месту боя.

Штурм продолжается. Отступает тайга, отступает. Широкий коридор с голубым потолком — по шагу, по сосне, по кедру — все ближе к финишной сопке.

Солнце висит, светит, слепит глаза, глаза тайги. Оранжевый костер на истекающем ледяной кровью кубе. Или это уже было. Это уже в прошлом. А сейчас еще одна пулеметная очередь!

— Погоди, Букварь. Так дело не пойдет.

Топоры стучат и не помогают. Отрезанный пилой кедр вцепился в свой пень и не падает. Толкают осторожно: кто знает, куда он вздумает валиться! Но он не падает.

— Отойдите, ребята!

Это Николай. Встает к кедру спиной. Упирается в его шершавое загорелое туловище руками, всем телом.

Тело Николая, обнаженное до пояса, смуглое, сильное, становится стальным. Так... Еще... Еще... Уже трещит... Еще... Еще...

Букварь сжимает зубы. Он стоит в стороне, но и он напряжен, словно он там, с Николаем, валит кедр. Он даже крякает от неимоверного физического усилия.

Он уже где-то видел такое. В кино. Рослый, сильный человек с курчавой головой так же валил лес. Состав должен был идти в Шатуру. Или там тоже был Николай?

Ну еще!.. Так... Так... Идет... Николай, быстрей отскакивай... Отскочил... Падает, стонет махина... У-у-ух!

Букварь бросается к Николаю и, не добежав, останавливается, засмущавшись. Да и к чему эти нежности! Но он чувствует, что пошел бы сейчас за Николаем, куда бы тот ни позвал.

Леонтьев смотрит на Николая и смеется, и улыбка у него неожиданно получается не обычная, отработанная, на полсантиметра, как у английского лорда на приеме, а настоящая, человеческая. Смуглые плечи и спина его подставлены солнцу, упругие мышцы ходят под кожей. Работает Виталий изящно и красиво, и за каждым движением его чувствуется сила. И Букварь понимает вдруг, что этот высокий, стройный парень очень красив и красиво лицо его с тонкими, строгими, мужественными, чуть удлиненными чертами.

А Кешка? А Спиркин, снявший гимнастерку, делающий все без удали, но старательно и правильно, четкий, добросовестный Спиркин, уши которого сегодня совсем незаметны? И даже Бульдозер, скинувший сегодня впервые ватник и показавший белую-белую спину, по которой бегут кверху родинки, крупные и нахальные, как клопы, ухающий топором так, что летят кверху щепки, красив. Букварю никогда и не приходило в голову, что могут быть красивыми его ребята, их лица, их руки, их движения и ритмы этих движений, сокрушающие тайгу.

Я люблю вас, черти!.. Вы же самые замечательные и красивые люди: и ты, Николай, и ты, Кешка, и ты, Спиркин, и ты, Бульдозер, и ты, Виталий, и ты, Ольга... Я объясняюсь вам в любви!..

— Хватит! Перекур!

Можно улечься в траву, грызть сочную тоненькую травинку и смотреть в небо. Ребята курят, а Спиркин деловито осматривает топоры и покачивает головой. Солнце спускается к сопкам.

— Ну, ладно, пошли...

Что это? Дождь? Да, мелкий, комариный. Стволы стали мокрыми. Который день они работают? Второй или третий? Третий. И им осталось совсем мало.

Ольга идет рядом. Держит в руках топор. Держит смешно.

Деревья валим залпами. Так интереснее. Подпиливаем, подрубаем по три дерева, и три махины падают разом, ухают разом.

Неужели? Последняя сосна? Последняя? Совсем последняя? Но разве может так просто, обычной сосной, обычным топориным стуком, закончиться этот штурм, этот бой?.. Должно произойти что-то необыкновенное, удивительное...

Нет, просто упадет эта сосна.

— Берегись!

Падает последняя сосна.

Последний выстрел.

Эй вы, сопки, обросшие лесом, как мхом, скалы, острые и клыкастые, завистливая Канзыба! Вы молчите. Вы молчали так тысячи лет и ничего не видели. Вы впервые увидели такое и снова молчите. Ну и черт с вами! Вы еще не такое увидите. Вы еще увидите, как в нашем коридоре мы уложим стальные рельсы, серебряную дорогу и паровоз будет здесь гудеть от радости погромче Кешки. Мы выиграли бой и выходим из лесу.

Мы идем нашим коридором, дружные, усталые, великодушные победители. Нас ведет Николай, командир в длинной расстегнутой шинели, к которой пришиты петлички, отвоевавшие еще в гражданскую. Мы смеемся. Хохочет Бульдозер, улыбается почерневший, измученный Спиркин, даже сдержанный, молчаливый Леонтьев смеется. А Кешка гудит паровозом. Он вскакивает на пень, ровный, как стол, с удалью скидывает с себя мокрый, пахнущий потом ватник и разукрашенными глиной каблуками отстукивает, с присвистом, с криками, задиристый, радостный танец.

И снова режет наступающую темень, стену моросящего дождя торжествующее, победное:

— Берегись!

7

Две бензопилы прораб Мотовилов увез с Канзыбы на следующий же день.

Третья, старенькая, «своя», проработала часов пять, погрызла кедры, ели и сосны на сопке и забарахлила. Нервно повизгивая, она несколько раз судорожно кусала воздух, размельчая и без того мелкие серые дождевые капли, а потом совсем заглохла.

Николай с Букварем повозились с ней, и Николай, выругавшись коротко и зло, определил:

— Полетел поршень!

И они пошли к палатке молча, глядя себе под ноги, почувствовав вдруг, что они устали, устали, как собаки, и что им ничего не хочется, и пошел бы этот прораб Мотовилов со своим мундштуком подальше...

Они почувствовали, как ноют у них мышцы рук, спины и живота, почувствовали, как болят и дерут их ссаженные ладони и пальцы, а ведь они не были десятиклассниками, впервые столкнувшимися с физическим трудом.

Букварю стало скучно и противно, он чувствовал себя разбитым стариком-ревматиком, с трудом переставлял сапоги по размокшей, грязной земле и думал о том, что расклеились они не сейчас, когда полетел поршень, а утром — после того, как прораб Мотовилов поздравил их, и после всех его «нет» на их предложение работать в том же ритме и пройти падь и новую сопку.

Вечером Мотовилов приехал снова, и ему рассказали про поршень. Мотовилов посочувствовал и пообещал, что завтра все будет в порядке.

Назавтра он ничего не привез. В стройпоезде не оказалось запасных деталей для бензопилы. Он не нашел ничего ни в Кошурникове, ни в Кордоне, ни в Курагине.

— Безобразие! Я до начальника стройки Чупрова дойду! — возмутился Николай.

— Дойди,— миролюбиво сказал Мотовилов.

Он снова слонялся по участку, но теперь уже ругал погоду и места у Канзыбы. Прежде чем сказать что-нибудь ребятам, он снова сосал свой желтый мундштук, а потом перекладывал его с ладони на ладонь.

Просто Мотовилов не знал, что с ними делать. Если бы не эта неожиданная переброска печорской мехколонны, ребята долго и спокойно трудились бы на просеке. Теперь на просеке работы осталось на несколько дней. Переводить же бригаду снова в Курагино было рискованно. Есть для них на Канзыбе важное дело — поставить два сруба. Но в министерстве все никак не могут решить: где будут строить поселок — здесь или у Сисима. Вот и разберись, что делать с этой семеркой. Ладно, пусть побудут тут! На всякий случай.

Мотовилов понимал, что ребята обо всем догадываются, и хотел поговорить с ними откровенно, сосал мундштук, собирался начать у машины, но влез в кабину и сказал:

— Ну, ладно, пилите обыкновенными.

И уехал.

Пилили обыкновенными.

Было скучно. Сапоги таскали прилипшие к подметкам килограммовые бурые куски глины и грязно-черное тесто саянской земли. Холодная мутная вода беспрерывно и в одном ленивом ритме бежала по стволам деревьев, по валунам, по пилам, по лицам и по ватникам.

Валили не спеша. Знали, что это не работа, а обозначение работы. Перекуры стали длинными. Сидели на мокрых пнях, трепались долго, бестолково, по любому поводу.

Молчаливый и сдержанный обычно, Виталий Леонтьев стал пускаться вдруг в рассуждения о всяких серьезных вещах, философствовал вполголоса, покуривая надоевшие ему сигареты. Но когда он начинал свои монологи о жизни и смерти, о любви и войне, ребята потихоньку расходились, и только Букварь оставался рядом и сидел молча, изредка кивая головой.

Букварь сидел из вежливости, он не вслушивался в слова Виталия, смотрел на его тонкие, движущиеся губы и думал о том, что Виталий — все же странный человек.

У Букваря было ощущение, что Виталий все время, как актер в театре, играет какую-то роль. Букварь узнавал в его монологах знакомые мысли, читанные в книгах. Иногда Виталий становился самим собой, естественным, живым парнем, и такой Виталий Бук-

варю нравился. Это был здоровенный малый с добродушной улыбкой, самый сильный из тех, кого Букварь встречал на трассе, отличный спортсмен, дававший всем уроки футбола и бокса. Но самим собой Виталий быть стеснялся, это, видимо, противоречило требованиям моды, которой он следовал.

В Москве он, по его словам, не отставал от моды, и теперь сестра присылала ему рисунки причесок, яркие рубашки и техасские штаны с заклепками и «молниями». Рубашки Виталий запихивал в черные немецкие чемоданы, окантованные бежевыми полосками кожи, а джинсы носил. К джинсам полагались борода и проволочный ежик на голове. Потом ежики стали у всех, даже у Букваря. И Виталий сбрил бороду, а ежик заменил совсем короткой прической, которую носили американские баскетболисты.

Но мода диктовала не только прически. Букварю казалось, что это она заставляла Виталия все время играть непохожего на себя человека, разучившего чужие многозначительные слова. Иногда Виталий говорил о своей любви к Хемингуэю и Ремарку, к их героям, настоящим мужчинам атомного века. Он и старался подражать людям, которые, по его мнению, были похожи на героев Хемингуэя.

И появлялось вдруг что-то старческое в лице Виталия. Это старческое пряталось в морщинах лба, в уголках губ, постоянно растягивающихся в иронической улыбке, во всезнающем, всепонимающем выражении глаз, которые, казалось, не умели радоваться и удивляться. Виталий считал себя человеком сложным, пожившим, прошедшим через многое, все повидавшим. О себе он рассказывал редко. Букварь знал только о том, что Виталий поссорился с отцом, ловкачом и карьеристом, ухитрявшимся, однако, носить в кармане партийный билет, и еще о том, что Виталия выгнали из института за пьянку.

Виталий предпочитал говорить о высоких материях, но каждый раз монологи его казались Букварю пижонскими и смешными, и он не мог принимать их всерьез.

Кешка снова начал рассказывать веселые истории и издеваться над Букварем и Спиркиным, а иногда и над Бульдозером. Букварь пробовал отшучиваться, но из этого ничего не получалось.

Если Ольга с Николаем уходили, Кешка обильно сыпал матом и все время подчеркивал какие-нибудь второстепенные смешные стороны своих историй.

Иногда Кешка уходил в тайгу. У самой Канзыбы он нашел скалу, очень похожую на один из красноярских столбов. Он привел к ней Николая. Николай согласился, что это вылитый столб и что на него непременно нужно влезть.

Потом Кешка стал тосковать о выпивке, и все его разговоры начали крутиться вокруг водки. Бульдозер щелкал себя по горлу и качал головой. Однажды они отпросились у Николая и вернулись только утром, грязные, усталые, с сияющими серыми лицами победителей, и Кешка великодушно поставил на стол три бутылки питьевого спирта.

— Ну и что? — спросил Николай.

— У меня сегодня день рождения,— сказал Кешка.— Я, конечно, вру, но допустим.

Перочинным ножом он быстро открыл рыбные консервы, пахнувшие томатным соком, и порезал буханки мягкого, чуть липкого ржаного хлеба. Пили после работы, при свете керосиновой лампы, из граненых стаканов, желтых от тусклого, рахитичного огня, разбавляли спирт холодной, пахнущей кедрами канзыбинской водой. Кешка напирал на консервы и все ждал, что похвалят спирт и его, Кешку, ловкого, энергичного парня, который может достать все. Еще он ждал, когда Букварь сделает первый глоток. Он сам налил ему полный стакан почти не разведенного спирта и ждал. Букварь чувствовал это, спирт он пил в первый раз, пил так, будто проглатывал горящую паклю, облитую керосином, и ему захотелось шлепнуть стаканом об пол и выплюнуть эту обжигающую жидкость, но он сдержался и с трудом заставил себя выпить весь стакан, до дна. Не поморщился, не кашлянул и даже крякнул нарочно, как «настоящий» мужчина, и разочарованный Кешка промолчал.

Кешка свирепо крутил ручку патефона. Пластмассовый диск вращался быстрее, чем надо, словно тоже выпил, патефон забросили быстро, попели и пошли к Канзыбе.

Букварь остановил прыгавшего по гальке Кешку, сказал ему, что он слабак, и что он, Букварь, запросто переплывет сейчас Канзыбу. Кешка засмеялся, стал показывать на Букваря пальцем, и они поспорили. Букварь разделся на ветру и под одобрительные крики, помахав манерно зрителям рукой, полез в воду.

Она обожгла. Колола ступни ледяным огнем. Но отступать было некуда, и он сделал еще шаг. И тут же выскочил на гальку.

— Давай, Букварь, давай! — кричали сапоги, наступавшие на его босые ноги.

Букварь трезвел, смотрел ребятам в глаза и видел в них азарт, жаждущий, нетерпеливый. Только в глазах Виталия Леонтьева теплилось сочувствие.

— Это пóшло,— сказал Виталий,— делать то, что хочется всем, но не хочется тебе.

Букварь потоптался по гальке и ухватился за эту мысль. Действительно, пóшло.

— Вы ждете зрелища,— разочарованно сказал Букварь.

Он стал натягивать штаны и мокрую голубую майку. Вокруг смеялись, но не очень, что-то кричал Кешка, а Букварю было все равно. Он уверял себя в том, что не вошел в воду из гордости и чувства человеческого достоинства. Но чем ближе подходили к дому, тем настойчивее становилась мысль, что все это отговорки, попытки оправдать себя в собственных глазах, а на самом деле он струсил. И Букварь знал, что он струсил, ему было стыдно, и он казался себе отвратительным.

В палатке допили третью бутылку. О купанье все, кроме Букваря, забыли, слушали писклявый патефон, а потом стал петь Кешка. Он сидел, обняв за плечи Виталия и Бульдозера, пел песни своей юности, поблатному хрипя, пел о бандитах, о Магадане, о железной дороге, о маленьком доме в Колумбии и о том, что «воровку не заделаешь ты прачкой и урку не заставишь спину гнуть над тачкой да руки пачкать, мы это дело перекурим как-нибудь». Виталий Леонтьев подпевал с многозначительной улыбкой, и Букварь и Ольга подпевали, а Бульдозер в такт стучал своими толстыми ладонями по столу.

— Тебе надо в самодеятельность! — выразил свое восхищение Бульдозер.

Кешка допил спирт и сказал:

— Я люблю самодеятельность.

— А я,— сказал Виталий,— не люблю самодеятельность.

— Ты не любишь самодеятельность? — ужаснулся Кешка. Ужаснулся так, будто Виталий уверял, что не Земля крутится вокруг Солнца, а наоборот.

— Ну да.

— Ты не любишь самодеятельность?! — Кешка кричал уже угрожающе, словно требовал, чтобы Виталий Леонтьев сейчас же отрекся от своих убеждений.

— Ну да. Я не люблю самодеятельность.

— Ах-ты, гад!

Он рванулся к Виталию, хотел ударить его, но тот быстро наклонил голову, и Кешка рубанул кулаком по брезенту. Николай с Букварем пытались сдержать его, но Кешка вырвался, схватил со стола стакан и бросил его в Виталия.

Стакан ударился о брезент, выплеснул на шершавую серо-зеленую материю пахучую, быстро испаряющуюся жидкость и свалился на кровать.

Кешка прорвался к Виталию, неудержимый и неистовый. Виталий спокойно положил руки на плечи Кешке и резко посадил его на скамейку.

— Ладно, посиди...

Кешка неожиданно затих, вспомнил, видимо, о силе Виталия, сидел мирно, только шептал еще по инерции:

— Гад, не любит самодеятельность!

Через минуту Бульдозер опять стучал ладонями по столу, а Кешка пел хрипло и кривя рот: «...А мой нахальный смех всегда имел успех, и моя юность раскололась, как орех...»

Букварь смотрел на большие темные тени, шатавшиеся по туго натянутому брезенту, слушал, как шурша падает на палатку дождь, и думал не о Кешке и не о Виталии, а о том, что он струсил, струсил, струсил...

Назавтра Виталий с Кешкой снова гоняли теннисный шарик над столом, а Спиркин пытался научить пыхтевшего Бульдозера принимать боксерскую стойку. Букварь помесил грязь около них, ждать конца игры не было настроения, он пошел в тайгу.

Он бросил взгляд на ребят; они двигались под дождем согнутые, мрачные, с серыми, тусклыми лицами.

Ему хотелось поговорить с кем-нибудь, излить все, о чем он думал в последнее время и в чем не мог разобраться. Поговорить можно было только с Николаем или Ольгой. Но Николай и Ольга жили сейчас в другом мире, и в том мире, наверное, не шел дождь и не хлюпала под ногами грязь, и влезать в этот мир со своими скучными мыслями Букварь не хотел.

Он попытался найти сопку, где оранжевый костер горел на ледяном камне и сжег его. Но найти ее было трудно; наступали сумерки, и Букварь уселся в камнях над Канзыбой, все такой же деловитой и шумливой.

Он сидел, обняв руками мокрые колени, и думал. Он думал о Кешке, который кричал «Берегись!» и который пел про хулиганов. Одного Кешку он любил, другой его возмущал. Это были два Кешки, и они не совмещались, как не совмещались сильные, красивые, одухотворенные ребята там, на просеке, и серые, тусклые — у палатки. Не совмещались красота и радость их труда и противная, нудная, как этот дождь, их жизнь в последние дни. Неужели жизнь идет по двум плоскостям, по двум параллельным прямым, которые не пересекаются? Или пересекаются? Ведь тот же самый Кешка, который плясал на пне, потом с перекошенным, пьяным лицом лез драться. Тот же самый Кешка. Жизнь-то совмещает. Значит, и в голове его, в сердце все это тоже должно совместиться, сплавиться и не вызывать удивления. Значит, так и надо, все правильно, нет ничего страшного, красота и грязь должны жить рядом?

А сам он? Он может рассуждать прекраснодушно, у него обо всем непримиримые суждения, а вчерато он струсил, струсил, струсил... И это не в первый раз. Значит, и в нем два человека? Как же быть, как же жить? Как относиться ко всему происходящему?

Мысли бежали, бежали, и не было на них ответов.

Или это бежала Канзыба?

8

В субботу Кешка и Бульдозер собрались на танцы. На танцы надо было тащиться в село Курагино, цивилизованно жившее в ста колдобистых километрах от их обойденной культурой палатки.

Приглашали. Николай и Ольга пожали плечами. Зачем? Ну, это понятно. Спиркин относился к танцам презрительно. Виталий не любил пародий. Букварь подумал и согласился.

Кешка выпросил у Виталия итальянскую куртку, подбитую лохматым лавсаном, с желтой «молнией» и узенькими погончиками. Куртка была синяя, отливающая коричневым, из плотной прорезиненной ткани, с серым вязаным воротником. Но главное Кешка выклянчил техасские штаны с заклепками и стал похож на ковбоя. «С саянским акцентом»,— сказал Виталий. Бульдозер прилизал металлической расческой мокрые серые волосы, медленно и с гордым чувством надел синий дорогой костюм с широченными брюками. Брюки Бульдозер выпустил поверх сапог, и сапоги исчезли, словно бы их и не было. Шею он стянул салатным галстуком с красными яблоками толстым, в кулак, узлом. Букварь тоже хотел повязать галстук, долго примерял его, но он вообще не любил галстуки, в них ему было не по себе, и он натянул черный свитер.

Букварь застегивал пуговицы ватника и чувствовал, что волнуется. Сначала подумал: это оттого, что он давно не танцевал. Потом понял: не потому; пришло какое-то глупое томящее ожидание, предчувствие чего-то. Это «что-то» должно было произойти сегодня. Букварь чувствовал это всем существом своим, всем телом своим, кончиками пальцев. Что-то должно было произойти. Что-то... Алые паруса ползли из-за горизонта.

— Ерунда,— сказал самому себе Букварь,— дождь капает.

Полчаса тащились под дождем по раскисшей дороге. Потом черно-зеленый «ЗИЛ» вынырнул из-за поворота. Кешка впился глазами в белые цифры номера и тут же расшифровал их:

— Малахов. Классический левак. Трепач. Болеет за «Спартак»... И вообще подонок...

Кешка проговорил это сурово и сплюнул.

И лицо у него стало суровым, как у мраморного Спиркина. Он стоял прямой и гордый, и взгляд его говорил: лучше будем мокнуть здесь до вечера, чем поедем в машине этого подонка.

Вымокший «ЗИЛ» с блестящим от дождя затылком кабины дернулся и застыл в десяти метрах от гордого Кешки. И вдруг Кешка, разбрызгивая бурое месиво, бросился к машине, вскочил на скользкую зеленую подножку и открыл дверцу. Лицо его стало приветливым, оживленным и даже заискивающим. Он смеялся и похлопывал Малахова по плечу, как будто был его лучшим другом. Малахов тоже смеялся. Он был тщедушный, хилый, с маленьким, бледным лицом аптекаря, с тонким вздернутым носом, на котором торчали старые очки в метал-

лической оправе. Радостный Кешка обернулся к ребятам и показал рукой на кузов. Сам он полез в кабину, подмигнув им: «Ничего, дескать, не растаете» — и в то же время: «Вот я какой, все устрою!»

Улеглись на досках кузова, уткнувшись ватниками и кепками в передний борт и холодный затылок кабины. Букварь смотрел в небо. Бульдозер шевелился и ворчал обеспокоенно. Потом он, не подымаясь, подкатил к себе стоявшую рядом пустую, пахнущую селедкой бочку и, скорчившись, сунул в бочку ноги в драгоценных брюках. Лицо Бульдозера стало спокойным. Дождь стучал по бочке. Бочка вздрагивала и покатывалась, наезжая Букварю на ноги.

Букварь расстроился. Лучше бы стоять там, на дороге под дождем. Все-таки это измена. Улыбаться подонку! Или это тоже предусмотрено сложностью?.. Подлецов не выкинешь из общества, не посадишь в клетки в зоопарке, они будут и будут жить рядом с тобой. Сам-то он едет в машине подлеца...

Ветви летели над Букварем, разрисовывали секундными рисунками серое небо. Потом они расступились, и рядом зашумел Кизир. Бочка еще раз наехала Букварю на ноги, и небо остановилось. Букварь и Бульдозер заинтересованно подняли головы.

Перед машиной стояла женщина. Молодая. С плетеной корзиной, прикрытой коричневым платком. Начались переговоры.

Лицо у Малахоза стало значительным, словно он принимал эту женщину в своем кабинете. А глаза его помаргивали из-под очков, оценивающе осматривали все детали «этой конструкции». Кешкина голова высунулась из-за плеча Малахова. Кешка сыпал комплименты и выражал взглядом: «Ух, какая женщина!» С первой же секунды было ясно, что ее подзезут, и все же переговоры продолжались, к удовольствию обеих сторон. Женщина покачивала головой и картинно смущалась: «Ой, ну что вы!»

— Разведка боем,— сказал Бульдозер.

Он отвернулся, надвинул кепку на глаза и зевнул:

— Ничего баба. Подходящая...

Плетеная корзина появилась над бортом. Букварь принял ее и поставил поудобнее. Корзина была тяжелая и пахла солеными огурцами.

Женщина долго усаживалась рядом с сонным Бульдозером и наконец опустилась, вытянув ноги в черных резиновых сапогах. Ноги ее лежали за бочкой Бульдозера, и Букварю были видны только розовые полоски чулок, обтягивающих толстые икры. Букварь поймал себя на том, что он все время поглядывает на эти розовые полоски. Он выругал себя и стал смотреть за борт.

Места бежали знакомые, но за эти десять дней они успели измениться.

— Бульдозер, а вот этого дома не было.

Бульдозер спал. Женщина сидела молча.

Машина внезапно остановилась. Букварь стукнулся головой о металл кабины.

— Женщины — направо, мужчины — налево! — объявил Кешка.

Букварь прохаживался по обочине булыжного шоссе, разминал затекшие ноги. Бульдозер стоял рядом и мрачно курил. Малахов и Кешка крутились около женщины. Когда решили ехать, Кешка залез в кузов, а женщина села рядом с Малаховым.

— Дай сигарету,— сказал Кешка.

Кешка затянулся и стал заглядывать через плечо в кабину.

— Подонок,— сказал Кешка.— Он ее обработает... Он умеет. Спекулянтка, наверное. Лишь бы бесплатно доехать...

Букварю было противно. Он старался не смотреть в кабину и не слушать Кешку. Значит, все так просто... Значит, вот доказательства рассказов Кешки и Бульдозера, от которых он хотел отмахнуться, как от чего-то ненужного ему.

— Рука на плече,— сказал Кешка.

А были ли когда-нибудь рыцари? Которые погибали на турнирах и, умирая, растоптанные бронированными ногами, шептали имя той, единственной? Они могли спуститься в клетку ко львам и, не вздрогнув, поднять с песка маленькую кружевную перчатку. Или все это придумано? Для обмана и утешения пятнадцатилетних? Чтобы не так горько было входить им в жизнь, грубую, как наждачная бумага? А в жизни все проще, и с песка не поднимают перчаток?

— Подумаешь, бедра! Вот у Зойки бедра!

— Подумаешь, у Зойки! А у Татьяны?

— И у Татьяны,— согласился Кешка.

...И сам он уже не пятнадцатилетний и одними утешениями и обманом жить не может...

— Сегодня буду танцевать с Зойкой,— успокоил себя Бульдозер.

...Но почему-то возникло вновь томящее ожидание чего-то большого, светлого, неожиданного.

Тр-а-а-х! Головой о кабину. Ничего себе останавливает!

Маленькое, сморщенное, как у хорька, лицо Малахова появилось в открытой дверце.

— Мне — направо, а вам — налево. Пешочком.

— Ты же до Курагина? — безнадежно спросил Кешка.

— В связи с изменившейся международной обстановкой,— засмеялся Малахов, и очки в металлической оправе заплясали на его детском носу.

Спрыгивали на землю, чертыхаясь, обойденные и обманутые, но с чувством морального превосходства. Кешка смотрел в спину ушедшему транспорту и пел, дурачась: «До свиданья, до свиданья. Мы договорились. И при всех на этой сцене мы с ней удалились...» До Курагина оставалось пыхтеть километров шесть, и уже темнело.

— Неужели все так просто? — спросил Букварь.

— Да, мальчик,— Кешка наставительно похлопал Букваря по плечу,— все так просто.

— Час работы,— скучно сказал Бульдозер.

Букварь видел, как Кешка подмигнул Бульдозеру и как тот с трудом заставил себя не рассмеяться. Шли полем. Кешка стал говорить о кукурузе.

...Все так просто... Час работы... И «вся любовь». Рушится еще одно представление, еще одна опора, еще одна мечта... Нет, никогда! Есть же Николай и Ольга. Есть же... И у него будет то самое, настоящее, единственное. Будет!

Будет ли? Вот сейчас он идет и пыжится, протестует против того, что увидел сегодня, а в башку ему лезут и лезут запретные мысли. Он гонит эти мысли, а они все лезут и лезут... И еще шевелится одна, самая противная: этот хлюпик в очках может, и для него все так просто, а он, Букварь, ничего не может и только обещает себе в будущем что-то настоящее, нереальное. От неспособности... И потом настоящее ли?

К черту! Потому ребята и смеются над ним. К черту все его слюнявые размышления! Сегодня он назло сделает это... Он сам не понял, что «это», и назло кому или чему. Назло самому себе, своим мечтам, назло Кешке, назло всем, всем! Раз все так просто.

9

Стучали ударники, полоскали свои металлические горла саксофоны и трубы. Лицо у Кешки было серьезное, неприступное, плечи его вздрагивали, а сам он попрыгивал и трясся в полной уверенности, что так и надо танцевать чарльстон.

Потом пластинку сменили, и все стали прохаживаться.

Букварь прислонился к стене. Грязь была на его кирзовых сапогах, ее не удалось счистить щепками и тряпкой, и ему хотелось спрятать ноги. Кешкины сапоги медленно пятились к середине зала, уходили с чистых досок. На них тоже налипла грязь, и на сером фоне в очень редких местах еще блестели черные пятна сапожного крема «Люкс», не съеденного дождем.

Кешка не прислонялся к стене и не искал места, где можно было бы спрятать ноги. Кешка умел быть хозяином. Он всегда и выглядел хозяином, человеком, который всем нужен. Он секунды не мог посидеть спокойно, все время влезал в разговоры и дела, не имевшие к нему никакого отношения. А он, Букварь, все стоял, прислонившись к стене.

Сейчас! Сейчас начнется танец и начнется все. Он пригласит... Вот хотя бы эту девушку в синем платье. Подойдет к ней просто так и пригласит.

Начинается. Рояль. Ударники. Саксофоны, трубы, тромбоны. Фокстрот. Пальцы дрожат. И не отрываются от стены. Оторвались. Девушка в синем платье, уже танцуя, уплывала от него...

За невидимой стеной шумел, двигался, смеялся другой мир. Звуки и запахи проходили через эту стену, как космические лучи, и волновали Букваря. Веселое, нервное движение крутило, толкало по залу счастливых, уверенных в себе людей. Букварь смотрел на них жадно, с завистью, глазами неудачника. Стена стояла перед ним и была прозрачной.

Медленно, в сдержанном, «столичном» ритме проплывали мимо Букваря одесситы. Их мостопоезд строил мост на Тубе, в двух километрах от Курагина. Прибыли они из-под Одессы и острить умели соответственно. Во время работы они ходили грязные, в традиционных выцветших ватниках, а в клуб являлись в черных выглаженных костюмах и снежных хрустящих сорочках. Иногда надевали жилеты и маленькие смешные бабочки.

Спешили, неслись по залу курагинские. Или толкались на месте. Одевались они не так элегантно, как одесситы. Попроще. Но аккуратно. И обязательно были при галстуках, часто толстоузлых, старомодных, но при галстуках.

И только ребята с трассы, с Кордона, Кордова и Кошурникова, и они втроем с Канзыбы были одеты кое-как, топтали дощатый пол неуклюжими сапогами, к которым прилипла грязь. И, странное дело, кошурниковские, кордонские сапоги были здесь в почете.

Каждая пара двигалась в своем направлении и со своей скоростью. Направления и скорости эти противоречили друг другу, расходились, сталкивались, но вместе они образовывали одно движение, один ритм, одно настроение. Мокрое, черное Курагино затихало, засыпало, и все движения, все шумы, весь свет, вся радость перешли на эту ночь в маленький зал. Сконцентрировались здесь.

Об этом шумном, светлом, движущемся зале Букварь мечтал в темноте мокрых канзыбинских вечеров. О музыке, о шарканье ног по дощатому полу. О каблуках-шпильках и черных костюмах. Все

это из холодной и неуютной палатки выглядело красиво, как в кино.

«Цивилизация»,— промычал час назад Кешка. Он смотрел тогда на листы плотной бумаги, пригвожденные к желтой стене клуба в метре от входа. Бумагу полоскал дождь и трепал ветер, закатывал набухшие, оторванные им углы. Слова звали в клуб: «В среду... лекция о Людвиге ван Бетховене... иная кибернетика... обсуждаем стихи моториста...» «Им легче жить»,— сказал Кешка. А Букварь долго перечитывал объявления, смакуя их.

Потом он зашел в комитет комсомола, но там никого не было. На столе рядом с графином на красном сукне лежали подшивки «Комсомолки» и «Спорта». Он листал их с жадностью, читал все подряд, про Кубу и про футбол, искал про Суздаль, но не нашел даже десятистрочной заметки. Обрадовался, когда узнал, что какая-то карабановская ткачиха родила четырех близнецов. Все-таки она была из их области. Запомнил все результаты по легкой атлетике за двадцать дней. Об этом просил Виталий. Цивилизация! Ну что ж, кому-то надо рубить просеку на Канзыбе.

— Букварь! У тебя прекрасный цвет лица.

Стоит Зойка. Все такая же. Сочные, чуть накрашенные губы.

Глаза влажные, карие. Нос морщит улыбка.

— Что ты! — смутился Букварь.— При чем тут цвет лица?

— Ну вот,— сказала Зойка,— а я думала, что ты мне скажешь комплимент.

И она пошла дальше. Останавливалась через каждые два шага, смеялась, запрокидывала стриженную под мальчишку голову, морщила маленький прямой нос. Словно обходила посты восхищения ею и собирала комплименты. «Если бы она остановилась только около меня...» — разочарованно подумал Букварь.

Зойка уходила к противоположной стене, и Букварь видел ее стройные, чуть полные ноги, красные блестящие туфли на высоких каблуках, черную шерстяную юбку, обтянувшую плотные бедра, желтую вязаную кофту и короткие рыжеватые волосы.

— Букварь! Сколько зим! Привет, Букварь!

— Привет!

Букварь кивал знакомым машинально, а сам следил за красными точеными туфлями и узкой шерстяной юбкой.

«Ча-ча-ча!» — завопила радиола. «Ча-ча-ча!» — зашевелился зал. «Ча-ча-ча!» — Каблуки уже не шаркали, а стучали. Или так просто казалось. Букварь потерял Зойкины красные туфли: их спрятало, стерло движение.

Кешка спешил, поводил от удовольствия губами, закрывал глаза, и смеялся, и выкрикивал в такт: «Ча-ча-ча!» Толпа вертела Бульдозера, драгоценные брюки мели пыль, и Бульдозер тоже приговаривал со всеми: «Ча-ча-ча!»

Ноги притопывали в такт. Букварь боролся с этим притопыванием, как с дрожью. «Струсил, струсил»,— бубнило в голове. «При чем тут струсил, это я тогда струсил, когда не полез в воду...»

И снова начался танец. Глаза Букваря обшаривали зал и вдруг, как в соломинку, вцепились в красные туфли и черную шерстяную юбку.

— Зойка! Можно с тобой?..

Плывут стены, плывет крошечная сцена, плывет радиола «Иртыш». Радиола стоит на табуретке, а табуретка — на сцене. Белеют клавиши радиолы — семь ровных зубов.

— А у тебя брошка,— говорит Букварь.

— Заметил! — смеется Зойка.

На вязаной кофте металлическая брошка, похожая на большой значок. Грустное лицо колдуньи, желтые распущенные волосы, чуть раскосые глаза.

— Знойная женщина!

— Я на нее похожа? — Зойкины глаза ждут.

— Нет,— простодушно говорит Букварь,— не похожа. У тебя глаза не такие. И ростом ты меньше...

— Ну вот!

— И ты...— неуверенно заканчивает Букварь. И тут же спохватывается: — Нет, ты лучше! Сама же знаешь! Стала бы ты таскать ее на груди, если бы она была красивее тебя...

— Ну вот!

Совсем он не может вести разговоры с Зойкой. Ни на что не способен! Она, наверное, обиделась. Молчит. Стоп. Шипит иголка, переползает через черную пластмассовую бровку. «Ночью за окном метель, метель...» Опять!

— Зойка! Еще раз.

И снова плывут стены.

— Зоя, ты обиделась?

— На что? — безразлично спрашивает Зойка.

— Ну вообще?

Зойка пожимает плечами. Букварь становится немым. Вот если бы с Зойкой можно было говорить о Суздале, или о литературе, или о футболе, или хотя бы о куске льда, расплавленном жарками. Нельзя. Он покажется наивным. Ей нужны другие разговоры... Ну ладно, он не будет больше приглашать ее.

«Тишина» замолкает. Зойка идет к противоположной стене, к отодвинутому ряду обитых кресел, туда, где, развалившись, сидят Кешка и Бульдозер.

Пластинка крутится снова. Букварь бредет вдоль пустых уже скамеек. Он может пригласить на этот танец всех девушек сразу. Всех.

Зойка... Опять глаза натыкаются на нее. Она все еще рядом с Кешкой. «Нет, с ней ни к чему. Хватит». Полная смуглая рука трогает погончики синей куртки, взятой напрокат. Зойка оборачивается. Почувствовала его взгляд. Смеется.

— Зойка! — говорит Букварь и решительно шагает к ней через весь зал.

Он танцует с ней вальс, потом еще вальс, потом фокстрот. После каждого танца он говорит себе: «Хватит. С Зойкой хватит»,— и как только начинается новый танец, с мрачной решимостью подходит к Зойке. Она смеется и смотрит так, словно все это ей очень нравится.

Потом он опаздывает на секунду, и черные ботинки одного из курагинских уводят Зойкины красные туфли. «Ну и хорошо. Наконец-то»,— думает Букварь. Но он стоит у стены, так и не пригласив никого, и злится на Зойку, которая смеется курагинскому так же, как смеялась секунду назад ему.

— Дай закурить,— говорит Букварь Кешке и не спускает глаз с желтой вязаной кофты.

— Видали? — делает большие глаза Кешка.— Динамика характера. Речь не мальчика, но мужа.

Букварь мнет пальцами сигарету и смотрит на Зойку. И вдруг впервые замечает, как красиво она танцует, и как красиво ее смеющееся лицо, и как красивы ее стройные ноги в красных тонких туфлях. Букварь ищет нежные слова, которые ему хочется произнести.

— Все-таки симпатичная,— грубо говорит Кешка,— влекущая...

Бульдозер смеется по-лошадиному и добавляет о Зойке такое, от чего Букварь краснеет. Он стискивает зубы, готовый броситься на Бульдозера, но

вдруг вспоминает все забытое им на час: и то, что он слыхал о Зойке, и то, что он сам знал о ней, и то, что произошло по дороге в Курагино, и очкастого хлюпика, и розовые полоски чулок, и слова «все так просто», и свою решимость перейти сегодня черту. «Все так просто...» И злость выходит из него, как воздух из проколотой камеры.

Все так просто. Все так живут. Закрутились, закрутились в голове мысли, с которыми шагал он последние шесть километров по грязной дороге в Курагино. Зойка? А почему бы не Зойка? Мысли, грязные, как та дорога. Ну и пусть! Зойка танцует с курагинским, она смеется ему. Бульдозер, может быть, не так уж далек от истины. Ну, что ж, так будет лучше. Так будет легче. Нежности забыты, они были бы тут смешными. Слова, брошенные Бульдозером, толкнули его в мир реальный, и Зойка сразу стала той Зойкой, из реального мира.

Курагинский расшаркался, и Зойка идет к ним.

— Букварь, ты не обижайся, следующий танец твой.

Сама. Ладонь на талии, ладонь на локте. Это танго, его нужно танцевать медленно, прижавшись друг к другу. Он чувствует ее теплое, тугое тело, ее плотные бедра и грудь. Ее глаза совсем рядом, черные, влажные, блестят, словно пьяные.

10

Дождь каплет, каплет, тонкими, неуверенными, смываемыми ветром струями лижет стекла, въедается в желтую штукатурку. Свет в окне гаснет, вынырнувшая из черноты белая кисть руки открывает окно, и Зойкины сапоги спрыгивают с ободранного подоконника в косую сетку дождя.

Букварь стоит, растопырив руки, страхует на всякий случай. Зойкина голова тыкается в мокрый его ватник, правая рука ее цепляется за воздух.

— Не надо! — шепчет Зойка.

Букварь обиженно и смущенно опускает руки. Ничего он такого и не думал. Просто хотел поддержать ее.

Они идут вдоль длинных приземистых общежитий с черными, сонными рядами окон.

— Сапоги,— показывает Зойке на ноги Букварь.

— Угу. А ты думал, я пойду с тобой в туфлях? На тоненьких-тоненьких каблуках?

— Нет. Я не думал. Особенно на тоненьких...

Он замолчал, и Зойка замолчала. Букварь любил молчать. Вот так идти рядом с человеком, с которым тебе хорошо, и молчать. Думать о чем-то своем. Или вообще ни о чем не думать. Просто идти...

Но сейчас нельзя молчать. Зойке можно, а ему нельзя. Молчание их не связывает. Нужно подбрасывать в огонь сучья. Все время. Чтобы не погас.

Букварь скосил глаза на Зойку, и ему показалось, что Зойка морщит нос. Наверное, ее смешит его растерянность, и она наблюдает за ним с любопытством. («Интересно, как будет вести себя этот?») Собственно говоря, он и сам прекрасно понимает, что все это игра. Но вести-то игру надо ему.

— Ты спишь? — спросила Зойка.

— Нет, я думаю,— сказал Букварь.

— И ты знаешь, о чем думаешь?

— Знаю. О звездах.

Он на самом деле начал думать о звездах. Уже неделю он не видел звезд.

— Есть звезда,— сказал Букварь,— она голубая. А в центре ее золотая блестка. Она горит раз в месяц. Только один раз. Ее любили древние греки...

Все это он придумал только что.

— Хитрая звезда,— засмеялась Зойка и спросила: — А на той звезде все раз в месяц? И любовь? Есть там любовь?

— Всюду, во всех вселенных есть любовь.

— Ага,— согласилась Зойка.— Всюду. Кроме нашей планеты. У нас лаборатория. Экспериментальный цех. Пробуют, не помрет ли человечество без любви. Ничего, не помрет!

Она говорила отрывисто и жестко. Словно злилась. На себя и на человечество. Букварю хотелось возразить ей, но он молчал. Возражать — значит рубить концы. Повернуться напоследок и уйти. Не решился. И у Зойки оставался довод, на который он не мог дать теперь ответа... Она его высказала:

— Ты-то вот идешь со мной...

Ну, скажи, повернись и уйди!.. Промолчал.

— Ладно.— Зойка вдруг освободила его от необходимости возражать, улыбнулась даже.— Я не обижаюсь. Это хорошо, что у нас лаборатория. Веселее. Всегда интереснее экспериментировать. С любовью было бы очень скучно...— Потом она сказала: — Погоди, Букварь, у меня что-то попало за голенище. Мокрое и противное, как жаба.

Зойка прыгала на одной ноге, пытаясь стащить сапог. Сапог был грязный и скользкий. Букварь держал ее за плечи, но она все-таки потеряла равновесие и уткнулась лицом в его грудь. Потом сапог сполз, из него вывалился кусок грязи.

— Ну вот,— сказала Зойка,— а то ходить с мокрой жабой.

Зойка смеялась. Ее глаза были совсем рядом.

— Да, с жабой ходить неудобно,— сказал Букварь. Он прижал к себе Зойку и поцеловал ее влажные губы.

— Неудобно.— Зойка смеялась. Потом она сказала: — Пойдем.

А куда идти? Никуда. Просто идти, и все.

«Ну вот,— подумал Букварь,— все просто...» Он так и не мог понять, радоваться или огорчаться тому, что произошло.

Зойкины сапоги ступали медленно и чуть кокетливо, и Букварь снова вспомнил розовую полоску чулка.

— А ты быстрый,— сказала Зойка.

— А чего? — не успел среагировать Букварь.

— Ты всегда такой? — В голосе Зойки слышались и ирония, и горечь, и усталость, и любопытство.

— Всегда такой,— бодро проговорил Букварь.

Ему хотелось казаться сейчас настоящим мужчиной, сильным, великодушным и энергичным. Он думал, что выглядит со стороны именно таким. Говорил глухо и значительно. Переставлял ноги медленно, словно не был уверен, стоит ли это делать.

— Ну, конечно,— сказала Зойка,— в тебе есть что-то такое... ну, неотразимое...

— Ну что ты! — скромно сказал Букварь.

— Нет, серьезно. Ты, наверное, всегда нравился девчонкам?

— Да вроде...

— Они вешались тебе на шею?

— Бывало,— не стал разочаровывать ее Букварь.

— А были у тебя девчонки, которых ты запомнил?

— Были,— не сразу ответил Букварь.— Одна была высокая, стройная. Чемпионка области по фигурному катанию. У нее здорово получались прыжки с оборотом. Она любила, когда я покупал ей мороженое... И еще одна... Рыжая... Искусствовед в музее.

Та все торчала около нашего дома, делала вид... И еще...

— Вот ведь,— то ли с уважением, то ли с иронией произнесла Зойка.

— Да, вообще-то были...

Никого не было. Все он врет. Хвастает. Чтобы казаться мужчиной. Понимает, что врать глупо, стыдно, и все равно врет. Словно кто-то тянет его за язык. Сколько раз он ловил себя на том, что начинает хвастать! Чтобы казаться лучше, чем есть. Чемпионка! Когда-то мальчишкой он мечтал, что та, которую он полюбит, будет фигуристкой.

Букварь покраснел и для того, чтобы оправдаться, сказал резко:

— А ты, я слышал, запомнилась многим...

— Кому это?

— Ну... ну хотя бы Бульдозеру и Кешке.

— Кешку ты брось. Кешка — святой человек.— Она сказала это серьезно и сердито.

И снова шли молча, словно не было той минуты под фонарем.

Клуб все еще светился слева, вдалеке, и Букварь пожалел о том, что он не стоит у стены и не слышит, как шипит корундовая игла радиолы.

Сзади зашагали сапоги. Много сапог. Сапоги спешили.

Букварь не успел обернуться, потому что Зойка дернула его за рукав. Он, так и не сообразив, чего она хочет, отскочил в сторону вслед за ней. Зойка потянула его за руку, толкнула за черный угол общежития. Так они стояли молча, не дыша, прижавшись спинами к мокрой стене.

Мимо, по дороге, шли с танцев парни и девчата. Шли быстро, хозяйским шагом. Букварь знал их. Они работали в бригаде Чугунова. Марийцы и двое из его, Владимирской области. Говорили громко и смеялись громко, словно всему Курагину хотели сказать: «Смотрите. Вот мы идем. Вот мы какие».

Букварь смотрел им в спины и вдруг понял, что испытывает чувство, похожее на страх. Понял, почему Зойка толкнула его за угол общежития. Он отвел бы глаза, если бы встретился взглядом с этими ребятами. Отвел бы.

— Ну вот, как подпольщики.— Шутка получилась жалкой.

— Пошли,— сказала Зойка.

Значит, надо прятаться? Прижиматься к мокрой стене общежития? Бояться глаз своих товарищей, словно делаешь что-то грязное? Значит, так? Но ребята уже ушли далеко. Черт с ними!

— Вот здесь мы трудимся,— показала Зойка,— штукатурим...

— Ага,— сказал Букварь.

— А это арматурный цех.

Фонарь показывал вход в арматурный цех. Цех был низкий, похожий на склад. Ветер болтал незапертую дверь склада.

— Пойдем под крышу,— сказала Зойка.— Что торчать на дожде?

Дверь рванулась, впустила их и хлопнула со злостью. Букварь нагнулся, прижал Зойку к себе и нашел ее губы.

Дверь пропускала узкую полоску света в длинный, холодный цех. Полоса эта была то худой, то толстой, резала темь. Фонарь инспектировал цех, посматривал время от времени, как бы чего не случилось.

Глаза привыкли быстро. Слева валялась горка белой крупной стружки. Стружка эта, наверное, укутывала в дороге до Курагина новенькие, тускло поблескивающие станки. Станки стояли справа, пахли металлом и маслом, мрачные и таинственные, высвечиваемые время от времени фонарным инспектором. На земляном полу валялись причудливо выгнутые трубы, проволока, куски металла, игравшие в полумраке в какую-то современную сказку.

Букварь подошел к станкам, стал бессмысленно тыкать их пальцами, испачкал пальцы в масле, гре-

мел жестью, оттягивал секунду, когда надо было идти к Зойке.

— Где ты там, Букварь? — позвала Зойка.— Садись.

«Стружка лежит, как намек»,— подумал Букварь. Стружка зашуршала, осела под ним, мягкая и чистая. Рука Букваря легла на теплую Зойкину руку. И снова какое-то томящее чувство обожгло его, покалывая кончики пальцев.

— Так надоел дождь! — сказала Зойка.

Он гладил ее шершавую, грубоватую руку, полированные, пахнущие лаком ногти. Зойка о чем-то говорила, он ей отвечал, даже шутил и смеялся и говорил что-то... Зойка положила голову на его плечо, и он гладил ее густые, пушистые волосы, целовал ее.

— И чего вы верите Николаю!— сказала вдруг она.

«При чем тут Николай? Зачем она о Николае?» — подумал на мгновение Букварь. Он хотел ответить ей, но его уже целовали Зойкины губы.

Пальцы его ощутили маленькие кругляки пуговиц. «А у Буратино на белой кофте красные пуговицы,— неожиданно подумал Букварь.— При чем тут?..» И вдруг пришла другая мысль: «Только бы об этом не узнала Ольга!»

Пальцы Букваря перестали шевелиться. Он сидел: боялся, что Зойка начнет сейчас задавать вопросы. Но она молчала.

Он начал уверять себя, что она ему нравится, что он давно думал о ней. Но тут же подумал вдруг: «А ты сможешь сказать ей о любви?»

А зачем об этом говорить? Фальши не нужно. Ею движет просто физиология. И им тоже. Там, на берегу, он струсил и сейчас струсит? Нет. Нечего обманывать себя обещаниями красивого и туманного будущего, нечего ущемлять себя... Очкарик Малахов... «все так просто»... И вдруг Букварь резко, рывком поднялся с шуршащей стружки.

— Ты чего?

— Мне надо идти,— сказал Букварь,— я опоздаю... На машину.

Дверь дернулась. Наверное, нарочно. Впустила полосу света. Полоса покачивалась, выхватила из полумрака Зойку и его, Букваря, застывшего в двух шагах от нее.

— Ты чего? Ты куда? Что с тобой?

Зойка ничего не понимала. Лицо ее становилось удивленным и обиженным. Сейчас ей не надо было врать. Надо было сказать правду. И он сказал. Глухо:

— Я не могу так. Так нельзя.

Он пошел, наступая на стружку, на гнутые тонкие трубы и полосу света. Его догнал Зойкин смех. Она сначала смеялась тихо, а потом стала хохотать. И слова, злые, как нож, били в спину:

— Мальчик!.. Опоздаешь в ясли!.. Думаешь, ты мне очень нужен? Да? Думаешь, я в тебя влюбилась?.. Да?

И вдруг Букварь подумал, что вся эта прогулка с Зойкой подстроена, вспомнил, как тогда, на Канзыбе, Кешка обещал ему устроить «что-нибудь такое»... И он тут же уверил себя, что все, по-видимому, так и есть. Резкая обида захлестнула его, и он чувствовал, что способен сейчас на самый безрассудный и нелепый поступок.

Он обернулся и неуклюже пошел на Зойку. Наплыло ее лицо, освещенное лучом фонаря, резкое, со сморщенным носом и смеющимся ртом.

— Мальчишка! — хохотала Зойка.

Букварь сжал зубы, понимал, что делает глупость, и все же шагнул вперед и ударил Зойку по щеке. Вышел в дождь, в мокрую ночь, хлопнул дверью.

И не видел, как Зойка опустилась на стружку, закрыла лицо руками и заревела девчонкой.

11

Дождь покапал еще день, и ему надоело. Утром в воскресенье небо было серым, но дождь уже не лил. Шарик прыгал по сухому столу, и Кешка снова проигрывал Виталию.

Кешка перестал смеяться над Букварем. Он потешил публику и успокоился.

Бульдозер сидел на пне, держал двустволку, готовя ее к охоте, и похохатывал, качая от удовольствия головой и показывая на Букваря пальцем. Если бы Николай не остановил его, он бы вообще разошелся. Хорошо, что рядом был Николай.

Но из шуток Бульдозера и Кешки Букварь понял, что они ничего не знают о его прогулке с Зойкой, и, значит, ничего не было подстроено. Он все время думал о пощечине, и ему было стыдно, и он все больше и больше становился сам себе противен. «Это тебе надо было влепить пощечину. Это тебе...»

Букварь шел по берегу Канзыбы, и монотонный, заученный наизусть шум реки его не успокаивал. Он уселся в камнях над рекой и обхватил колени руками.

На душе было мерзко, как во рту после Кешкиного спирта. Чувство унижения, испытанное им у стены общежития, не проходило. Все-таки надо было дать Бульдозеру в морду там, на танцах, когда он сказал такое о Зойке. Даже если он сказал правду. И сейчас нельзя было молчать, надо было ответить Бульдозеру и Кешке. Сейчас он пойдет к палатке и...

— Слушай, Букварь, я собрался слазить на столб. Хочешь, я возьму тебя с собой?

Николай положил ему руку на плечо. Нашел его в камнях и положил ему руку на плечо.

— Я же не умею лазить по скалам,— смутился Букварь.

— Ничего,— сказал Николай,— главное, чтоб у тебя были кеды.

— У меня есть кеды,— заспешил Букварь.

В палатке Николай натянул старый черный свитер с красными суконными тузами заплат на локтях. Брюки надел спортивные, тоже старые, протертые. И на брюках сзади и на коленях краснели суконные тузы.

— Черви-козыри? — спросил Букварь.

— Не спеши. Ты еще пожалеешь, что не расшит хотя бы пиками. Надень какое-нибудь тряпье. Попроси у Кешки.

Букварь промолчал. И Николай не говорил больше про Кешку.

— Держи,— сказал Николай.— Проверь.

Тугой, тяжелый красный моток прыгнул в руки Букваря. Кумачовая лента сукна, разматываясь, падала на пол. Лента была широкая, прочная, как лента транспортера.

— Ничего веревочка! — оценил Букварь.

— Двадцать метров. Это кушак. Без него нельзя. Пошли,— сказал Николай.

Кешка спросил их в спину:

— На столб собрались?

— Туда.

— Ну-ну! Хитрый столб. Я назвал его Тарелкой.

— Ну и черт с тобой! Если бы ты даже назвал его Чашкой! Или Подстаканником! Очень это всех интересует!

Значит, Николай взял его, чтобы успокоить? А получится? Канзыба вот не успокоила...

Шли берегом Канзыбы, а потом вдоль ручья, сдававшего Канзыбе свою воду. Столб сидел в тайге,

как белый гриб в листьях, крепкий, светло-коричневый. Гриб-переросток, метров сто пятьдесят в высоту.

— Ну и при чем тут тарелка? — сказал Николай.

Тарелка была совсем ни при чем. Вообще надо было постоять, посмотреть и подумать, прежде чем сравнивать этот столб с чем-нибудь. Вот красноярским столбам повезло. У коричневых скал на Енисее прямо портретное сходство со всякими стариками, бабками, внучками, зверями, крепостными воротами и птичьими перьями. А эта ни на что не похожа. Стоит себе. Скала и скала.

— Здесь можно тренироваться,— сказал Николай.

Вокруг скалы всюду торчали камни, малые и большие.

— Вот на этом маленьком слоненке...

Камень был похож на спящего слона, упрятавшего коричневый хобот в уставшие ноги. Голова у слона была лобастая, с каменными прижатыми ушами. По широкой слоновьей спине, метров в восемь длиной, можно было бы кататься на санках.

Николай бросил в траву кумачовый моток кушака и быстро взобрался слону на спину. Слон даже не пошевелил ушами. Букварь уверенно подошел к камню. И свалился в траву. Подтянулся снова на руках и повис, болтая ногами. Николай спустился быстро, подал ему руку. Букварь влез на камень, хотел подняться по нему стоя, но не удержался и вцепился в камень руками. Полз по голове слона на карачках. Николай шел рядом, как по паркету, следил за Букварем, словно за ребенком, начинающим ходить.

Букварь пытался повторять приемы «столбистов», которые показывал Николай, и злился на свою бездарность.

— Ты способный,— сказал Николай.

Букварь не понял, пошутил тот или сказал серьезно. Единственно, что у него получалось,— это спускаться по слоновьей спине на ягодицах. Он съезжал лихо, с криком, и собственный опыт подсказывал ему, зачем посажены на брюках Николая красные суконные тузы.

— Что ты жадничаешь! — засмеялся Николай.— Опять только носок. Стазь ступню. Полной ступней только и можно ходить. Самое главное — чувствовать себя уверенно.

— Я вообще человек, неуверенно ступающий по жизни,— философски заявил Букварь.— Вот когда кто-нибудь смеется рядом, мне всегда кажется, что смеются надо мной...

— Сразу это, естественно, не получается...

— ...и, наверное, всегда я ставлю только носок...

— Ты полезешь?

— Полезу,— не очень убежденно сказал Букварь.

Николай, наверное, был уже хорошо знаком с этим столбом: он шел быстро, не глядя на скалу, и наматывал кушак на пояс.

— Вот здесь ход.

Николай подтянулся легко и оказался на каменном карнизе. Став на колено, он подал Букварю руку, и Букварь, напрягшись, поболтав в воздухе ногами, забрался на карниз. Шли карнизом. Карниз не спеша поднимался вверх, узкий, как подоконник. Иногда над ним нависали добродушные овальные выпуклости скалы, и идти приходилось медленно, прижавшись спиной к камню, распластав по желто-коричневой стене руки, гладить камень ладонями. Николай шел спокойно, впереди внизу Букварь видел его потертые синие тапочки, шагавшие не спеша.

— Катыши,— пояснил Николай,— это кругляши...

Прошли катыши, идти стало посвободнее. Узкий карниз уткнулся в камень и пропал. Николай покачал головой, посмотрел вверх. Над ним была плоская, равнодушная стена со старческими резкими черточками каменных морщинок. Букварь тоже посмотрел наверх, а потом на тупик и подумал: «Ну вот и все. Придется спускаться». Понял вдруг, что эта мысль его не расстроила.

— Черточки эти,— сказал Николай,— называются карманами. В них можно ставить носки ног. Они удержат и пальцы твоих рук. Только учти: скалы не любят пижонов. Все время ты должен быть сцеплен с тремя точками камня. Нога и две руки. Две руки и нога. Понял?

— Ага,— забормотал Букварь,— три точки...

Прошли еще катыши и еще, снова гладили ладонями холодноватый камень. На маленькой площадке они остановились на секунду. Смотреть вниз было страшно. Гладкая, словно полированная, стена стометровым обрывом уходила вниз. Где-то внизу терлись о камень колючими ветвями игрушечные сосны и кедры.

— Смотри... Замечай...

Николай уже ползет по стене. Движения Николая красивы и расчетливы, ими стоит любоваться. Каждый метр взятой стены — это красота человеческого тела, сила и смелость.

«Это Николай...» — думает Букварь.

— Все карманы заметил? — Николай стоит над стометровым срезом скалы, обняв худенький шелушистый ствол сосны, выросшей в расщелине.

— Все,— уверенно говорит Букварь. Не хочется ему выглядеть перед таким человеком недотепой, не хочется признаться, что, залюбовавшись Николаем, проглядел он все карманы.

Букварь обнимает стену. В редкие, крошечные морщинки скалы вцепились его пальцы. Кончики пальцев. Морщинки держат их неохотно, ненадежно, пытаются выскользнуть, вырваться, сбросить его вниз. Три точки... И снова три точки. Дальше куда? А дальше куда? Лоб скалы помолодел, растянул морщины, стал надменным, холодным.

— Так,— говорит сверху голос Николая. Он похож на голос диктора, каждый раз по утрам советующего переходить к водным процедурам.— Подтяни правую ногу... Так... Некуда поставить?.. Ничего... Есть же три точки...

Три точки есть... Голос диктора говорит издалека. Может быть, из Москвы... «Теперь левую... Держись на руках...» На руках? На пальцах. На кончиках пальцев... «Правая рука у тебя крепко? Хорошо. Вытягивай левую. До предела... Ищи чуть-чуть левее... Нашел?» Нашел. Жадно схватился пальцами. Этот карман для грошей. Крошечная зазубринка. Как порез на коже. Выбита камнем. Почему камнем? Может быть, молотком. Или нет. Это туча ударилась. Ночью. Сдуру. Спьяну.

Только четыре пальца в кармане. Большой трется о скалу. Ногти скребут камень. Надо было их обрезать. Надо было... «Теперь освобождай правую руку и до предела влево, вбок вытягивай левую ногу... До предела...» Носок осторожно скользит по коричневой, дубленой коже скалы, ищет, ищет, тело напряглось, холодная капля бежит мимо глаза, по щеке. Дождь?.. Нет... Пот... Холодная капелька пота... Это запотел камень... Нога вытянута до предела... Словно он делает гимнастическое упражнение... Вот он, карман... Вот он...

— А-а-а-а!

Чей это крик? Его или Николая? Его или Николая! Карман... Нет кармана. Нога уперлась просто в стену и сорвалась вниз. Только четыре пальца держат его. Четыре пальца... Большой трет скалу... Ногти скребут камень... Если бы он их остриг... Пальцы устают... Пальцы устали... В двух метрах над ним узло-

ватый, скрюченный корень сосны... Кто это? Николай... Машет руками, губы дрожат... Переходите к водным процедурам. Пальцы слабнут... Сколько ему лететь?.. Зеленая шкура под ним... Почему они такие маленькие, сосны?.. При чем тут сосны?.. До узловатого, скрюченного, доброго корня два метра... Двести. Два километра... Кто его болтает над зеленой шкурой? Ветер... «...Вправо». Заговорил репродуктор? «...Старое место». Правая рука вправо... Ничего нет... Вниз! Ага. Вот искривленный от издевки рот скалы. Сколько таких ртов?.. Держит правая... Правая нога встала. Встала! Земля. «...Расщелина...» Справа тонкая ниточка расщелины. Она подымается к корню. Цепляясь за нее, вгрызаясь в нее, он ползет, как во сне, как лунатик... Жить! Жить! Мягкая шелуха под рукой.

— Давай, давай! — Рывком Николай вытягивает его на каменный балкон.

Кривая, толстостволая сосна устроилась на балконе. Зачем она здесь? Зачем? Руки Букваря обхватывают короткий толстый ствол, быстро, судорожно, словно не веря в реальность этой кривой сосны. Букварь стоит, обняв ствол со сползающей змеиной шкурой, знает, что, кроме этой сосны, ничего уже не будет и он всегда будет стоять здесь, станет камнем, но не сдвинется с места. Потому что некуда сдвинуться.

Николай сидит на камне, молчит, курит, дышит тяжело и быстро. Испугался?

И только теперь приходит чувство страха. Жуткое, тягучее, холодящее чувство, не успевшее прийти к нему за те несколько ставших десятилетиями секунд, когда он висел над тайгой.

Могло уже ничего не быть. Ни этой сосны, ни зеленой шкуры внизу, ни скалы. И Николая тоже не было бы. Ничего. Чернота. И черноты тоже не было бы. Просто ничего.

Земля болтается в этом бесконечном мире пылинкой крошечной, как атом. Если отлететь от нее на тысячи километров, она будет тащиться внизу голубым глобусом. Шариком, на котором миллиарды существ в это мгновение рождаются, живут, умирают, страдают и смеются. А что значит в этих космических масштабах он, его жизнь и смерть? Ровно ничего.

Но он вцепился в эту скалу ногтями, которые не успел состричь. Он остался жив! Жив! Жить! Он готов кричать на всю вселенную: «Жить!»,— чтобы все поняли, что значит для него, Букваря, его жизнь и смерть. Что значит для него вселенная? Ничего. Он остался жив, и ему кажутся смешными и мелкими его вчерашние сомнения, все его принципы. Разве важно, как жить? Важно жить. Жить! Ведь там, за чертой, ничего.

— Ну как, Букварь, отошел? — спрашивает Николай.— Это могло случиться с каждым... Пойдем дальше или вернемся?

Все равно. Но ползти обратно, мимо скрюченного старческого корня сосны, длинного пальца лешего-пенсионера, он не сможет. Нет, он будет стоять, обхватив шелушистый ствол, останется здесь навсегда, на века. Только жить!

— Ну ладно,— говорит Букварь,— полезем дальше.

Сейчас он отдышится, уймет дрожь в кончиках пальцев — и снова в путь. Николай идет впереди, сильный и стройный, идет не спеша, потому что он, Букварь, тащится за ним на карачках. Четыре точки соприкосновения. И в башке одно: вцепился в жизнь, в Землю! Неужели останется это чувство с холодящим привкусом страха на всю жизнь? Неужели ни на секунду он не забудет о том, что он микроскопическая точка на Земле, плывущая по равнодушной к нему вселенной? Нет! Сейчас он встанет, сейчас он пойдет по этой скале, по этой планете полной ступней!

Встает, выпрямляется. Трудно. Нужно сделать первый шаг. Первый шаг. Второй, третий... Идет. Можно ведь идти стоя? Можно! И от этого здорово на душе! Словно он научился летать!

Оборачивается Николай. Смеется громко, довольно:

— Ну вот, полной ступней...

Он стоит, любуясь первыми шагами Букваря, как художник своим произведением. «Как Пигмалион Галатеей,— думает Букварь.— Он ни разу не сказал мне «осторожней», он доверял мне, он все время уходил вперед, молча, чтобы я не чувствовал себя дошкольником, чтобы я верил, что все это ерунда. Он волновался. И вот я встал, я иду, я не струсил. Как здорово, что живет со мной рядом Николай!»

— Ну вот,— сказал Николай,— два шага до вершины.

Добрались все-таки. Через неровную, кривую широкую расщелину попали на круглую, спокойную площадку с чуть приподнятыми каменными краями. Дальше идти было некуда.

— Вот она где, Тарелка,— сказал Николай.

Тарелка? На самом деле, тарелка. Из нее можно пригоршнями хлебать небо. Неужели Кешка был здесь? Неужели...

— Кешка тут все облазил,— улыбнулся Николай.

Значит, они не первые. Кешка пытался ножом ковырять камень. Неровные царапины составили слова, в том числе и неприличные. Кешка увековечивал свое имя.

— Дурак,— сказал Николай,— обязательно нужно пижонить. Кешка есть Кешка. И ведь лез на скалу под дождем. Высшая квалификация.

Он достал перочинный желтый нож и стал царапать камень. Пытался зачеркнуть высеченное Кешкой. Кешкины слова не совмещались с красотой, фальшивили в песне.

Букварь устроился у чуть приподнятого зубчатого края Тарелки, смотрел и думал.

Тайга зеленой щетиной окружила скалу. Была всюду, всюду спокойная, неподвижная. Где-то там, внизу, в тайге, стояли дома, рубили трассу, работали люди, ругались, дружили и ссорились. Но тайга прятала все: и дома, и трассу, и людей, их радости и переживания. Прятала, успокаивала. Бесконечная, безразличная, вечная, говорила молча: «Как все это мелко, мизерно, все эти ваши переживания! Они пройдут. Есть в мире что-то настоящее, вечное, более высокое и значительное, чем они».

Тайга молчала. И пришло спокойствие. Исчезла злость к Кешке и Бульдозеру. Исчезли сомнения, казавшиеся теперь смешными. Не ради них живет человек. Ради радости, ради любви. Букварь чувствовал себя влюбленным в серое небо, в каменную Тарелку, в зеленую шкуру земли, в шаги полной ступней, в Николая, красивого и сильного, в дорогу, в жизнь на нашей Земле.

Николай вдруг заулыбался. Букварь любил, когда он улыбался. Улыбка у Николая начиналась с маленькой ямки на левой щеке. У всех было по две ямки, а у Николая одна. «Асимметрия,— сказал Виталий Леонтьев,— это теперь модно». Улыбка у Николая была застенчивая и в то же время смелая. Хочешь не хочешь, а улыбнешься, если смеется Николай.

Букварь смеялся и вдруг оборвал смех, спросил серьезно:

— Слушай, Николай, зачем ты меня сюда взял?

Николай помолчал и сказал тихо:

— Знаешь, Букварь, жизнь состоит из праздников

и будней. Флаги нельзя вывешивать каждый день. Иначе на них не будут обращать внимания.

Больше он ничего не сказал. Спускались быстро, по катышам, раза четыре бросали кумачовый моток кушака. Букварь шел уверенно, прямой, наслаждаясь своим упругим, хозяйским шагом, жалел, что рубчатые подошвы его кед не оставляют следов на камне.

И потом, когда уже шагали по тайге, на душе было состояние умиротворенного равновесия, теплое, довольное спокойствие. Бывают будни, бывают праздники. В штурмующие, яркие праздники люди красивы, и Кешка вдохновенно кричит: «Берегись!» В будни напряжение спадает и выступают на первый план серые, мелкие дела и заботы. Люди ворчат, видят друг в друге мелочи. И пыжатся из-за мелочей. Но ведь без будней не бывает праздников.

В этом ответ на все его сомнения. В спокойствии светло-коричневой скалы. И, как эта скала, надо быть выше мелочных сомнений и переживаний, спрятанных тайгой. В этом смысл слов Николая, вот зачем он заставил его лезть на скалу. Надо воспринимать жизнь, людей такими, какие они есть. Надо любить их такими, какие они есть.

12

Бульдозер вернулся с охоты вечером, когда стемнело и по брезенту палатки снова застучал дождь.

Бульдозер принес гуся.

— Стоило таскать два ствола! — хмыкнул Кешка.

— Тигра он отпустил,— сказал Виталий Леонтьев.— У тигра заболела голова, и он долго ныл. Медведь с перепугу снял с себя шкуру и стал сдавать ее. Но шкура была уцененная. И вот в конце концов гусь.

— Ладно,— пробурчал Бульдозер.

Гусь шлепнулся на стол и замер, словно прижался к зеленым доскам. Он был жалкий, съежившийся, сбившийся в комок от последней обиды. На белых накрахмаленных перьях его слезинками блестели капли дождя. Крови не было: гусь свалился, наверное, не пойманный дробью, а от испуга, увидев этого страшного, квадратного Бульдозера.

— Ничего, сойдет. На лапшу,— заявил Бульдозер.— На болоте я его... За Нордой есть такие болота...

— Чего-то он... немножко похож на домашнего,— робко сказал Букварь.

Бульдозер смерил его презрительным взглядом.

— Зоотехник! Аттестат зрелости! На домашнего!..

Лапшу ели через час, и Кешка долго сокрушался, что не осталось спирта. Лапша была густая, жирная, пахла дождем, соснами и обжигала рты.

— Горчит? — спросил Бульдозер.

— Нет, не горчит.

— Ну вот! — обиделся Бульдозер.— Без очков, что ли? Это же дичь. Она всегда горчит!

Николай пожал плечами, но все невольно стали есть с другим чувством.

— Вообще-то горчит,— неуверенно сказал Букварь.

Вообще-то не горчило, но раз горечь была непременным условием экзотики, пришлось уверять себя.

— Горчит,— подтвердил Кешка.

Все кивали, были сытые и ленивые.

В понедельник снова валили деревья, и во вторник валили деревья. Во вторник приехал прораб Мотовилов.

Мотовилов больше молчал, посасывал желтый, все еще не растаявший мундштук и ничего не сказал о деле, которое ребят интересовало. И ребята промолчали, словно не собирались еще час назад наговорить Мотовилову горячих и обидных слов о том, что им надоело загорать здесь и работать в четверть силы. Может быть, на самом деле надо им здесь сидеть.

После паузы, после того, как все отводили глаза в сторону, внимательно изучали свежие пни, рассматривали белые и розовые крошки на них, Мотовилов с облегчением начал рассказывать анекдоты. Потом, после очередного взрыва хохота, задыхаясь от смеха, он рассказал, как вчера явился к нему чудак с Тринадцатого километра, местный, лохматый такой, и начал доказывать, что кто-то из строителей умыкнул у него любимого гуся.

Ребята продолжали смеяться. И Мотовилов смеялся, радуясь тому, что смог их развеселить. Потом он вдруг спросил серьезно:

— Из вас, я надеюсь, никто не имел дела с тем гусем?

Стало тихо.

— Нет. Никто,— сказал Николай.

Все молчали, а Николай глядел в глаза Мотовилову. В упор.

— Что ж,— шамкнул прораб,— я и не сомневался.

Мотовилов встал и пошел к машине.

Когда он уже уехал, Кешка присвистнул и швырнул блестящую коричневую еловую шишку в плаксивое небо. Шишка летела вращаясь, а падая, пошуршала в густых зеленых ветвях ели, сбросила с них заснувшие капли и тихо уткнулась в мягкую землю. Капли летели тоже тихо, хотя они были крупные и прозрачно-чистые, как хрусталины, и, казалось, могли бы позванивать. Все смотрели на шишку молча и внимательно, как будто видели спутник.

— Ну так как? — спросил Николай.

Он обращался в пространство, но все понимали, кого он спрашивает.

— А что как? — поинтересовался Бульдозер.

— Ну так как?

— А никак,— сказал Бульдозер.

— Ты отвечай серьезно.

— Вы же,— Бульдозер улыбался,— не имели дела с гусем?

— Значит, это тот самый гусь?

— А ты покопайся в своем животе,— ухмыльнулся Бульдозер,— возьми микроскоп.

— Погоди, Николай,— сказал Спиркин,— надо подходить к человеку с доверием. Нельзя же так, сразу!

— Да,—Бульдозер похлопал Спиркина по плечу,— так сразу нельзя.

Кешка молчал, не вступался за Бульдозера, сидел к нему спиной, словно разговор его не волновал.

— Ладно,— сказал Бульдозер,— я пойду посушу портянки.

— У меня портянки стали совсем черные,— сообщил Букварь.

— Нет, ты ответь,— снова начал Николай.

Рука Бульдозера раздраженно рубанула косую сетку дождя.

— Да брось! Ты меня плохо знаешь, что ли?

— Хорошо знаю. Поэтому и спрашиваю.

— Ну, пожалуйста, спрашивай.— Бульдозер улыбнулся устало и снисходительно.— Это ты про гуся спрашиваешь? Про того, которого ты ел? Про белого? Да? Так я же позавчера рассказывал.

— Он засек его за Нордой,— подсказал Спиркин.

— Ни за какой ни за Нордой,— вдруг заявил Бульдозер,— а в том самом поселке Тринадцатый километр. Можете доверить сержанту Спиркину доставить лохматому хозяину обглоданные вами кости.

— Врешь,— проснулся Кешка.

— Нет. Не вру.

Бульдозер хмыкнул, и Букварь понял, что он не врет. Стало страшно. Все молчали.

— Теперь вам стало легче,— подмигнул публике Бульдозер и засмеялся добродушно,— а я, пожалуй, пойду сушить портянки. Пойдем, Кеш?

— Надо поговорить.— Кешка охрип от волнения.

— Давай поговорим,— согласился Бульдозер.

Шли к палатке молча, мрачные, каждый думал о своем. Тайга была черной, и дождь был черным. Кончилось счастливое время, когда можно было жить нетребовательным к другим, принимая их такими, какие они есть. Значит, неправа спокойная скала, названная Тарелкой? Или требовательность нужна только в тех случаях, когда воруют гусей?

Букварь скосил глаза на Бульдозера. Тот улыбался, и губы его шевелились, неслышно напевая что-то. Улыбка у него была любопытствующей: «Давайте, давайте... А я посмотрю».

...Керосиновая лампа покачивала лица и стены палатки. Бульдозер все еще улыбался, а потом понял, что ему не удастся свести дело к шутке, и произнес глухо:

— Суд, что ли?

— Суд,— сказала Ольга.

— Знаешь, как судили мародеров? — спросил Николай.

— Помнишь, в «Чапаеве»? — перебил его Спиркин.

— Это в гражданскую, что ли? — Бульдозер почесал нос.

Кулак Николая ударил по столу. Если бы был гвоздь, он бы вбил гвоздь.

— Брось паясничать!

Шел суд. Букварь не узнавал ребят. Люди, иронически относившиеся к тем, кто на разных собраниях по всякому поводу произносит высокие слова, сами употребляли сейчас именно высокие слова. И такие слова, как «передовая семилетки», «комсомольская путевка», казалось, обесцененные для них ежедневными равнодушными речами, рождались теперь заново. Слова эти вспоминали и Кешка и даже Виталий Леонтьев.

Было здорово, что слова, которые он, Букварь, держал в душе, боясь, что их назовут наивными и обветшавшими, оказывается, держали в душе и эти ребята, не тратили их каждый день, берегли на самый важный случай. И теперь предъявили их как закон своей жизни Бульдозеру.

Сначала Букварь молчал, опасаясь почему-то, что слова его могут показаться пристрастными. Но потом понял: это глупо. Судит Бульдозера не он, Букварь, и не Николай, и не Виталий Леонтьев. Судит бригада, сжатая в один кулак. Радостное и гордое ощущение этого сжатого кулака, чувство родства с этими дорогими ему людьми переполняло Букваря.

— Считай, что у нас комсомольское собрание...— начал Букварь.

Сидели, как приклеенные, час, два, дымили неистово. Только однажды встала из-за стола Ольга, принесла в жестяной консервной банке из-под бычков керосин. Желтоватая жидкость побулькала в лампу, пламя вспыхнуло, словно хотело взвиться вверх, пробить потолок и осветить тайгу. На секунду всем показалось, что керосин пахнет табаком.

— Я не хотел...— Бульдозер не поднимал глаз.— Целый день мотался по лесу, и ничего... И вот тогда...

— Мы его можем взять на поруки,— вспомнил Спиркин.

Бульдозер сидел обмякший, вспотевший, был похож на потрепанную боксерскую грушу, по которой били, били затянутые кожей кулаки.

— Ладно,— сказал Николай.— Все ясно.

Встали, вышли под дождь, дышали озоном, разминали затекшие ноги. Небо было черное и начиналось в двух метрах над головой.

— Теперь можно посушить портянки,— сказал Бульдозер и неожиданно заулыбался.

— Ты чего? — удивился Спиркин.— Ты же должен переживать.

Бульдозер махнул рукой.

— Это вы должны переживать. Это вы не можете простить мне, что ели гуся и он не горчил!

13

Цветы, наверное, еще где-то росли. Но они перешли из цветного фильма в черно-белый. Серое небо, серый дождь стерли краски и обесцветили тайгу.

Утром, когда Букварь в сапогах и наглухо застегнутом ватнике выходил из палатки, эта серость вокруг ударяла ему в глаза. Ватные облака обволакивали сопки, спускались к деревьям. Кое-где, еще пытаясь прорваться к солнцу, торчали из облаков вершины сопок, ощетинившиеся кедрами и елями. Пространство потеряло глубину, сопки придвинулись: вместе с небом они сдавливали Канзыбу, и Букварю казалось, что их клочок земли отрезан от всего мира, где солнце и голубое море над головой.

Просеке оставалось пройти два шага. Через несколько дней работ таежный коридор должен был спуститься в Бурундучью падь. И ребята и Мотовилов потеряли всякую надежду на то, что на Канзыбе нужно будет ставить срубы, но Мотовилов все тянул.

От палатки к пади шагали полчаса, не обращая внимания на прорубленный коридор. Привыкли. И к дождю привыкли. Привыкли перепрыгивать лужи, привыкли к грязи, летевшей из-под буксующих колес. Видели, как часами сидели машины, груженые и порожние, в колдобинах ставшей болотом дороги. Шоферы матерились, проклинали и таежные дороги, и петляющий по сопкам Артемовский тракт, и самих себя, променявших асфальтовые края на эту промокшую землю.

Дождь шел на Канзыбе, и в Кошурникове, и в Курагине. Земля прокисала, но это было не самым страшным. Черт с ней! Паршиво было то, что скис фронт работ. Скис на всей трассе.

Кешка умудрялся добираться до Тринадцатого километра и даже до Кошурникова и сообщал новости:

— Еще трое сбежали вчера из Кошурникова...

Сапоги у Кешки стали толстые и коричневые. Брюки тоже были коричневые, потому что в Кошурникове Кешка провалился в грязь по пояс.

Днем, когда потихоньку валили деревья, было еще ничего. Хуже было оставаться наедине с вечером, наедине с черной тишиной. Расшатанный Кешкин патефон вздрагивал и трясся, старчески хрипели игла и мембрана, в патефоне сидел попугай и повторял двенадцать примитивных мелодий.

Теннисный стол мок под дождем, и ребята мокли.

Букварь выигрывал у Кешки, переставшего злиться, у Спиркина, у Николая и у Бульдозера. Спиркин от-

носился к игре всерьез и старательно, каждый раз выпрашивал хорошую ракетку и всем проигрывал. Даже Бульдозер раскладывал Спиркина, и лицо его на несколько секунд становилось веселым и довольным.

Играл Бульдозер молча, и работал молча, и за столом сидел молча. Только иногда позволял себе ворчать, мрачно шутить и ругаться, сложно и с наслаждением. Но главное, что огорчало ребят, было не его молчание, а настороженные, обиженные и временами злые глаза Бульдозера. Он прятал их. Брови у Бульдозера были все время насуплены, словно стерегли глаза, словно были готовы каждую секунду помешать глазам улыбнуться.

Ребята понимали: Бульдозера обидел не суд, а их решение извиниться перед хозяином гуся и заплатить ему. Бульдозер считал это решение унизительным. Злой и молчаливый, собрался он тогда идти на Тринадцатый километр, сказал жестко:

— Насчет денег. Гуся все ели.

Все стояли молча, насупившиеся, а Бульдозер застегивал ватник и хлопал белесыми ресницами. Шагнул к столу Виталий Леонтьев, резко положил на стол пятерку.

— Здесь хватит. На гуся с яблоками.

Бульдозер взял бумажку, изучил ее и сунул в карман.

— Ладно.

Он уходил в дождь, в серую жижу июньского дня, огромный, неуклюжий, готовый снести все, что будет на его пути, похожий в самом деле на бульдозер. Не обернулся, не помахал рукой. Все смотрели ему в спину, жесткие и серьезные, и все понимали, что он уходит от них.

Бульдозер теперь ездил в Кошурниково и Курагино один. Дважды возвращался пьяный, загребал сапогами грязь, проклинал все, о чем мог вспомнить.

Кешка предпочитал Тринадцатый километр. Ночью или утром он добирался до Канзыбы. Добирался веселый, а рассказы его были грустные. Стройка дремала, прикрывшись от дождя кусками брезента. Два раза с Кешкой путешествовал Николай.

Однажды Кешка сказал Букварю с раздражением:

— И что мы торчим тут! Все Николай... Неужели не может добиться, чтобы нас перевели? Не может! Даже из-за поршня-то ругаться не стал. А ведь обещал...

— Что ты говоришь! Что ты говоришь про Николая! — возмутился Букварь.— Он знает, что делает. Все идет как надо.

— А-а-а! — Кешка махнул рукой.

Букварь часто бродил у Канзыбы. Сидел в своих камнях, обхватив мокрые колени, думал или просто так смотрел на реку и тайгу.

Думал рассеянно, просто перебирал мысленно, как четки, события последних дней.

Иногда он думал о Зойке. Гнал мысли о ней, но они возвращались. Это было странно. Но еще более странно было то, что ему хотелось увидеть ее. И когда Букварь думал о Зойке, он всегда вспоминал Ольгу и смешного пластмассового Буратино. Синей тайгой быстро шагал он к палатке. Но Ольги и Николая у палатки он почти никогда не заставал.

В палатке валялся Виталий и при свете керосиновой лампы читал. Стоял у его кровати открытый чемодан, плотно набитый книгами. Были в чемодане томики, новые и потрепанные, с бумажными и коленкоровыми переплетами, коричневыми, черными, синими. Букварь молча брал книгу, устраивался у самой лампы — и исчезали сразу и эта лампа, и брезентовая палатка, и муторное небо, и мокрые сопки, сдавившие Канзыбу.

Дожили до субботы. В субботу давали зарплату. Шофер Петухов пригнал свою грязную, как сапоги, машину и повез бригаду в Кошурниково. По дороге Бульдозер ворчал и пророчил что-то насчет денег.

Машина застряла в грязи под самой аркой с вымокшим, ставшим серо-малиновым флагом, и к конторе надо было идти метров сто по болоту.

У конторы были набросаны доски. Из грязи на них выбирались, как на сцену. Доски плавали под ногами кошурниковцев, толпившихся у куцего, низенького домика конторы. Руки считали желтые, зеленые и синие бумажки, надвигали кепки на лбы и чесали затылки.

Канзыбинским уступили часть досок, и они, покачиваясь, кивая знакомым, прошли в контору. Прораб Мотовилов стоял у стола, на котором валялись наряды и счета, растерянный, посеревший, без мундштука, и осипшим, усталым голосом твердил что-то ребятам из бригады Воротилова.

Деньги Букварь сунул в карман ватника. Они были маленькие, как конфетные обертки, и утонули в пустоте кармана, нагретого рукой. Бульдозер уже стоял на досках и зло ругался.

Букварь всегда стыдился разговоров о деньгах, считал разговоры эти мещанскими и нестоящими, но сейчас ему хотелось ругаться из-за красных и зеленых бумажек. Дело было не в деньгах, дело было в оценке их усилий, их труда на этой стройке. К тому же надо было на что-то жить.

Букварь понимал, что все это можно объяснить. У них не шоссе Москва—Симферополь, у них Саяны, к тому же эта чертова погода сделала свое — скис фронт работ. И хотя наряды были закрыты правильно, все ворчали. И Букварь ворчал. Что хорошего он видит здесь, на этой знаменитой стройке!

Окружили Мотовилова, размахивали руками, кричали. Понимали, что дело не в Мотовилове, а в погоде, но ругали его потому, что требовалась разрядка, а Мотовилов был под рукой.

— Хорошенького помаленьку, пришла к выводу бабушка, вылезая из-под асфальтового катка,— сказал Бульдозер.

Нового он ничего не смог придумать.

14

— Моего рубанка никто не видал?

Мокрые волосы прилипли ко лбу Бульдозера, и без того маленький лоб его пропал, лицо начиналось с глаз. Глаза Бульдозера смотрели виновато, в то же время посмеиваясь острыми уголками.

— Моего рубанка? А?.. Со щербатинкой такой?

Бульдозер подходил к каждому и тер свой узкий лоб.

— А то обходной листок не заполняют. Такой рыжий рубанок, со щербатинкой...

— Нет, не видал,— сказал Букварь.

— Такой рыжий...— неуверенно повторил Бульдозер.

Все было сказано, но Бульдозер все еще стоял около Букваря, тыкал носком сапога в бурую медвежью шкуру елового пня и тер узкий лоб. Букварю вдруг стало жалко его, но он уткнул глаза в книгу и молчал.

— То ли я его в Курагине оставил...

Бульдозер махнул рукой и медленно пошел к па-

латке. Букварь видел, как он остановился около Спиркина, резавшего кораблики с плоскими днищами, как говорил ему что-то, слушал односложные его ответы и потом молча стоял рядом со Спиркиным, склонившимся над куском сосновой коры.

Бульдозер обошел так всех, и каждый понимал, что интересует его не рубанок, рыжий, со щербатинкой, а нечто совсем другое, более значительное и важное. Он никак не мог понять, почему никто из ребят не сочувствует ему, не уговаривает его, не ругает. А Бульдозеру хотелось, чтобы его уговаривали или ругали, и тогда бы он выложил приготовленные им злые и обидные слова. Но ребята молчали, словно не придавали происходящему никакого значения, словно Бульдозер собирался в баню и теперь обходил всех в поисках пропавшей мочалки.

Кешка с Виталием гоняли шарик. Теннисный стол был зеленый, и брызги казались зелеными. Бульдозер стоял у стола, наклонив квадратную голову, и заинтересованно улыбался.

— Не видал я,— бросил Кешка, не оборачиваясь.

Толстые губы Бульдозера сдержали улыбку. Он смотрел на прыгающий шарик и решил выложить Кешке и Виталию, людям, которые могли войти в его положение лучше других, все. Собрался говорить о грязи и полученных грошах. И сказал:

— Что ты так высоко поднимаешь мяч?

— Так он же дает крученые!..— проворчал Кешка.

Бульдозер постоял еще минуты две, начал тереть лоб, сказал: «Значит, не видели...»,— и, угрюмый, сбычившийся, широко ступая, пошел в палатку.

Букварь следил за ним, понимал, что Бульдозера злит безразличие к его отъезду, представлял, как сейчас в палатке Бульдозер с раздражением запихивает свои вещи в старомодный деревенский чемодан и выцветший рюкзак с черными оборванными ремешками.

Букварь стал читать снова, но буквы, прикрытые от дождя куском хлорвиниловой клеенки, дрожали и не складывались в слова. Он отложил книгу и стал думать.

Он думал о Бульдозере.

Что он о нем знает? Вот уходит из его жизни человек, шагавший с ним рядом полтора месяца, а что он о нем знает? Он принимал его всегда таким, каким тот был. Так же, как всех остальных.

Бульдозер вошел в его жизнь, как эта брезентовая палатка, как этот зеленый теннисный стол. Букварь видел, что в одном из углов палатки к брезенту приляпана заплата, а теннисный стол весь в щербинках, но он никогда не задумывался ни о заплате, ни о щербинках. Он просто жил в палатке и гонял по столу белый пластмассовый шарик.

Букварь пытался вспомнить что-нибудь о Бульдозере, но перед глазами его бежали собранные в странной последовательности обрывки каких-то эпизодов, самые несущественные детали и слова, и вдруг он представил себе ярко и четко, как Бульдозер ел.

Однажды Бульдозер пролез к окну раздачи без очереди и на тусклом алюминиевом подносе притащил обед. Букварь сидел за соседним столом и ждал ребят, стоявших в очереди.

Бульдозер принес борщ, миску с гуляшом и три стакана компота. Букваря мутило от голода, он пытался не смотреть в его сторону, но не смог. Смотрел, глотая слюну. От борща шел пар. Борщ был красный, как руки Бульдозера.

Ложка ходила вверх-вниз, Бульдозер ел быстро и жадно, лоб его напрягался от усилий и стягивался, становился узким и сердитым. Бульдозер ел сосредоточенно, не замечая, что вокруг него толпятся люди и что Букварь смотрит на него.

Лицо его покраснело. Он спешил, словно боялся, что кто-нибудь ткнет невзначай вилкой в его гуляш.

Он жевал мясо и сало, морщил лоб, и на подбородке его блестела маслянистая полоса. Букварь почувствовал, что ему физически неприятен этот грузный, квадратный человек с мясистым лицом.

Доев гуляш, Бульдозер рукавом вытер жирную полосу на подбородке.

— ...Бей в глаз, делай клоуна! — закричал Кешка и срезал шарик в левый угол.

Букварь вздрогнул, точно очнулся.

Николай помогал Ольге готовить обед. Молчаливый Спиркин продолжал ковырять перочинным ножом кусок сосновой коры. Бульдозер все еще не выходил из палатки, набивал, наверное, вещами свой деревянный чемодан.

...Чемодан у Бульдозера был древний. Его купили на великолукском базаре лет пятьдесят назад. Громоздкий, тяжелый, он подходил к квадратной фигуре Бульдозера. К крышкам таких чемоданов приклеивали изнутри святочные открытки и пожелтевшие фотографии родственников. Бульдозер давно мог купить чемодан поновее, но считал, что деньги тратить зря не стоит. «Подумаешь, кожа! Один эффект, что пахнет. А у этого износа нет. Не на фабрике, небось, делали».

Но чемодан Бульдозера тоже имел запах. Запах этот трудно было с чем-нибудь сравнить. Это был запах темноты и затхлости давно заброшенных чуланов.

Дома у родителей Бульдозера стоял сундук. Очень похожий на этот чемодан. Так говорил Бульдозер.

Сундук открывали редко. Тяжелую коричневую крышку осторожно прислоняли к бревенчатой стене. С крышки смотрели на Бульдозера круглоплечие молодцы с напомаженными усами в борцовских трико. Рядом с ними пристраивались печальные и голые русалки. Под русалками висел выцветший длинный лист с двумя рядами медалей. Лист рекламировал фирму, производившую самовары.

Дни, когда открывали сундук, были праздниками. Бульдозер ждал их.

Отец приходил вечером, красный, квадратный, счищал грязь с сапог и долго, фыркая, мыл лицо и руки. Мать становилась непривычно тихой, и глаза ее светились предчувствием радости.

Потом они втроем сидели у сундука молча, как перед дальней дорогой. Тихо прислонялась к стене тяжелая крышка. Печальные русалки глядели из прошлого. Они пахли нафталином.

Толстые, с короткими пальцами руки матери бережно, словно грудного ребенка, брали из сундука вещи в кристаллах нафталина.

Вещи проплывали по комнате и устраивались на столе.

Они были выцветшие и яркие, тяжелые и воздушные. Шали, полушалки, шубы, платья, цепи дешевых ожерелий, веселые лубочные картинки, ленты и белые, в брызгах цветных камней кокошники. Они отдыхали на столе, а потом их парад продолжался. Бульдозер смотрел на диковинные вещи, затаив дыхание, боясь нарушить торжественность церемонии, так много значившей для его семьи. Однажды Бульдозер попросил шали и кокошники для спектакля в колхозном Доме культуры. Отец чуть не избил его.

Глаза Бульдозера следили за толстыми и красными пальцами матери. Стол, стены, лампа, портреты на стенах пахли нафталином. Кристаллы взблескивали иногда, подчеркивая значительность происходящего.

Потом шубы, платья, шали укладывались в сундук.

Борцы перемигивались с русалками и медленно опускались в нафталинное царство. Руки отца поворачивали ключ в тяжелом замке.

Отец и мать сидели, опустив глаза. Отец был мрачный, а мать вздыхала. Они словно заглянули в мир, близкий им и прекрасный, но вот повернулся ключ — и теперь в этом мире могли жить только борцы со старомодными усами и голые русалки.

— Ладно...— говорил отец и резко вставал.

Бульдозер после того, как закрывался сундук, сидел сначала из приличия. Ерзал на стуле. Но потом и для него молчаливый ритуал стал привычным и необходимым, заставлял думать о том, о чем он не хотел думать. И отец даже стал доверять ему драгоценный ключ.

...Букварь вспоминал рассказы Бульдозера и, казалось, видел его избу, его родителей и его самого, медленно поворачивающего ключ.

Он встал и пошел в палатку.

Бульдозер колдовал над чемоданом, пытался вмять в него все, что собирался увезти.

— Давишь, давишь...— пожаловался Бульдозер.

На столе кучкой лежали вещи, не уместившиеся в туго набитый чемодан. Теннисная ракетка с розовой резиной, треугольный кусок фанеры, картонная коробка из-под пластинок и в ней что-то тяжелое, гвозди, бутылка из-под питьевого спирта, черная рубашка в полоску с белыми грубыми пуговицами, старое топорище и грязная алюминиевая миска.

— Давай нажмем,— предложил Бульдозер.

Опустили чемодан на пол и коленами давили его незакрывавшуюся крышку. Букварь пыхтел, высунув язык, и злился на себя за то, что так и не смог вспомнить, как ему казалось, ничего важного о Бульдозере.

— Тут дело в бутылке,— сказал Букварь,— выброси ты ее.

Бульдозер повертел бутылку и согласился:

— Придется тащить в кармане.

Поднапрягшись, крышку закрыли, и Бульдозер защелкнул замки. Ольга позвала обедать, на столе появились ложки и миски. Обедали молча. За людей переговаривались ложки.

Кешка, промычав, попросил добавки, и два половника картофельного супа вылились в его тарелку, пронеся над столом вкусный пар.

— Здесь грязь,— неожиданно сказал Бульдозер,— а у нас там песок...

Слова эти пропустили мимо ушей, и Бульдозер спросил:

— Может, там, в России, чего кому передать?

— Письма мы пишем регулярно,— сказал Виталий.

Ели второе.

— Скоро из этой грязи все разбегутся,— задумчиво произнес Бульдозер.

— Не за тем сюда ехали,— сказал Николай.

— А за чем?

— Дорог в этом крае нет. Строить надо.

Николай даже не поднял головы. Глухо стукнула о стол Кешкина ложка.

— А-а-а...— понимающе протянул Бульдозер.

Снова наступила тишина. Букварь понимал, что каждый сейчас думает об одном и том же, думает по-своему. Букварю очень хотелось узнать, о чем думают сейчас и Кешка, и Ольга, и Спиркин, и Виталий, и Николай, и Бульдозер.

— Ну, ладно,— сказал Бульдозер и встал из-за стола.— Спасибо этому дому.

Он надел плащ и кепку, проверил лямки рюкзака.

— Значит, никто рубанка моего не видел...— Слова эти прозвучали тоскливо и жалко.

Букварь выскочил из-за стола, добежал до охотничьего домика, боком проскочил в палатку, мокрый, съежившийся, сунул Бульдозеру в руки рубанок.

— На, возьми мой. Я себе куплю.

Бульдозер стоял с рюкзаком за плечами, огромный, неуклюжий, мясистыми ручищами прижимал к себе маленький коричневый рубанок, говорил обрадованно, торопливо:

— Вот спасибо, Букварь, вот спасибо. Ты себе купишь. А то, понимаешь, обходной...

15

О Бульдозере молчали. Словно его и не было никогда.

По расчетам Букваря, Бульдозер должен был уже добраться до Абакана и теперь, наверное, болтался в Кешкином городе в ожидании поезда. Букварю казалось, что тишина тогда за столом была не нужна. Но он упорно доказывал себе, что говорить было не о чем.

Работали в Бурундучьей пади, обедать шли не спеша, и на обед уходило часа полтора.

Однажды, придя из Бурундучьей пади, они увидели у палатки Бульдозера. Бульдозер был без чемодана и рюкзака, стоял под дождем, тихий и нерешительный.

— Привет,— сказал Бульдозер.

Буркнули в ответ что-то невразумительное. Мыли под кедром дождевой водой из жестяного рукомойника сапоги, лица, руки.

— У тебя есть сигареты? — спросил Кешка.

— Есть,— обрадовался Бульдозер.

Большими, красными руками — медвежьими лапами — спрятал Бульдозер от ветра и дождя огонек спички, слабый и робкий, словно троечник на экзамене. Кешка наклонился и уткнулся сигаретой в теплые ладони Бульдозера.

— В Кошурникове не продают ковчегов? Ну хотя бы моторных лодок? — спросил Кешка.

— Нет,— пробасил Бульдозер.

— А жаль. На чем будем плавать? Скоро придется плавать...

Болтали о всякой ерунде. Молчали о том, о чем хотели говорить. Было здорово, что Бульдозер вернулся. Букварь понимал, что о том же самом думают сейчас все ребята и они тоже, как и он, взволнованы и рады. И Бульдозер взволнован и поэтому не может начать разговор, который теперь нужен всем.

— В Кошурникове Джебь помаленьку разливается,— сообщил Бульдозер.

Все представили себе зеленое Кошурниково и Джебь, узкую, грязную и ядовитую, отравленную отбросами золотого рудника, и прораба Мотовилова с его желтым мундштуком на берегу разливающейся Джеби, расстроенного и сердитого.

— Ну, ты чего? — спросил Кешка.

Бульдозер набрал воздуха и, казалось, хотел разом его выдохнуть. Но вдруг поперхнулся и нервно махнул рукой.

— Да так... ничего...

— А-а-а...— сказал Кешка.

Букварь подумал, что, будь он на месте Бульдозера, он бы, наверное, вот так же тянул время вместо того, чтобы выговорить слова: «Извините, ребята...»

— Часы у меня пропали,— сказал Бульдозер.

— Какие часы? — удивился Кешка.

— Обыкновенные: «Победа». С раскрашенным циферблатом...

— То есть как пропали?

— Как пропали! — Кешкины вопросы вызывали у Бульдозера раздражение.— Так и пропали.

— Ну, поищи,— сказал Виталий.

— А чего их искать,— промычал Бульдозер,— я их и не терял.

Он смотрел в траву насупленно и напряженно.

— Брось ты! — взвился Кешка.— Ты же знаешь, ребята здесь хорошие!

— Хорошие...— согласился Бульдозер,— а часы у меня украли.

Дернулась кедровая ветка, сбросила вниз крупные, как смородина, капли.

— Ты что? — встал Николай.

Бульдозер тоже встал. Вскочили Кешка и Спиркин, закричали, перебивая друг друга.

— Погодите,— сказал Николай.— Говори, кто?

— А я знаю? — сбычился Бульдозер.— Кто-то из вас...

Кешка подскочил к Бульдозеру.

— Гад ты последний! Ты же знаешь нас!

Теснили Бульдозера Спиркин, Букварь и Ольга. Кричали, размахивая руками, наступали на него. Пятился Бульдозер неуклюже, твердил упрямо, как испорченный патефон:

— Хорошие-то вы хорошие, а часы у меня украли.

Были все злые. Злило обманутое предчувствие хорошего, злило красное, испуганно-злое лицо Бульдозера. Тишина, столько дней подряд передававшая напряжение, взорвалась, брызнула злобой.

Только Виталий Леонтьев сидел на пне, смотрел заинтересованно: «Ну, ну, что из этого из всего получится?»

Топтались у палатки тяжелые, намокшие, набухшие сапоги, наступали друг на друга, вдавливали в мягкую, податливую землю мятые зеленые полоски травинок. Слова звучали грубые, однообразные, перемешанные с руганью, гремели, как листы жести, повторялись, потому что других слов никто не мог сейчас вспомнить.

Кешка лез к Бульдозеру, тряс кулаком. Маленький Спиркин с красными ушами тараторил громко, глотал воздух и останавливался, затихая, не зная, о чем кричать дальше.

Бульдозер оттолкнул вдруг Спиркина, и тот, сухонький, легкий, покачнувшись, свалился к плясавшим сапогам. Кешка подскочил к Бульдозеру, но тот пригнулся, выскользнул из-под удара, толкнул потерявшего равновесие Кешку, сбил его с ног.

Букварь, а потом Николай бросились на Бульдозера, и с ними, крупными, здоровыми, он уже ничего не мог сделать. Бил кулаками справа и слева, не давал парням схватить его туловище, шею, руки. Увидел, как вскочили Кешка и Спиркин, отступал с ревом, делал по полшага, но сзади был шершавый ствол ели, и отступать было некуда. Ладонями, кулаками бил по воздуху, по рукам, по лицам, по плечам, неистовый, очумевший, и вдруг раздался его крик:

— Стрелять буду!

Оцепенев от неожиданности, все замерли на секунду. Кинулся Бульдозер, разметав кольцо расслабившихся на мгновение ребят, к палатке и тут же выскочил из нее с двустволкой в руках.

— Стрелять буду!

Опомнившись, бросились к Бульдозеру.

Неслись за Бульдозером, а он бежал метрах в тридцати впереди, держал двустволку наперевес, бежал, не соображая, куда и зачем он бежит.

И они бежали за Бульдозером, не соображая, зачем это им надо.

Движение убыстрялось, становилось все бессмысленнее и бессмысленнее. Хлестали Букваря мокрые, злые ветки, хлестали по лицу, по ватнику, по рукам. Мелькали обрывки неба, ветки, стволы и капли. Мелькали, летели, смешивались в какую-то серо-зеленую кашу. Летела грязь из-под пудовых сапог Бульдозера, летело все...

— Стрелять буду! Всех гадов!

Стоит Бульдозер. Прямые углы плеч, шея из бетона. Две черные дырки смотрят Букварю в глаза.

По инерции последние шаги, медленные, нерешительные. Дождь, оказывается, все еще идет. Капли бегут по лицам. И красная тонкая нитка бежит вниз от бесцветной Бульдозеровой брови.

— Не подходите! Не...

Последние, затухающие движения. Застывающие шаги.

И вдруг — тр-а-а-а-х! Разламывается небо. Лопается тишина. Взрывом. Грохотом. Выстрелом. Вскидывают ручищи Бульдозера грохнувшую двустволку. Дымок. Безобидный дымок. Как от сигареты.

— Не подходите!

Стоят.

Все стоят.

Вверх шлепнул.

Смог.

Зачем?

От страха или из ненависти?

— Стрелять буду!

Он жил с нами, работал с нами, пел с нами.

Враг?

Все остановилось. Падающие капли не в счет. Это только так кажется, что они падают. Земля стоит, и вселенная стоит. Застыла. Черные дырки смотрят Букварю в глаза.

— Стрелять буду!

Слова уже тихие, спокойные. А в глазах ненависть. Такой будет. Такой сможет. Вертится, вертится, ноет комариная мысль: «Пятеро перед ним, а попадет в тебя... А если не в меня, то в кого-нибудь другого... Только бы не в Ольгу... При чем здесь Ольга?.. Нельзя! Разве может все оборваться?..»

Мелькает в памяти воспоминание о пережитом тогда на скале... Маленькая песчинка, вцепившаяся в планету, в жизнь. Только бы пережить эти секунды. Только...

Чье-то тело мелькнуло справа. Виталий. Бросился вперед откуда-то сзади, из-за спин, сидевший секунды назад на пне. Подскочил к Бульдозеру, оцепеневшему, удивленному, резким ударом ногой выбил ружье из напряженных, мясистых рук, четким приемом, подставив бедро, бросил Бульдозера на землю.

И сразу же рванулись сапоги. Пятеро налетели на вскочившего с земли Бульдозера, разъяренные страхом, пережитым ими, ненавистью, увиденной в его глазах, били Бульдозера с остервенением, били, толкали, трясли. Пытался Бульдозер вырваться из их кольца, пыхтел и отбивался отчаянно. Трещали швы его ватника, летела из карманов на землю какая-то ерунда, выскользнуло, свалилось в траву что-то блестящее.

Увидели. Валялись в траве часы. Старые, марки «Победа», с фиолетовыми чернильными волнами на циферблате и одинокой чайкой над волнами.

— Часы! Гад ты! Все врал! — заорал Кешка.

— Что вы делаете! Звери! Что вы делаете! — вдруг раздался тоненький, решительный крик Ольги. Она влетела в бурлящий клубок, хватала за руки.

— Озверели вы! Звери!..

И опустились руки. Стало тихо-тихо. Только Бульдозер, жалкий, избитый, размазывал по лицу слезы, грязь и кровь и хныкал мальчишкой:

— Пятеро на одного... Справились, да?.. Пятеро.

Шли к палатке молча, отходили, шли, опустив головы, боялись взглянуть друг другу в глаза. Всем было стыдно.

Шел впереди Николай, и только сейчас Букварь увидел, что Николай был в шинели. И это была та самая шинель.

Букваря тошнило. И позже, когда он вспоминал об этой драке, он ощущал физическое отвращение и к самому себе и к тому, что случилось.

В палатке сидели за столом, курили, а Бульдозер все размазывал грязь под носом и все бормотал:

— Пятеро на одного... Пятеро...

Букварь искал слова мягкие и даже теплые. Но Николай сказал сурово:

— Расскажи, зачем ты пришел.

Бульдозер шмыгал носом, обмякший, потерявший жесткие, квадратные формы, пытался успокоиться и рассказать. Рассказывал хмуро, показывал видом своим, что его вынуждают, но говорил откровенно.

Дорогу закрыли, взрывали скалы у Кизира, и Бульдозер, оборвавший все, что связывало его с дорогой, без дела сидел в Кошурникове. Сидел день, другой, смотрел, как утром выходят на работу его знакомые, посмеивался над ними, доказывал себе и другим, что поступает правильно. Даже гордился своей решительностью. И все же в голове теснились горькие мысли. Никто его не уговаривал, никто ему не сочувствовал. И он тогда сказал какому-то несуществующему противнику: «А те люди, которые остаются, лучше меня, что ли?»

Он не собирался ехать на Канзыбу. И все же поехал. Чтобы доказать самому себе: «Они такие же!» Хотелось унизить их, оставшихся в тайге, в грязи, доказать им, что они такие же, как он, ничем не лучше. Хотелось крикнуть им это!

О часах он придумал в дороге. Ничего другого, получше, не смог придумать. Считал: пусть прогонят его, изобьют его, но все равно останется у кого-нибудь сомнение: «А вдруг на самом деле кто-то из нас был вором?..»

— Все равно вы такие же...— выдавил Бульдозер.

— Та-а-а-к,— протянул Кешка.

Букварь хотел посоветовать Бульдозеру привезти из Кошурникова вещи сюда, на Канзыбу, но Николай сказал:

— Уговаривать не будем. Сам взрослый. Сам можешь решить, что делать.

Бульдозер ухмыльнулся.

— Это точно. Поэтому здесь и не останусь. Обойдусь и без ваших красивых слов. И вы в душе мне позавидуете, если сами не сбежите. Человек живет не так уж часто, чтобы жить дешево.

Он встал резко, снова стал прямоугольным, квадратным. Не обернувшись, не попрощавшись, откинув ногой брезентовую дверь, шагнул в дождь.

16

Вечером следующего дня появился на Канзыбе Зименко.

Может быть, он приехал на какой-нибудь отчаянной попутной машине, но скорее всего он добирался от станции Кошурниково пешим ходом. Был он в традиционном ватнике и без кепки, жесткий белый ежик его торчал даже под дождем. Правой рукой Зименко тащил вместительный коричневый чемодан и был похож на демобилизованного, приехавшего устраиваться на работу.

Букварь видел Зименко только однажды. Тогда было время, похожее на лето, и Зименко носил яркую ковбойку в крупную клетку, брюки у него были узкие, отглаженные, а ботинки черные и остроносые.

Зименко пожал всем руки и пристроил чемодан у аккуратно заправленной постели Николая.

— Все дождь идет,— сказал Зименко.

— Все дождь,— кивнул Николай.

Потом они говорили о каком-то Мише Луговском, который перешел в бульдозеристы, о чем давно мечтал, и еще о ком-то, кого Букварь не знал и кто тоже куда-то перешел.

Такое начало показалось Букварю странным, и он подумал, что Зименко ничего не знает. Тем более, что Бульдозеру совсем незачем было рассказывать кому-нибудь о том, что его избили.

Но Зименко пришел сразу же после драки, и вряд ли это было простым совпадением. Значит, он пришел разбираться или читать мораль. Нотации могли вызвать только раздражение. Ворчали про себя, словно Зименко был их противником, словно он придерживался каких-то иных принципов. Вели себя, как нагрешившие бухгалтеры, к которым прибыл ревизор. Грехи были неподсудные, а ревизор собирался повторить строгим голосом прописные истины. Ждали, когда он начнет. Настороженно и даже враждебно наблюдали за ним.

А Зименко не начинал.

Он был голоден. За ужином съел три порции пшенной каши со свиной тушенкой. Смеялся громко и качал головой от удовольствия.

— С детства ненавидел пшенную кашу. Пшенную и еще манную. А сегодня — три порции! Слушай, переходи в кошурниковскую столовую, а то у них там повариха безнадежная. Я серьезно...

— Нет,— сказала Ольга,— я лучше завтра манную приготовлю.

За столом Зименко один был оживленным и шумным. Букварю показалось, что он похож на Виталия Леонтьева. Только на веселого Виталия, если такой мог существовать. Длинный и худой, сложенный баскетболистом, со строгими красивыми чертами лица, он пригодился бы в кино на роли положительных героев. Лицо у Зименко было выбрито, а короткие волосы он старательно приводил в порядок белой полиэтиленовой щеткой.

После ужина Зименко погулял вокруг палатки, потом посидел над Канзыбой, в камнях, облюбованных Букварем. Вернулся совсем мокрый, с восторженными глазами.

— Да! Места у вас!

— Ничего,— согласился Кешка.— С елочками...

Было еще светло, но голубое уже превращалось в синее.

— Я, ребята, спать лягу,— сказал Зименко.— Устал я.

Устраивался Зименко рядом с Букварем, на постели Бульдозера. При свете керосиновой лампы Букварь увидел, что лицо у Зименко было усталым и старым.

Укладывались все, только Виталий сидел за столом у лампы.

— Не помешаю? — спросил Виталий.

Спросил он Зименко, и в голосе его Букварь уловил раздражение и даже какой-то вызов.

— Интересная книжка? — сказал Зименко.

— Олдингтон.

Слово это Виталий произнес небрежно («да этот... как его») и в то же время важно, с многозначительным пафосом.

— А-а-а...— протянул Зименко.

Виталий проговорил что-то на английском и вздохнул.

— Ну-ну,— сказал Зименко,— писал я по нему курсовую.

И заснул.

Когда Букварь проснулся, Зименко, голый до пояса, разминался у палатки. Потом он и Виталий надели боксерские перчатки, серые от старости, и начали лупить друг друга. Перчатки сразу почернели, стали блестящими, два длинных, мускулистых парня топтались на скользкой траве, а дождь шел и шел, отрабатывая дневную норму. Виталий был собранней, бил резче и злее, словно дрался всерьез.

В палатке Зименко открыл свой здоровый чемодан и, устроившись поудобнее, стал бриться. Сказал себе в оправдание:

— Каждый день приходится.

— А у нас Кешка каждый день сапоги чистит,— сообщил Спиркин.

— Ага,— подтвердил Кешка и показал свои сапоги, блестевшие, как палехская шкатулка.

Ребята дурачились, и Зименко должен был это понять. Но он не понимал или делал вид, что не понимает.

После завтрака Зименко выразил желание пойти на просеку и там поработать со всеми.

— Желаете познать физический труд в чистом виде? — поинтересовался Виталий.

— Ага,— сказал Зименко.— Желаю познать все виды труда, которые есть на трассе.

— У меня приятель,— сообщил Виталий,— коллекционирует бутылочные наклейки. У него семьсот девятнадцать наклеек.

— А я коллекционирую все виды труда. Чтобы потом на том паровозе кататься веселее было. В первый дом на трассе вбил гвоздь, в последний рельс буду вгонять костыли.— Сказал для Виталия, а потом добавил для себя:— Сплю и вижу этот последний костыль... чуть ржавый от ожидания...

На эти слова никак не ответили, просто стали думать про этот последний костыль. «Почему обязательно чуть ржавый?» — спросил себя Букварь.

Деревья падали с глухим и печальным стоном. Зименко разделся до пояса, мускулистый, мокрый, коричневый, смачно ухал топором. Молчаливая общая работа сблизила, словно Зименко все эти дни махал топором с ними. Букварю показалось теперь, что Зименко похож не на Виталия, а на Николая: такой же сдержанный и немногословный, такой же улыбчивый и сильный.

Курили под елью, пепел сыпали на чудом оставшийся сухим бурый мох, бурый лохматый коврик из таежного пенопласта.

— А ты мало изменился,— сказал Кешка.

— Климат такой,— объяснил Зименко.— Хорошо сохраняет.

— Больше двух лет прошло с тех дней,— вспомнил Кешка.— Тогда на трассе еще ничего не было. Никакого поселка Курагино. Белая степь.

— У тебя были тяжелые сапоги с подковками.

— А ты помнишь? — удивился Кешка.

— А кому же тогда помнить? Не эти ли самые сапоги, мокрые и грязные, ты положил мне на лицо?

— Помнит, гад! — обрадовался Кешка.— Ты и проснулся-то тогда не сразу. Мы спали на столе первого секретаря райкома комсомола,— это Кешка объяснял уже всем остальным,— четверо на столе. Двое на диване. Там и познакомились.

— Смешнее всего было глядеть на секретаря райкома. Он приходил тихо-тихо, сидел с бумагами в углу на стуле. Маленький, застенчивый такой. Когда мы просыпались, он улыбался и говорил: «Доброе утро...»

— И надо было переть туда, где теперь поселок, километров пять, по сугробам, в тридцатиградусный...

Букварь слушал и завидовал. Он вечно опаздывает. Он приехал на все готовенькое. На все эти сборно-щитовые домики, металлические кровати и байковые одеяла.

— И чемодан у тебя был тот же самый,— сказал Кешка.

— Тот же самый.

— А чего ты его таскаешь?

— Да понимаешь, какая штука. Три месяца я на этой должности. Прописан в Абакане. За три месяца был я в Абакане от силы неделю. Все по трассе. Так нужно. Все-таки у нас километров-то семьсот...

Зименко засмеялся. Букварю нравилось, как он смеялся. Когда он кончал смеяться, смех прятался в уголках губ, в морщинках у носа, ждал новых шуток. Так огонь в углях ждет новых дров.

— Теперь к нам добрался.

— Теперь к вам. Давно к вам собирался.

И тут Букварь вспомнил, зачем приехал к ним Зименко, и все вспомнили. И Зименко сразу стал для них ревизором, человеком посторонним. И снова молчали, и Кешка молчал, не вспоминал о том, как они ночевали в метель, в «хиус», ставили на трассе первые дома, о чем ему хотелось вспомнить.

Теперь поведение Зименко, и вчерашнее и сегодняшнее, казалось Букварю нарочитым и искусственным. Все: и его улыбка, и жизнерадостность, и воспоминания о прошлом — все это было из одного спектакля, необходимого для того, чтобы войти к ним в доверие, влезть к ним в душу. Шел бы он к черту, поговорил бы сразу же и катился бы!

Снова ждали нотации. Зименко понял все, стал хмурым, стучал топором резко и зло.

Уже в палатке он сказал:

— Просто не знаю, как начать. Все оттягиваю и оттягиваю. Прямо робею. Что у вас, у каждого во рту по лимону? Я понимаю, неприятно вспоминать о том, что было.

— А что было?! — взвился Виталий.— Была жестокость.

«Значит,— подумал Букварь,— Бульдозер обо всем разболтал. Ну и дурак. Значит, хотел сказать: «Они остались, но они такие же...».

— Была жестокость,— сказал Виталий,— наследие долгих веков. Иногда вот она проявляется. Тут уж, как говорится, не убавишь, не прибавишь. Она в характере человека.

То ли он дурачился, издевался над Зименко, то ли говорил всерьез.

Зименко слушал, сидя за столом, наклонив голову, постукивая пальцами по доске.

— Так,— сказал Зименко.— Значит, жестокость. Значит, для всего есть оправдание... Только про драку, про Бульдозера я не хочу сейчас говорить. Бульдозер уехал. Но вы-то остались...

— Ну, поговори о нас,— предложил Виталий.

Слова Зименко отбросили весь тот разговор, на который настроился Букварь. И ребята, наверное.

— А что о нас? — возмутился Кешка.— Лучше давай поговорим о том, почему мы живем здесь, как на необитаемом острове.

И начали. Говорили шестеро, а Зименко молчал. Говорили шумно, торопливо, боялись забыть что-ни-

будь, а Зименко молчал. Постукивал пальцем по зеленой доске. Говорили, что им давно хочется работать по-человечески, так, чтобы пот прошибал, надоело ковыряться черепахами, присутствием своим символически изображать, что на Канзыбе идут работы. Ради этого, что ли, они ехали сюда, на передний край? Говорили, что люди на трассе участвуют в движении за коммунистический труд и многие бригады уже носят почетное звание. А они поставлены в условия, в которых все разговоры об этом делаются смешными. Говорили, что они здесь на необитаемом острове, как будто бы даже вне комсомола. Говорили о скисшем фронте работ, о дожде, о прорабе Мотовилозе. Говорили, что от этого всего и начинается всякая ерунда. Говорили долго и суетливо.

— Все? — спросил Зименко.— Выговорились?

— Все,— сказал Кешка.

— Нет,— вступила Ольга.— А про культуру забыли? Про то, что даже газет мы не видим? Мы понимаем, что мы десант, это нам интересно. Но ведь и людям, работающим в условиях исключительных, нужно создавать человеческие условия!

— Все? — сказал Зименко.

— Пока все,— ответил Николай,— потом еще что-нибудь вспомним.

— Вспоминайте. А пока я вам буду задавать вопросы. Значит, Саяны, скисший фронт работ и дождь? Значит, бюрократы и бензопилу починить не могут?

Зименко помолчал, словно ждал, что ему сейчас начнут возражать, и потом продолжал:

— А кто знает о поршне? Прораб Мотовилов? Кто знает о том, что вы сидите здесь без работы? Прораб Мотовилов и его желтый мундштук? Открывал ли чью-нибудь дверь Николай Бондаренко или вот Андрей Колокшин, по прозвищу Букварь, аккуратно вносивший на станции Курагино членские взносы? Спорили ли они горячо за этой дверью, доказывая правоту семерых? А может быть, и не надо было спорить? Достаточно было бы и одного спокойного слова? Помнили ли вы, что в Курагине и Кошурникове есть комитеты комсомола, куда можно прийти в любое время?

Кешка многозначительно посмотрел на Букваря. Тот опустил глаза.

— Я говорю слова, которые вы можете прочесть на всех плакатах? — спросил Зименко.

Снова была пауза, и снова Зименко ждал, что ему будут возражать.

— Через двадцать лет,— сказал Зименко,— построят такую огромную и хитрую машину. Кибернетический предбанник. Мы все построимся и гуськом с бодрой песней пойдем к ней. Машина пропустит каждого из нас через свои отсеки, почистит, помоет, хлопнет по плечу, скажет: «Добро пожаловать в коммунистическое общество!» И выдаст Кешке бесплатный кусок колбасы. Так, что ли?

Молчали.

— Чепуха! — сказал Зименко.— Никакой машины не будет. Никакого предбанника. В один прекрасный день через двадцать лет ничего не произойдет. Сейчас должно происходить! Каждый день. В каждом.

Зименко читал ту самую нотацию, но Букварь чувствовал, что раздражения уже нет и что ему уже не хочется ворчать.

— Кто у нас хозяин? — спросил Зименко.— Я? Ты?

— Человек — это не ты, не я, не он...— начал манерно Виталий. Но его никто не поддержал.

— Хозяин — это ты,— сказал Зименко.— Это я. Это он, Букварь. Это еще кто-то. Каждый. Пока каждый не будет жить как хозяин самого себя и своей страны, у нас ничего не получится. Это старые слова, но сейчас их время. Эти слова произносили и десять лет назад, но тогда у нас был бог, гений. Верили в то, что он все может, и доверяли ему и собственную судьбу и судьбу страны. С моей точки зрения, самая большая вина культа в том, что он отучал людей быть хозяевами. Хозяевами во всем. Подхалимы называли Хозяином его самого. А нам внушали, что мы просто винтики.

— Мы были маленькими,— сказал Букварь.

— Мы — это я в широком смысле. Мы — это народ. А сейчас другие времена. Ленинские. И надо понимать, что ты хозяин, и доказывать это. Вы же сами посадили себя на необитаемый остров. Вот что я имею вам сказать. Все. Спора, я считаю, у нас не получится. Возражать нечего. Просто подумайте обо всем. О том, что вы могли сделать и не сделали.

— Вы ездите по трассе и всем это говорите? — спросил Виталий.

— Всем бы говорил, но не всем приходится.

— И для того, чтобы сказать эти слова, вы заставили себя есть пшенную кашу и рубить тайгу?

— Прекрати, Виталий! — поморщился Николай.

— А ты, Николай,— сказал Зименко,— завтра с утра отправляйся в Курагино. Начинай открывать двери. Если не сумеешь доказать бессмысленность вашего пребывания здесь, вмешается штаб. Только тогда.

— Хорошо. Утром выйдем с тобой вместе.

— Нет. Мне придется идти сегодня.

Зименко вытащил чемодан из-под кровати. Коричневую кожу чемодана исполосовали кривые морщины. Морщины появились не от сырости и не от старости. Просто чемодан был так задуман.

— Куда ты попрешь в такую темень? — сказал Кешка.

— Иначе никак... На днях пойдет коренная вода. Тогда уж к взрывникам Дьяконова не доберешься. Знаешь, они там, за Канзыбой, у Смородиновой сопки?

— Ну, смотри,— сказал Кешка.

Букварь стоял у палатки, глядел в спину длинному парню, тащившему в руке чемодан, задуманный с морщинами. Со спины парень был похож на Виталия и, наверное, тоже играл в баскетбол. Букварь перевел взгляд на Виталия. Тот стоял рядом, покачивал головой, и Букварю показалось, что он собирается отпустить в спину парню едкую остроту. Букварь ждал эту остроту. Тогда бы он ответил! Но Виталий промолчал. А парень уходил, и Букварю стало вдруг грустно.

В палатке он вспомнил все, что знал о Зименко. А знал он, что Зименко окончил в Москве филологический факультет и потом приехал на трассу. Организовал в Курагине вечернюю школу. Рабочих было мало, и Зименко днем выходил на объекты со своими учениками. «Они могут жить в две смены, а я должен днем загорать?» Три месяца назад Зименко выбрали начальником комсомольского штаба стройки.

— Он москвич? — спросил Букварь.

— А я знаю? — сказал Кешка.— Что я, доктор, что ли!..

Букварь долго не мог заснуть. Он ворочался под тонким колючим одеялом и думал о Зименко.

Пришел человек и ушел. Пришел и стал близким. Таким, как Николай. Букварь жалел, что не узнал этого человека раньше. Он дал себе слово поговорить с Зименко, когда они вернутся на Большую землю.

Букварь никак не мог объяснить себе, что же сделало этого человека близким. Говорил Зименко о вещах, о которых на самом деле могли сообщить и транспаранты, прибитые к зеленым штакетникам у

конторы в Курагине. Но вот слова его вошли в душу. И останутся там. Не произошло того, о чем думал Букварь. Этот человек не стал им посторонним. Почему? Наверное, потому, что сам он приходит не к посторонним, а к своим. Наверное, потому, что он искренне заинтересован в судьбах людей. В этой заинтересованности его призвание. Его жизнь. Это Букварь понял не из слов Зименко, а из всего облика его: глаз, губ, движения... Искренности его. И Букварь подумал, какое это счастье — быть другом для каждого из девяти тысяч парней и девчат, строящих дорогу!

Потом Букварь подумал, что он пытается объяснить необъяснимое. Разве объяснишь, почему приходит любовь?

Букварь вспомнил о том, что говорил Зименко, и попытался по-новому оценить свою жизнь. Слишком редко он бывает хозяином. Иждивенцем спокойнее жить. Как живет скала под названием Тарелка, которой ни до чего нет дела. В голове у него столько вопросов, на которые он боится отвечать. Уходит от них. А уходить нельзя. Иначе никогда не станешь таким убежденным человеком, как Зименко.

— Букварь...— шепнул Виталий,— ты все ворочаешься?

— Ага,— сказал Букварь.

— Он москвич. Я встречал его на Сретенке.

17

— Люблю попариться! — заявил Кешка.

Выбирали веники. Выбирал Кешка, а Букварь стоял рядом и поддакивал, чтобы не упасть окончательно в Кешкиных глазах.

— Березовые,— сказал Кешка.

Догадаться, что веники березовые, было легче, чем понять объяснения насчет сухого и мокрого пара.

— Какой-то у них запах засушенный,— сказал Букварь.— Словно это березовый концентрат.

Кешка подносил веники к носу и сосредоточенно нюхал. Почему-то он считал необходимым перенюхать все веники. Листья жестяными ребрами кололи кожу носа, будто бы они были сделаны из фольги, выкрашенной в защитный цвет. Букварь подумал-подумал и сказал:

— Банные листы. Будут прилипать.

Он не любил гербарии, веники и вообще все высушенное.

— Я предпочитаю дубовые,— сообщил Кешка.— Березовый, он только до легких берет. А дубовый дальше. До самого аппендикса. Дубовый, он мужественнее. И дух у него отрадный. Знаешь, есть такая водка — «Горный дубняк». Из дубовых веников.

Для того, чтобы войти в баню, надо было сложиться вчетверо. И в самой бане надо было сократиться до спиркинского размера. В бане было черно, как в кинотеатре, и керосиновая лампа, доставленная Кешкой, черноту разогнала только в жалком, мокром от пара углу. Где-то там, в центре черноты, неоновой рекламой горели раскаленные угли, шипели зловеще. Букварь согнулся, и вся эта авантюра переставала ему нравиться.

Радовало только тепло. Оно обволакивало, благодушное и ленивое. Промокшие, привыкшие к перестуку зубов, в последние черные вечера они мечтали об этом тепле. Сегодня с утра шел дождь, похожий на снег, или снег, похожий на дождь, и только из-за тепла согласился Букварь отправиться на Тринадцатый километр, к Кешкиной знакомой Даше, в легендарную баню по-черному.

Вещи клали на лавку. Лавка была старая, шершавая и теплая, как ладонь. Сапоги приткнулись к бревнам стены. Голый Кешка белел рядом, снова тряс веники, бормотал что-то себе под нос и деловито пробовал пальцами воду в алюминиевых ведрах. Букварь робко переступал с ноги на ногу, ощущал мок-

рые доски пола, чувствовал себя неквалифицированным ассистентом колдуна и, чтобы не мешать банной магии, сдвинув ватники и брюки, уселся на влажный кончик лавки.

— Сейчас,— пообещал Кешка.— Считай себя счастливым. Испытаешь восьмое чудо света. Или девятое.

Кешка организовывал чудо. Неоновые угли шипели от нетерпения, готовились сжечь джебскую воду, выплеснутую из ведра, горячим паром отбросить ее в черные бревенчатые стены. Кешка переливал воду из одного ведра в другое. Он колдовал. Он был алхимиком. Ему не хватало только реторт, мензурок и гнутых стеклянных трубок.

Дома, под Суздалем, Букварь ходил мыться в обыкновенную баню с оцинкованными шайками, душем, инвалидами-банщиками, кафельным полом и оживленной очередью за пивом. В той бане не было пара и никаких фокусов не было.

— Ты испортил двадцать лучших лет своей жизни,— сказал Кешка. И пообещал снова: — Сейчас.

Букварь собирался ответить Кешке, но, пока он искал слова, Кешка выпрямился, потряс правой рукой алюминиевое ведро, ловко подбросил его вверх, схватил двумя руками его белое дно и, резко, зло заорав: «Ложись!»,— плеснул заколдованную воду в неоновые угли. Угли взорвались, но у них не было пламени, и они не загремели. Только зашипели зловеще и громко.

Букварь инстинктивно сжался на лавке, готовый стерпеть все. Но ничего не изменилось, только стало жарче, очень жарко. Кешка обернулся, Букварю показалось, что он подмигнул ему, и вдруг Кешку словно ударило током. Кешка захохотал резко, истерически, но пар обволакивал звуки, и Кешкин смех рвался словно из воды. Кешка бросился к двери, толкнул ее и, голый, выскочил на замерзшую землю в снежный дождик, на улицу, по которой ходили люди. Он влетел обратно в черноту бани, опустился на пол и пополз на карачках к полуоткрытой двери. Вытянулся у двери на полу, положив голову на порог, глотал холодный сладкий воздух, перемешанный с мокрым снегом.

Букварю стало смешно. Сначала он смеялся тихо, а потом захохотал громко и безудержно. И тут горячее обволокло его. Поползло в нос, в рот, в легкие.

Букварь сорвал дыхание, хотел броситься к двери, перепрыгнуть через Кешку и бежать, бежать. Но пальцы его вцепились в лавку, и он решил, что вытерпит все и не сдвинется с места.

Жгло нестерпимо. Жгло уши, плечи и шею. Словно на них положили утюги. Букварю казалось даже, что уши, плечи и шея у него шипят. Дышал тяжело и часто. «Давай сюда»,— хрипло шепнул Кешка. Букварь мотнул головой. Несколько раз он советовал себе соскочить с лавки и каждый раз говорил: «Посижу еще чуть-чуть, чуть-чуть...» — и сжимал пальцы до боли. Скрипел зубами. И пар не выдержал. Ослаб. Уступил.

Кешка встал, закрыл дверь, сунул голову в ведро с холодной водой.

— А ты врал, что никогда не парился.

— Нет.

— Ладно, ты погрелся. Теперь постучи веником по мне.

У кирпичей стояла еще одна лавка. Кешка вытя-

нулся на ней. Букварь с умным видом опустил веник в воду.

— Ты что, сдурел! — завопил Кешка.— Ты меня не бей! Я тебе не ковер! Ты ко мне пар подгоняй. Ласково.

Кешка ворочался на лавке, крякал, ахал, стонал от удовольствия, кричал: «Жарче, жарче!» — и потом: «Холодненькой!» — смаковал все положения — на спине, на животе, на боку. И Букварь подумал с завистью: «Вот человек, умеет все делать с аппетитом».

Потом Букварь лежал на спине и видел Кешкино лицо. Чернота стала теперь полумраком. Кешкино лицо играло, двигались его тонкие губы, блестели его глаза, губы шептали и пели что-то. Движения у Кешки были пластичные, отработанные и красивые, и Букварь подумал, что Кешка талантлив. Ведь талант может быть в любом деле. Кешка был талантливым банщиком.

Сердце у Букваря замирало в какой-то теплой и сладкой истоме каждый раз, когда веник гнал березовый пар. Тело, расслабленное, размягченное, спало, отдыхало, было отрешено от всего, только по нему, по красной коже били и били струи мокрого тепла. Букварь тоже крякал, ахал, стонал от удовольствия и просил шепотом: «Холодненькой!»

— Ладно, хватит,— сказал Кешка.

Букварь промокал себя простыней, попытался надеть майку, но она тут же становилась мокрой и прилипала к телу. Кешка в одних трусах, в сапогах на босу ногу, с вещами в руках толкнул дверь и выскочил на мокрый снег. Букварь взял лампу и в чем был зашагал за ним к избе.

В избе на столе стояли жбан с рассолом, миска с желтыми прошлогодними огурцами и кувшин с янтарным медовым квасом.

Даша улыбалась, разливала квас в граненые зеленоватые стаканы, а Букварь следил за ее руками, полными и чуть смуглыми.

— Я сейчас приду,— сказала Даша.

Кешка пил рассол из жбана, держал жбан обеими руками высоко перед лицом, пил долго и громко, причмокивая и охая. Букварь, хрупая, жевал мягкие огурцы, чувствовал, как приходит к нему блаженное состояние, которого он никогда не испытывал. Букварь жевал и улыбался. Было хорошо и оттого, что он не сбежал с лавки, и оттого, что, не одеваясь, прошли они по улице, по мокрому снегу.

— Здорово!

— Другой бы спорил,— сказал Кешка,— а я не буду. Не такой у меня характер.

Жбан стоял на столе, а Кешка сине-желтым клетчатым рукавом рубахи вытирал рот.

— Теперь я понимаю, из-за чего вы с Николаем в такую грязь таскались сюда, на Тринадцатый километр.

— Из-за чего?

— Из-за этого.

— Нет,— лениво сказал Кешка.— Не из-за этого.

— А из-за чего?

— Из-за нее. Хорошая? — Потом Кешка добавил веско: — Из-за женщин.

— А Николай?

— И Николай.

— А как же Ольга?

— А что Ольга? Обычная история...

Даша вошла тихо, поставила на стол тарелку с шанежками, уселась на застеленной кровати, сложив полные, чуть смуглые руки на коленях. У нее была черная коса, толстая и тугая.

— Вода в Джеби прибывает,— сказала Даша.— И в Тубе и в Канзыбе тоже. Вчера днем двое шоферов перебирались через Тубу вброд. Застряли метрах в десяти от берега. А вечером пошла большая вода и покатила машины — техничку и «газик». «Газик» вез пряники и консервы. Теперь над машинами буруны.

— Это нам не страшно,— сказал Кешка,— мы в Кошурниково переезжаем.

— В Кошурниково?

— Николай вчера с начальником поезда договорился. После разговора с Зименко. Знаешь Зименко?

— Знаю. Такой длинный.

Они говорили долго. Говорили о важном и о пустяках. Шутили и смеялись, и Кешка хохотал, вытирал лицо розовым полотенцем, но лицо его тут же становилось мокрым, и его снова приходилось вытирать. Букварь сидел молча, уставясь в одну точку, и твердил себе: «Этого не может быть...»

Когда Даша вышла, он спросил:

— А как же Ольга?

— Ты, Букварь, до тошноты наивный,— сказал Кешка,— что ты, от меня первого, что ли, узнал?

Букварь встал.

— Ты куда?

— Я пойду,— сказал Букварь.— Мне надо.

— Брось ты! Вечером же собирались! Что творится на улице. Дождь и снег! Наводнение вот-вот начнется...

— Я пойду,— сказал Букварь.— Мне надо.

(Продолжение следует).

Юрий Рященцев

☆

Зеленое лето стоит над рекой.
В сосновой моей стране
безмолвный —
без волн и без молний —
покой,
настоенный на сосне.
Я видел, я слушал и трогал родник.
Я трогал цветы —
мне тогда напрямик
открыли свои васильковые души
растроганные васильки...
Растрепанный выводок пестрых
частушек
вдруг вспархивал из-за реки...
И белка все прыгала, белка двигала
кончиками ушей,
в зеленых, светло-зеленых иглах
казалась еще рыжей...
И ночь подступила с луною
немыслимой.
Бродил я, бездумнейший и
легкомысленный...
И лунные тропы... И травы... И вот —
как белая точка —
дот...
...О какая тишь — и никто не поет,—
я не слышал такой никогда еще!..
По скелету старого дота ползет
муравей, бессонницей страдающий,
иногда останавливается на месте,
и тогда мы задумываемся вместе:
он — о том, что тли не подоены,
ходы-выходы не достроены.
Я — о том, как умеют напоминать
о себе
погибшие воины.

Горожане

Эй, горожане: парижане,
рижане, жители Афин!
Вы, точно с формой содержанье,
едины с городом.
Один
великий город от другого
неповторимо отличат
неспешный шаг ваш, или говор
гортанный,
или быстрый взгляд...
Сквозь свист и сквозь аплодисменты
кумиры нехотя уйдут —
за них потом их монументы
все счеты меж собой сведут.
А вам, и шумным, да не гордым,
таким живым среди камней,
ваш теплый памятник — ваш город —
и дольше служит и верней.
...Вот камень каменщик положит...
Пройдут влюбленные впотьмах...
Кто жив — живет. Кто умер — тоже:
один — в томах, другой — в домах,
в названье площади Восстанья
иной живет. Она права —
все черточки, все обаянья
в себя вобравшая Москва.
Не смейте, милые, не смейте
о смерти думать. Эй, взгляни,
как наше общее бессмертье
опять зажгло свои огни!
Как будто птицы на излете
взмахнули крыльями мосты.
Прошли в вечерней позолоте
смешные школьницы Москвы...
Ее незримые ворота
мне открывались. Я кружил,
напоминая ей кого-то,
кто в ней когда-то раньше жил.

В зоопарке

Полыхает фазан.
И на теле тигрином упругом
мгла и солнце сошлись.
Чье-то перышко вьется над прудом,
там, где белые лебеди
из побуждений «арийских»
бьют двух черных, печальных,
двух обреченных,
двух австралийских...
Дождь шуршит...
Ярко вспыхнул фазан,
точно птица-реклама.
Подымают орлы воротник
на своих на мохнатых регланах.
И сова размышляет сквозь сон:
мгла пройдет, мгла обманет,
уж не прав ли
жираф,
когда к солнышку шею он тянет?
Размышляет сова: в чем секрет
обаянья фазана?
Обаянье фазана? Оно в одеянье фазана...
Волк ворчит.
Где-то — метрах в трехстах —
слон тихонько вздыхает.
А фазан полыхает... Волк умолк.
А фазан полыхает...
Как он должен владеть собой, слон,
в час слоновьей печали,
чтобы вздохов его
ни друзья, ни враги не слыхали!..
Зебра каждому мило кивает
красивой головкой,
как стиляга, еще не охваченная
перековкой.
Грызуны скалят зубы,
скрывая врожденную вредность.
И внезапно доносится крик;
в нем и вздорность и ревность.
Это в птичьем вольере, соседей пугая,
в предвечерней истерике бьется
жена попугая...

Римма Казакова

ИЗ НОВОЙ КНИГИ СТИХОВ

☆

Очень просто народ сочиняет,
говорит по-земному
земно —
как телегу с конем сочленяет,
как с землей сочетает зерно.
Слово легкое в песенку лепится,
не боясь укоризны ничьей.
Так бесхитростный первый ручей
своего не стесняется лепета.
Так, собравшийся в лето, поспешней
всех цветов и торжественных трав,
правотою великою прав
первый, бледненький,
хилый подснежник.

Волчьи ягоды

Природа нерасчетливо щедра.
Есть ягоды, их называют волчьи.
К зиме они еще алей и звонче
над лесом зажигают вечера.
Когда вокруг все гаснет,
и остра
осенняя тревога перед снегом,
они с зимой встречаются со смехом.
Они горят, как капельки костра,
и божьими коровками ползут,
и сладок трепет их надкрылий
слабых...
Но волчьих ягод
не бывает сладких!
Не верите — попробуйте на зуб.
Мне ненавистна эта красота!
Когда б дана была мне воля, я бы
всю алость отняла у волчьих ягод
и сделала бы это неспроста.
В таком поступке безрассудства нет,
он весь идет от трезвого расчета:
я очень не хочу,
чтоб красный цвет
кого-то где-то обманул хоть в чем-то.

☆

Обнимаются лошади неуклюже.
Обниматься им неудобно, безруко.
Лошади знают, что такое дружба.
Они понимают, что значит разлука.
И стоят они на лугу росном,
посреди света белого, безмолвного,
голого,
и не задают никаких вопросов,
положив друг на друга большие
головы.

Песенка о парусе

Веселый флаг на мачте поднят,
как огонек на маяке.
И парус тонет,
и парус тонет
за горизонтом вдалеке.

А по воде гуляют краски,
и по-дельфиньи пляшет свет...
Он — как из сказки,
он — как из сказки,
таких на свете больше нет.

А море вдруг приходит в ярость —
такой характер у морей.
Куда ты, парус,
куда ты, парус,
вернись скорей, вернись скорей!

Но парус вспыхнул, ускользая,
и не ответил ничего.
И я не знаю,
и я не знаю,
он был, иль не было его...

Улыбка

Накапливаю, как улики,
приметы строгости зимы.
Но
на улыбке,
на улыбке
идет вращение Земли.

Ей не трагедии метели,
не драмы ветер и мороз.
Все превращения материи
не принимаются всерьез.

Земля с улыбкою несется,
Земля и в стужу молодцом!
Ведь если нынче в спину солнце,
то завтра вновь к нему лицом.

Когда еще играет в прятки
весна,
когда зима долга,
улыбка вожаком в упряжке
легко
летит
через снега!
Ах, эта легкость, эта ясность!
Так улыбается дитя.
Так улыбался Белояннис,
шутя, цветок в руке вертя.

Я знаю, что̀ в тебе, улыбка.
Не зря, улыбка, вижу я:
над всем, что слякотно и хлипко,
воздушна
юбочка твоя!

Я знаю, что̀ улыбкой скрыто,
когда, верша свои дела,
Земля — конягой — прет без скрипа
воз, закусивши удила.

И медленная, как улитка,—
так раскрывается бутон —
и на моих губах
улыбка
травою майской сквозь бетон.

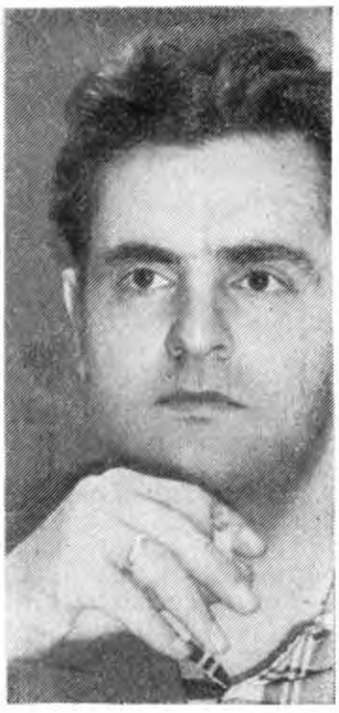
Под ногами земля молодая...

В злом декабре, в веселом марте ли,
в тревоге выбегая за порог,
не ждите нас, простите, матери,
не отбирайте у дорог.
Где, к тайге припадая,
горизонт пропадает,
там — без края! —
твоя и моя
под ногами земля молодая,
молодая,
как ты и я.
Там моросят дожди колючие,
но, расстояньем не томимые,
там — самые на свете лучшие! —
любимых ждут любимые.
Так протяни мне руку теплую,
насыпь в ладонь хвоинки рыжие,
и сквозь тайгу и полночь темную
твои глаза увижу я.
О кораблях тоскуют пристани,
и, как с судьбой, с тобой нам —
встретиться!
На солнце золотыми брызгами
твои веснушки светятся.

В заграничной командировке

Это было, помню, очень
от России вдалеке,
за столом, осенней ночью,
в части, в красном уголке.
Для гостей — икра и водка,
свет уж за̀полночь горит,
и, конечно, песня,— вот как
русский с русским говорит.
Лейся, песня,
песня, лейся!
Строже, трубы! Звонче, медь!
Спи, немецкий город Лейпциг.
Не мешай нам песню петь!
Ну, а хочешь, так послушай
нашу песню, нашу грусть.
Дружба дружбой, служба службой,
а еще есть в мире Русь.
Пой, грусти, седой полковник,
прислонясь плечом к жене.
Ты, видать, большой поклонник
горьких песен о войне.
Пой, чернявый лейтенантик,
Слов не зная, не молчишь,
все равно — мол, наших знайте! —
с упоением мычишь.
Пой, девчонка, пой, солдатка,
ртом мелодию лови.
Мне от песни сладко-сладко,
как не сладко от любви.
Песня за душу цепляет
и берет ее в тиски.
Песня лечит, исцеляет
от тревоги и тоски.
Песня, ты моя царица,
мой прибой и трудный бой.
Не хочу я исцелиться,
я хочу болеть тобой!
Я хочу болеть Россией,
я хочу, пока жива,
видеть елки и осины,
трогать снег апрельский синий,
слушать русские слова.
Пойся, песня, души пестуй!
Пойся вдоволь, вдосталь, всласть...
Родила Россия песню —
И от песни родилась.

Фазиль Искандер



Баллада о зависти

Ложится к ногам пепелищем и дружба и дружеский кров,
Когда подымает зависть венозную черную кровь.
Рукой паралитика сохнет налившаяся лоза,
Когда подымает зависть обугленные глаза.

...Еще от бараньего жира злая шипела зола,
Но праздник Осеннего Сбора перегорел дотла.
Два друга — Баграт и Роуф — ехали из села.
Два друга — Баграт и Роуф — впервые за много дней
Ехали шагом похмельным, не понукая коней.
Там позади отпылали и древний азарт игроков
И ливни коней, летящих на десять и двадцать кругов.
Но ливни опережая, к седлу прижимаясь, как рысь,
Ты первым, Баграт, по кругу летел, чтобы выхватить
приз.
За ветер безумья, за небо, которое выпил до дна,
Седло кубачинской работы, черкесского скакуна
Ты получил, как сильнейший...И то, что забыть нелегко,
Улыбку, одну улыбку красавицы Ризико.
А что она стоит, улыбка? Не верю, что стоит она
Седла кубачинской работы, черкесского скакуна.
Улыбка мелькнула вчера лишь,
Зачем же, молчанье храня,
Сегодня угрюмый товарищ
Придерживает коня?
Улыбка мелькнула вчера лишь,
Сегодня простыл ее след.
Зачем же угрюмый товарищ
В спину навел пистолет?
Сейчас опрокинется юность (проснется сова в дупле),
Сейчас опрокинется юность, что прямо сидела в седле.
Но пуля, не повинуясь, враждебно молчала в стволе.
И, словно почуяв насмешку собственного свинца,
Роуф оружие прячет, не подымая лица.
Тогда, говорит преданье, к нему повернулся Баграт:
— Не узнаю тебя что-то. Ты странно выглядишь, брат.
Не узнаю тебя что-то впервые за много лет...
Потом он добавил спокойно: — Дай мне твой пистолет.
Он это сказал спокойно, но так, что Роуф в ответ,
Кусая мертвые губы, молча подал пистолет.
Небрежным движеньем, в котором скорее печаль,
а не злость,
Баграт пистолет его бросил, как бросают собакам кость.
— Плохое оружье,— сказал он,— таким рисковать нельзя,
Враги засмеют тебя, Роуф. Мы все-таки были друзья.
Дарю тебе свой по дружбе, с насечкой серебряной он.
Бери его в память о дружбе. Осечек не знает он.
Бери его в память о дружбе (он ставит курок на взвод).
И молча товарищ товарищу тяжелый подарок дает.
Так кончилась дружба Баграта. Он тронул коня камчой,
А Роуф стоял на дороге, вдыхая кремнистый зной.
И нет! Не глаза застилала красная пелена,
Но в спину стрелять невозможно, когда презирает спина.
А горцы поют об этом, у песни припев такой:
Мужество — мудрость мужчины, и мудрости нету другой.

Владимир МАЛЫХИН

Два рассказа

Из цикла „Замоскворечье"

Рисунки В. Алексеева.

I

МОРСКИЕ ВОЛКИ

...В нас был наивной гордости излишек,
И за поход на яхте в Петергоф
Во всем сословье уличных мальчишек
Лишь мы носили титул моряков.
И те, кто вместе с нами полюбили
Свирепых ураганов голоса,
Дорогу в лавку мерили на мили
И из простынь кроили паруса.

Юрий ИНГЕ

Замоскворечье не Петергоф. У наших домов не плескались морские волны. И большинство из нас никогда моря не видело. Но все мы мечтали о море и бредили морскими просторами.

Особенно тяжело мы «заболели» морской болезнью после кинофильмов «Мы — из Кронштадта» и «Балтийцы». Сразу отошли на задний план путешествия Кука и Крузенштерна, даже Синоп и Севастопольская оборона.

Теперь любовь к морю определялась «Авророй», Кронштадтом, Железняком. Мы, конечно, обо всем этом знали и раньше. Но ведь можно долго знать девушку, а влюбиться в нее вдруг. Так случилось и с нами. В моду быстро вошли брюки-клеш шириной тридцать два сантиметра, тельняшки и кепки-восьмиклинки с маленьким козырьком. Почти бескозырки. По инициативе Пеки Смирнова был образован флотский экипаж. Был выработан устав экипажа. Мы должны были дежурить в парке имени Горького и следить за порядком на набережной. В случае надобности оказывать помощь осводовцам на Москве-реке. Предупреждать, а если надо, физически объяснять некоторым подвыпившим штатским лицам, что к чему. Но, конечно, не ябедничать на них.

Мы ходили по набережной обычно всем экипажем во главе с Пекой-адмиралом. Походка у нас стала морская, вразвалку. Мы ходили, покачиваясь, и напевали:

...Далека ты, путь-дорога,
Выйди, милая моя,
Мы простимся с тобой у порога,
И, быть может, навсегда.

На уроках мы тайком усиленно изучали морские термины. Даже девчонки. Хотя их в экипаж мы, конечно, не принимали. Это было оговорено специальным пунктом устава. Но они все же считали себя морячками.

На большой переменке можно было услышать, как староста нашей группы Рита командовала дежурному: «Вахтенный! Строй в кильватер! Веди в камбуз!»

Некоторые пижоны дразнили нас сухопутными моряками. Тогда происходил такой разговор.

— Это кто же сухопутный моряк? — спрашивал кто-нибудь из наших.— И тут же расстегивал еще одну пуговицу на рубашке, чтобы видней была тельняшка.— А ну, давай обратный румб. А то как бы не треснули твои шпангоуты!

Разговор обычно заканчивался без применения морских приемов. Героический вид и решительная поза действовали отрезвляюще на зазнавшихся сухопутных скептиков. Они быстренько «отдавали концы».

Несмотря на то, что девчонок мы в экипаж не принимали, они относились к нам куда благосклонней, чем к другим ребятам. Охотно ходили с нами в кино. И даже иногда целовались, когда в зале гасили свет.

Помню, под Новый год адмиралу была передана записка с пометкой «Читать ровно в 24-00. Не раньше!». Пека, конечно, прочитал записку немедленно. И показал ее нам.

В этом ничего нескромного не было: записка предназначалась всему личному составу флотского экипажа.

В записке было написано:

«Дорогие мальчики!

Мы желаем вам всем быть героями-моряками и орденоносцами, как капитан Воронин. Учитесь только на «отлично» и найдете себе верных подруг на всю жизнь.

Рита В. Люся Ш.
Наташа П. Шура Г.
Майя З.»

В нашем классе была только одна Рита В., так же как одна Люся Ш., Наташа П., Шура Г. и Майя З. Поэтому мы без особого труда догадались, кто хочет стать нашими верными подругами на всю жизнь.

Но мы не задирали нос. Мы были скромными ребятами.

Однажды летом, после экзаменов, седьмой класс «А» и седьмой класс «Б» поехали на экскурсию по каналу Москва — Волга.

Было весело и солнечно.

Мы сидели на палубе и пели девчонкам под гитару морские песни.

Нам, правда, было немножко жарковато: шерстяные клеши, тельняшки и восьмиклинки не для жаркой погоды. Куда лучше было бы в трусах и майках!

Но форма есть форма! И мы терпели.

Адмирал пел:

...Мы шли на вест, несли врагу гостинцы,
Но враг не спал, оберегал свой стан.
И вот взлетели в воздух три эсминца
На минном поле хитрых англичан.

Это была песня шотландских моряков. Ее где-то раздобыл адмирал. И она нам понравилась.

Девчонки слушали и смотрели на нас влюбленными глазами.

Скоро теплоход причалил к берегу.

Молодой массовик посмотрел в записную книжку и крикнул:

— Ребята! По расписанию во время стоянки должны быть проведены следующие мероприятия: волейбольное состязание, игры и песни на лужайке, водные процедуры. Во время процедур будьте сознательными. Плавайте, не отходя от берега!

После этого состоялись напряженные матчи между мужскими и женскими волейбольными командами седьмого «А» и седьмого «Б».

— Теперь приступим к водным процедурам! — крикнул массовик.— Мальчики — на мужской пляж, девочки — на женский!

Мы побежали на мужской и бросились в реку.

Купались долго. Плавали и ныряли вдоль и поперек канала. Массовик кричал: «Не отходите от берега! Будьте сознательными!»

Потом плюнул, махнул рукой и пошел под грибок «Пиво — Воды».

Купались все, кроме Шурика Беспалова и адмирала. Они сидели на берегу. Шурик говорил:

— И охота же людям в такой мути купаться! Еще подцепишь что-нибудь. Верно, Пека?

— Точно,— отвечал адмирал. — Но я бы все-таки искупался, если б не чирий на пояснице. А ты — давай!

— Да нет, что-то неохота. В другой раз. А у тебя большой чиряк?

— Большой,— сказал Пека.— С кулак.

— У-у-у, — сказал Шурик. — Тогда, конечно. Не надо. И я не буду. За компанию.

Мы вышли из воды и подошли к ним.

— Вы чего это? — спросили мы.

— Да вот у него чиряк, а я — за компанию, — сказал Шурик.

Подошел сухопутный пижон из седьмого «Б», Митька Сверчок. Он сказал:

— Не чиряк у вашего адмирала, а плавать он не умеет. И Шурик тоже.

— Ну, ты не очень! Не очень,— сказал Шурик.— А то шпангоуты...

— Брось! Давай поднырнем, кто дальше,— обратился Сверчок к адмиралу.

Пека молчал.

Мы быстро оделись и пошли к пристани.

По дороге нас догнали девочки. Сверчок не унимался:

— Девчата, а адмирал-то плавать не умеет!

— Не трепись. У него чиряк,— сказал Шурик.— А я — за компанию.

Мы поддержали:

— Ты бы сам попробовал с чиряком. Герой на коне!

Пека молчал.

Наша староста Рита внимательно посмотрела на него и вдруг сказала:

— Ну и что! Ну и ничего! Я где-то читала, что адмирал Нельсон тоже сначала не умел плавать. Потом научился. Правда, правда!

И она покраснела. Рита в классе тоже краснела, когда не очень хорошо знала урок.

Пека оглядел личный состав флотского экипажа и тихо сказал:

— Хватит травить! Пошли на посудину!

И мы пошли за ним к теплоходу.

Всю обратную дорогу Пека молчал. Мы тоже. Потом он сказал:

— Судовой журнал заройте в сарае! Экипаж распускается!

Он надвинул на брови восьмиклинку и отвернулся.

Это была последняя команда адмирала.

...Через три года, в сорок втором, Пека Смирнов сгорел в танке.

Он так никогда и не увидел моря, наш Пека, строгий наш адмирал...

Из всего «флотского экипажа» только Шурик Беспалов стал моряком. После войны он остался во флоте. Теперь он наверняка стал настоящим морским волком.

Где ты, Шурик? На каких широтах? Отзовись!

Адрес старый: Замоскворечье, Вовке-боцману.

2

КАК ФИДЕЛЬ КАСТРО ВЫРУЧИЛ ФЕДЮ СОРОКИНА

На всякой улице есть своя знаменитость. На нашей тоже. Это слесарь Федя Сорокин. Ему восемнадцать лет. В прошлом году он завоевал первое место среди юношей в районном чемпионате по боксу. Его стали всюду сопровождать юные болельщики. Даже в баню. Федя сначала стеснялся. Потом привык. Человек ко всему привыкает. Тем более к славе. Иногда Федя, уступая настойчивым просьбам болельщиков, рассказывал во дворе о

своих победах на ринге. При этом он всегда скромно говорил:

— Дело нехитрое. Тренировка плюс воля к победе.

Но когда во двор выходила студентка консерватории Валя Журавлева, Федя замолкал. Из прославленного чемпиона он сразу превращался в нокаутированного боксера-неудачника. Без всяких признаков воли к победе. Но однажды он все же проявил такие признаки. Федя сказал Вале:

— Приглашаю вас на встречу по боксу. Высший класс. Между прочим, сам тоже участвую. В третьей паре.

— Благодарю,— ответила Валя.— Но бокс не мой идеал.

— Ясно,— сказал Федя. И, сам не веря в свой героизм, спросил: — А кто же ваш идеал?

— Надо читать газеты,— сказала Валя. И повернулась на каблучках-«шпильках».

— Про бокс тоже, между прочим, пишут в газетах! — крикнул Федя ей вслед.

— Возможно,— ледяным голосом ответила Валя.

Мальчишки, которые издалека видели эту сцену, были оскорблены до предела.

— Тоже нам королева на «шпильках»!.. Посмотрела бы, как он дал вчера нижний апперкот Минькову! Сразу бы запела: «Феденька, Феденька!»

А Федя мучительно думал: «Почему она про газеты? Что я, не читаю газет? «Комсомолку» и «Советский спорт» — каждый день». Несколько дней, правда, Федя не очень внимательно читал газеты. Но на это была причина: готовился к состязаниям.

Дома вечером он самым внимательным образом прочитал газеты за последние дни. Даже передовые статьи. Но так и не понял, на что намекала зазнайка Валя. Честно говоря, он даже на какое-то время забыл про Валю. Причиной тому были события на Кубе. Газеты сообщали о вторжении кубинских контрреволюционеров на Плайя-Хирон. Федя не мог спокойно читать про это. Куба для него — мечта, романтика, Октябрьская революция, Отечественная война...

Федя не спал почти всю ночь. Он решил попроситься добровольцем. Но к утру досконально обдумал этот вариант: «Без меня на этот раз справятся. А потом видно будет». И у Феди родилась новая идея.

Вечером после работы он собрал во дворе мальчишек и спросил:

— Про Плайя-Хирон слыхали?

Оказалось, многие слышали. Но не все. Федя рассказал.

— «Родина или смерть! Мы победим!» Ясно? Так сказал Фидель. И они победят. Это я вам говорю! — закончил он.

Потом он сказал пару слов о международной солидарности трудящихся и предложил:

— Давайте организуем дружину имени Фиделя Кастро. Кто хочет, записывайтесь. Кандидатуры будем голосовать открытым голосованием.— Он достал карандаш и тетрадку.

— А что будем делать? — спросили мальчишки.

— Будем дружинниками. Против тунеядцев и прочих типов. На улице и во дворах чтоб был порядок. Порядок или...— И Федя поднял над головой кулак чемпиона.

Все изъявили желание стать дружинниками. Проголосовали каждую кандидатуру. Двое не прошли. Один из них зашмыгал носом. Тогда решили их принять кандидатами. Федя записал в тетрадь личный состав дружины имени Фиделя Кастро и сказал:

— Кто желает, может отпустить бороду. Под Фиделя. Это будет символом мужества и солидарности.

Мальчишки переглянулись. Один спросил:

— А без бороды можно? Ведь Гагарин тоже герой. А без бороды!

— Можно и без бороды. Временно. Потом отпустите! — сказал Федя.

— Ладно,— согласились мальчишки.

Но сам Федя с этого дня стал отпускать бороду.

Дружинники начали дежурить в переулках, во дворах, возле кинотеатров «Заря» и «Ударник». Сначала их мало кто признавал. Бывали случаи, когда подвыпивший дядя, положив руку на плечо пацана-дружинника, говорил басом:

— Иди домой, сынок. А то...

Тогда «сынок» вынимал милицейский свисток, и «дядя» имел дело с самим Федей. Федя, пощипывая бородку, говорил:

— Советую вам, гражданин, убрать с плеча дружинника вашу тяжелую руку. И подчиниться его указаниям.

— А ты кто такой?

— Я командир дружины имени Фиделя Кастро. Боксер первого разряда Федор Сорокин,— отвечал Федя.

На этом обычно инцидент заканчивался.

Скоро о дружине имени Фиделя заговорил весь район. Во дворах можно было услышать:

— Ты, милок, не очень. А то Фиделю сообщим.— И милок успокаивался.

Недавно Валя Журавлева встретила командора Федю на улице во время дежурства.

— Вы все-таки поняли мой намек! Молодец! Хоть и боксер,— сказала она.

— Что вы имеете в виду, Валя?

— Я имею в виду наш разговор насчет моего героя. Помните?

Федя, обладая быстрой реакцией чемпиона, сказал:

— Теперь все ясно! Фидель! Но я, честно говоря, намека тогда не понял.

— Ах, не понял! — И Валя опять повернулась на каблучках-«шпильках».— А я подумала, что вы догадливы. Хоть и боксер.

Федя взял ее за руку.

— Опять вы про это! Если хотите знать, Фидель — тоже боксер.

— То есть как? — искренне удивилась Валя.— На что вы намекаете, комрадос Сорокин?

— На то, что Фидель Кастро Рус — тоже боксер первого разряда. Его нокаут мировому империализму потряс весь мир.— Эту фразу Федя приготовил специально для Вали.

Она внимательно посмотрела на него и вдруг весело захохотала.

— Ну ладно, ладно, командор. Больше не буду. Проводите меня лучше до дома. Разумеется, на правах дружинника. А то поздно, я боюсь.— И она подала ему руку.

У Феди екнуло сердце. По дороге она сказала:

— Я не возражала бы, Федя, поступить к вам в дружину. Примете?

— Конечно, Валя. Завтра же голоснем.

— Что значит «голоснем»?

— Ну... проголосуем вашу кандидатуру.

— Вот как? — Она посмотрела на него.— А я думала, вы как командор сами...

— Это, конечно, формальность, Валя. Что касается меня, то я за вас проголосую не глядя.—И Федя сильно стукнул себя кулаком в грудь.

Валя взяла его под руку, зажмурила глаза и вздохнула.

— Почему вы вздохнули, Валя? Мы вас примем. Я уверен. Будем вместе дежурить. Давайте начнем сегодня. В порядке опыта. А?

У Феди опять екнуло сердце. Когда у боксера так часто екает сердце, это плохой признак.

Валя подняла голову и искоса посмотрела на Федю. Потом она опустила ресницы, опять вздохнула и прислонила голову к сильному плечу командора.

...Теперь вечерами я часто встречаю Федю и Валю. Иногда они медленно прогуливаются по Ордынке — наверно, дежурят. Иногда куда-то спешат. Может быть, на соревнование по боксу, а может быть, в консерваторию. Говорят, Федя в последнее время сильно полюбил классическую музыку.

Но мальчишки-дружинники не очень довольны. Недавно я повстречал во дворе первого заместителя Феди Сорокина — Стасика. Он шел и насвистывал марш революционной Кубы «26 июля».

— Как дела, Стасик? — спросил я.

— Опять иду за него дежурить. Любовь любовью — это мы понимаем,— и Стасик вытер кулаком нос,— но ведь надо силу воли иметь. У нас в классе тоже есть одна такая. Цыпочка на «шпильках». И так крутит и так.— Стасик показал плечами, как она это делает.— Но у нас железно: никто не поддается. А он... Эх! — махнул Стасик рукой. И пошел дежурить вместо Феди.

Не тужи, Стасик! Помоги другу. У нас так всегда было принято в Замоскворечье.

Маленькая повесть

Алексей БАЛАКАЕВ

ТРИ РИСУНКА

Линогравюры А. Брусиловского.

Еще до войны я был в Калмыкии на замечательной олимпиаде искусств. Шесть тысяч человек собрались со всей калмыцкой степи на свой национальный праздник. Близ Элисты была воздвигнута эстрада. Выступали лучшие люди улусов — танцоры, музыканты, певцы. Седой сказитель пел древнюю легенду о великом богатыре Джангаре, о своей чудесной, вечно молодой стране. С тех пор прошли годы. Немало горя и испытаний выпало на долю калмыцкого народа в связи с разрушительной войной и жестокими несправедливостями времен культа Сталина...

Но, как древний богатырь Джангар, опять расправляет могучие свои плечи молодая калмыцкая республика. Рядом со старыми певцами поднимается буйная юная поросль. Художники. Музыканты. Поэты. Один из них, Алексей Балакаев, написал короткую повесть «Три рисунка», повесть, пропитанную настоящей человечностью, освещенную высокой идеей интернационального братства.

Алексей Балакаев — поэт. Прозаическая повесть его глубоко поэтична. Я переводил ее с большой радостью и признательностью к молодому своему другу.

Александр ИСБАХ.

У меня хранятся три рисунка. Более семнадцати лет я берегу их как самую дорогую реликвию.

Три рисунка на серой бумаге. Они стерлись на сгибах, кое-где дыры. Это не по моей вине. Листки эти уже были такими, когда семнадцать лет назад попали ко мне.

Я храню рисунки в чемодане. Вынимаю редко. Но стоит мне извлечь их на свет, я смотрю долго, пристально и не могу оторвать от них свой взор. И мне кажется, что они оживают, начинают двигаться, дышать. Тогда я спешу спрятать их обратно. Но руки не подчиняются мне. Снова и снова смотрю на дорогие для меня рисунки.

С калмыцкого

Бывают дни, когда мне хочется приколоть эти рисунки кнопками к стене. Но я боюсь. Боюсь солнечных лучей. От них пожелтеет и так уже старая бумага, а контуры рисунков совсем сотрутся и исчезнут.

Я не хочу расставаться с этими листками. Они память о моем юном друге. Рисунки эти имеют свою историю. Мне хочется рассказать ее вам, дорогие друзья мои.

1

Было военное время.

Однажды я шел с работы. Оставив свои инструменты — лопату, кирку и метлу — в будке, где помещался склад, я направился в сторону станции.

Еще издали услышал протяжный гудок паровоза. Солдаты в серых шинелях разбежались по вагонам. Поезд, стоявший на станции, тронулся раньше, чем я дошел до вокзала.

Люди, толпившиеся на перроне, долго махали вслед уходящему эшелону. Вскоре они группами и поодиночке вышли за ворота станции и разбрелись по улицам поселка.

Подхожу к вокзалу. Меня вызывает начальник станции. Неожиданный вызов тревожит меня. В уме перебираю все свои поступки — придраться вроде не к чему.

Чистильщиком стрелок на железной дороге я работаю уже три месяца. Стрелки я содержу в чистоте и порядке. Еще никто не упрекал меня в нерадивости. Что же могло случиться? Почему вызывают?..

Дежурный по станции, проводив поезд, спрятал флажки под мышкой и, поглубже натянув на лоб круглую черную шапку, вошел в дежурку.

Я взялся за ручку вокзальной двери и тут же обернулся. По калмыцкому закону, мужчина, если он идет по делу, не должен оглядываться назад. Я необдуманно нарушил обычай моих предков.

На опустевшем перроне спиной ко мне стоял одинокий мальчик. Он куда-то пристально смотрел. Необычный вид мальчика сразу же привлек мое внимание. Полы длинного пальто его, подпоясанного веревкой, касались земли. В правой руке он держал березовую палку и слегка опирался на нее.

Я отошел от вокзала, подошел к мальчику сзади и спросил:

— Мальчик, что стоишь? Иди домой, замерзнешь.

Он не шевельнулся. Мои слова не тронули его. Он молчал.

— Как зовут тебя? — спросил я.

Мальчик снова не ответил. И вдруг на его худом, истощенном лице я увидел крупные слезы. Они, как стеклянные бусы, стекали по крыльям маленького курносого носа.

— Мальчик, кто обидел тебя?

Он стоял, как статуя.

«Глухонемой?»— подумал я и коснулся его руки.

— Не трожь меня,— сердито проговорил мальчик, будто проснувшись, и сильно толкнул меня локтем.

— Что случилось? Почему стоишь здесь?

Мальчик продолжал молчать.

На голове его старая черная шляпа. Мятая, дырявая... Цвет пальто определить трудно: заплатка на заплатке... Бледное, морщинистое лицо, согнутая от холода спина — совсем жалкий, маленький старичок.

Я опустился на корточки, положил руки на его плечи, посмотрел в его полные слез глаза и сочувственно спросил:

— Кого ждешь?

— Папу...— чуть слышно ответил мальчик и глубоко вздохнул.

— А где твой папа?

Мальчик снова замолчал. Видно, мой вопрос задел самую больную струну его души: опять, словно крупные дождевые капли на стекле, потекли слезы.

— Куда же уехал твой отец?

— На войну...

Поняв, что своим вопросом причинил боль мальчику, я спросил:

— Мать есть?

— Есть.

— Как ее зовут?

— Не скажу.

— Почему?

— Не приставай ко мне!

Тут к нам подошла тетя Феня, станционная уборщица, и запричитала:

— Боже мой, на что же это похоже?.. Маленький, замерз, наверно...

Но мальчик диковато посмотрел на нее и рванулся бежать.

— Подожди, мальчик, скажи, как зовут тебя! — поспешно спросил я.

— У меня нет имени.

— Разве бывают люди без имени?

— Я без имени.

Мальчик снова хотел убежать, но я ухватился за его палку.

— Пусти, говорю. Домой пойду.

— Как зовут? Скажи — отпущу.

— Звать меня — Некян идян [1].

— Настоящее имя?

Оставив в моих руках палку, мальчик убежал.

Тетя Феня спросила:

— Чей это?

— Не знаю.

2

Когда я вошел, начальник станции Михаил Александрович сказал:

— Садись, Бадма.

От дружелюбного взгляда начальника волнение будто рукой сняло. Я осторожно сел на стул, который стоял возле стола, накрытого зеленым сукном.

— Ну как, нравится работа?— поинтересовался Михаил Александрович.

— Нравится,— ответил я и по-солдатски встал.

Начальник станции улыбнулся.

— Сиди, сиди.

Чистить стрелки в зимнее время — работа тяжелая. Тем более в Сибири, особенно когда задувает метель. Но я не хотел показать, что мне тяжело.

— Значит, нравится. Это хорошо,— сказал начальник станции. Чиркнув зажигалкой, он прикурил погасшую папироску и, глубоко затянувшись, выпустил голубоватый дым.

— Говорят, что ты умеешь рисовать. Это правда?

Михаил Александрович посмотрел на меня совсем по-отечески.

— Умею. Только плохо.

— Ну, ну, не скромничай. Видел твои рисунки. Ермотик показывал.

Ермотик — секретарь партийного комитета узловой станции. По-моему, он очень хитрый. Беседуя с человеком, как бы невзначай узнает все, что у него на душе. Однажды, когда я чистил стрелки, Ермотик подошел и ко мне, расспросил о том, о сем и узнал буквально все о моей жизни, даже о тайном альбоме с рисунками. И что же?.. Он не давал мне покоя, пока я ему не показал своего альбома. Этот хитрый секретарь, видимо, рассказал о моем альбоме и нашему начальнику станции.

И вот теперь Михаил Александрович без лишних слов предложил:

— С завтрашнего дня будешь работать художником.

— А как же мои стрелки?

— Стрелочника можно найти, а вот художника по всей станции не сыщешь.

— А что я буду делать?

— Сначала карикатуры будешь рисовать.

— На кого?

— Таню Поскребову и Аню Вышивкову знаешь?

— Знаю.

---

[1] Некян идян — игра слов, то есть Никто.

— Они стрелки в грязи содержат.
— И это знаю. Из-за стрелок вечно ругаемся.
— Ну вот, надо покритиковать.
— Понятно.

Я вышел из кабинета начальника станции смущенный и немного взбудораженный.

Но, возвращаясь домой, я думал почему-то не о разговоре с начальником и не о своей будущей новой работе. Я вспоминал встречу с маленьким мальчиком в дырявой шляпе. «Некян идян...» В ушах моих опять и опять звучали горькие слова его: «Папу жду...».

Как же действительно его зовут, и почему он такой колючий? Не поверил мне, не сказал свое имя. Все равно я с ним еще познакомлюсь...

3

Я работаю в красном уголке. Из фанеры мне сделали большой щит высотой в два метра, шириной в полтора. У меня задание: нарисовать ленивых девушек с их грязными стрелками.

После обеда на нашу станцию прибыл еще один воинский эшелон. Вмиг собралась толпа. Гражданские смешались с военными. Теснятся у самых вагонов с тайной мечтой найти среди солдат своих родных и близких: брата и мужа, сына и отца, знакомых и соседей. Солдат много, а знакомых нет.

Я тоже, как весенний суслик после спячки, вышел из красного уголка и смотрю на людей.

Со стороны смотришь — сердце стонет: старушки, обхватив молодых солдат за шею, целуют в обе щеки и умываются слезами. Старики, чтобы не поддаться слабости, заложив руки за спину, стоят в сторонке. Девушки и молодухи то причитают, вспоминая о своих милых, то хохочут вместе с солдатами, то отходят, прячась от соленых их шуток.

Вышел дежурный по станции.

— Что это за солдаты?— спросил я у него.

— Военная тайна.

Дежурный поднял желтый флажок.

Эшелон тронулся.

Люди разошлись. Я еще долго стоял. Когда направился к красному уголку, я снова увидел мальчика. Он стоял на прежнем месте и в той же позе.

— Здоров, мужичок!— как можно веселее поздоровался я.

Мальчик не ответил и даже не шевельнулся. Застывшее лицо его было совсем восковым. Казалось, что он даже не замечает меня.

Потом совсем не мне, а словно отвечая на горькие свои мысли, он сказал чуть слышно:

— Опять нет папы.

Чтобы успокоить мальчика, я участливо подхватил:

— Он обязательно приедет.

Только теперь мальчик заметил меня. Черными глазами стал прощупывать меня с ног до головы и, когда встретились наши взгляды, сердито буркнул:

— Ты опять пристаешь?

В ответ я сочувственно спросил:

— Продрог?

Распахнув пальто, мальчик показал свои ноги. Из носков разбитых сапог торчали какие-то тряпки. Угрюмо, не по-детски сказал:

— Ноги замерзли.
— Пойдем ко мне греться.
— А где живешь?
— В красном уголке работаю.
— Будут ругаться?
— Кто?
— Начальник.
— Я там один.

Мальчик пошел за мной.

4

В красном уголке он сразу увидел свою березовую палку. Подбежал и взял ее.

— Моя!

— Садись у печки, погрей ноги.

Мальчик хотел сесть прямо на пол. Я повернул освободившийся от угля ящик и постелил на нем газету. Он сел и снял сапоги. Из-под грязных портянок показались покрасневшие маленькие вспухшие ноги. Хотел прижать ноги к стенке печки, но быстро отдернул: горячо.

Я бросил ему под ноги сухую тряпку. Думаю: согревшись у печки, он разговорится. Я сел рядом на табуретку. Он искоса посмотрел на меня и спросил:

— Снова?
— Нет.
— А как тебя зовут?
— Бадма.
— Красивое имя.
— А как тебя?
— Борис.
— Значит, Боря...
— Я не маленький.
— Сколько тебе лет?
— Ишь ты!
— Стало быть, не знаешь, сколько тебе лет?
— Знаю. Не скажу.
— А мне семнадцать лет.

Мальчик стал загибать свои пальцы. Чтобы подсчитать мой возраст, пальцев у него не хватило.

— Ты пожилой,— наконец заключил Боря.

— Сколько же тебе лет, покажи на пальцах,— посоветовал я мальчику.

— Ты милиционер, что ли?!— сказал Боря и стал наматывать на ноги портянки.

— Куда же?— торопливо спросил я.

— Домой.

— Посиди.

— Мама ждет.

— А как маму твою зовут?

— Некян идян.

— А мою маму зовут Байирта. А как твою?

— Много будешь знать, быстро состаришься.

Это были явно не его слова. Слова взрослых. Он был слишком смышлен, чтобы разговаривать с ним, как с ребенком, но слишком мал ростом да, видимо, и годами, чтобы принимать его за взрослого.

Боря натянул свои большие разбитые сапоги, поглубже надвинул дырявую черную шляпу и, взяв березовую палку, направился к выходу. Я крикнул ему вслед:

— Когда будешь на станции, захаживай ко мне погреться!

Боря не ответил. Так молча и ушел.

Я посмотрел в окно. Он, как маленький старичок, с посохом в руках, раскачиваясь в обе стороны, мелкими шажками шел в сторону поселка.

5

В эти дни через станцию проходило много эшелонов с военными. Все они шли с запада на восток. Постепенно раскрывалась и «военная тайна», о которой умолчал дежурный по станции.

Война на западе приходила к концу. Мы знали по

газетам, что войска наши уже под Берлином, и со дня на день ждали окончательной победы. Но на востоке еще злобно огрызались японцы, и, чтобы смирить их, туда перебрасывались войска.

Жители нашего поселка, как только прибывает воинский эшелон, гурьбой валят на станцию. У всех одна робкая надежда — встретить родных.

Мой новый знакомый Боря торчит на станции целыми днями.

Теперь он уже без специального приглашения стал заходить в красный уголок погреться.

6

Говорят: «Когда у ребенка в руках сладость, приятно его ласкать». А по-моему, когда пряник у тебя в руках, легче привлекать ребятишек.

Тогда, в военное время, настоящие лакомства были у нас очень редкими. Однажды я попросил у мамы кусок хлеба и взял его с собой.

Когда пришел ко мне Боря, я ему протянул этот хлеб.

— Не надо мне,— отказался Боря, но я ясно услышал, как он глотнул слюну.

— Почему?

— Ты хочешь обмануть.

— А когда я обманывал тебя?

Мальчик взял кусок хлеба. Я повернулся и стал продолжать свою работу, которая шла к концу.

— А кого ты рисуешь?— спросил Боря и подошел ко мне.

— Ты не знаешь.

— Разве бывает такой человек? Язык, как у коровы, длинный.

Я удивился: откуда он, мальчик, живущий в рабочем поселке, знает, что у коровы язык длинный.

Я нарочно сказал:

— У коровы язык короткий.

— Тогда ты дурак,— обозвал меня Боря.

— У коровы язык короткий,— настаиваю я.

— Длинный.

— Короткий.

— Длинный.

— А откуда ты знаешь?

— Дед Далчи летом пасет у людей скот, я ему помогаю,— объяснил мальчик.

— Ну, тогда ты прав,— согласился я с Борей.

Мальчик повеселел. Он вдруг сказал:

— Ох, как сладко!

Увлеченный своей работой, я не понял, о чем говорит Боря, и спросил:

— Что?

— Хлеб.

От его слов стало больно. Я понял, что мальчик давно не ел хлеба.

— Мать работает?

Боря не ответил. Потом, вздохнув, сказал:

— Ты, Бадма, злой.

Выходит, зря я приласкал мальчика: он еще и осуждает меня. Обидно. Повернувшись к Боре, я строго спросил:

— Почему?

— Смеешься над человеком.

— Откуда ты это взял?

Мальчик головой кивнул на карикатуру, которую я заканчивал.

— Живых людей разве можно так плохо рисовать?..

Борины слова удивили меня. В этот первый рисунок я вложил все свое умение.

Таня и Аня работали, как и я, чистильщиками стрелок. Придут они на работу, без конца шепчутся, хохочут. А дело стоит. Однажды из-за того, что стрелки были грязными, чуть не случилась авария. Я с ними ругался несколько раз, стыдил. Теперь все, что накипело у меня на душе, я выразил в своем рисунке: девушек я нарисовал с длинными языками, а доверенные им стрелки плачущими.

Не знаю, почему так сильно подействовали на меня бесхитростные слова мальчика. Вот ведь как он отнесся к моему рисунку! Оказывается, нельзя уродовать человека, нельзя унижать его, как я это сделал. Это осуждает маленький мальчик. И что же, может быть, он прав? Может быть.

Я решил замазать рисунок, большую кисть макнул в ведро, где была разведена известь. И вдруг за спиной услышал громкий хохот.

— Ха-ха-ха! Вот это здорово!

Повернувшись, я увидел коренастого смеющегося Ермотика. За ним стоит Михаил Александрович и тоже смеется.

Боря же ощетинился, как котенок перед собакой, будто шулмус [1] пришел по его душу, и, боязливо пробравшись к двери, опрометью выскочил на улицу.

— Эй, мальчик, остановись!— вслед ему крикнул Ермотик.

— Что за мальчик?—поинтересовался Михаил Александрович.

— Боря... Борис,— ответил я.

7

На «планерках» несколько раз возникал разговор о недобросовестном отношении Тани и Ани к работе. Девушки давали слово, что исправятся, но работали по-прежнему плохо. Их стрелки обрастали грязью.

Карикатуру на девушек прикрепили на самом видном и людном месте, на стене вокзала. Рисунок привлек всеобщее внимание. Оживленно обсуждали детали, смеялись.

Девушки с опухшими от слез глазами прибежали к начальнику станции.

— Михаил Александрович, мы исправимся! Честное слово, исправимся! Только снимите карикатуру! — умоляли они.

Это, конечно, ободряло меня. Значит, рисунок подействовал. Но и слова Бори все еще продолжали тревожить. Тот, кто рисует человека безобразным, считал мальчик,— злой человек. Таня и Аня — девушки симпатичные, даже красивые. Имел ли я право так искажать природную красоту?

«Нет, Боря, ты неправ,— думал я.— Пусть они внешне красивы, но если у них в душе изъян, мы должны помочь им исправить недостатки». Мысль эта успокаивала меня.

Когда пришел Боря, я спросил:

— Почему ты вчера убежал?

— А эти взрослые — злюки.

— ??

— Меня один дядька, когда я грелся в вокзале, взял за уши и вытолкнул на улицу.

— Ты, наверное, баловался.

---

[1] Шулмус — черт (калм.).

— Нет. Он меня даже вором обозвал. А я у людей ни одной картав [1] не стащил. Я выпрашиваю.

Слова его были горькими совсем не по-детски.

— Ты, что же, попрошайничаешь?

— Как же иначе? Мама болеет.

— А у тебя есть братья?

— Нет, я у мамы один-единственный.

— А кто такой дед Далчи?

— Мамина родня.

— Вместе живете?

— Нет же. Если человек в беду попал, думаешь, кто-нибудь станет жить с ним?..

— А раньше вместе жили?

— Да. Когда мама была здорова, она помогала деду Далчи коров пасти. А когда мама слегла, вместо нее я пас коров.

О небо, о земля! Такой маленький мальчик, вместо того чтобы играть в мяч, бегать наперегонки, совсем как взрослый разговаривает со мной о трудностях жизни.

В этот день мы стали с Борей больше чем друзьями — братьями.

8

Мать Бори — Шарка, натянув на плечи ватное одеяло, ссутулившись, сидела на деревянных нарах.

Мальчик подошел к матери и спросил:

— Мама, чай пила?

— Пила.

— Картав, что была в миске, ела?

— Ела.

— Мама, Бадма — мой друг,— сказал он, будто только сейчас вспомнив обо мне,— познакомься.

— Наш Борис все время говорил о тебе. Дорогой брат, прошу тебя, будь внимателен к моему паршивому [2] сыночку. Он у меня единственный,— сказала Шарка, тяжело дыша.

— Не горюйте, сестра. Борис — умный мальчик,— успокоил я ее.

Моя похвала не понравилась Боре. Он метнул на меня холодный взгляд и хотел что-то сказать, но подошел ближе к матери, сел рядом с ней и необычайно нежно спросил:

— Мама, не мерзнет ли у тебя спина?

Поправил одеяло на ее спине.

— Брат, ты из какой местности? — спросила Шарка.

— Из Баруна.

— Значит, мы земляки. Мы из Ницяна.

Шарка глубоко вздохнула.

— Да. В тридцати километрах друг от друга жили,— ответил я.

— Теперь где живешь?

— Здесь. Уже четыре месяца, как переехал со станции Козульки.

— Поэтому раньше я не встречала тебя на нашей станции...

Шарка хотела что-то добавить, но сильный кашель оборвал ее слова. Она стала задыхаться. Боря проворно вскочил, достал из-под нар консервную банку.

Я простился с матерью Бори и вышел на крыльцо. Он пошел меня провожать. Я предложил:

— Давай пойдем к нам.

— Зачем я пойду к вам?— возразил Боря.

— Я познакомился с твоей мамой, а теперь ты должен узнать мою...

Мальчик долго стоял в раздумье. В голове моей мелькнула мысль: «Надо его привести домой и попросить маму выстирать и залатать ему одежонку».

— Ну ладно, пойдем,— согласился Боря.

Не успели мы спуститься с крыльца, как навстречу нам показалась тетя Феня. Боря юркнул за мою спину. Она спросила:

— Здесь живет калмычонок?

— Какой?

— Этот самый...

— Боря, что ли?

— Да...

— Вот он.— Я отошел в сторонку.

Тетя Феня заботливо, совсем по-матерински, привлекла его к себе и сказала:

— Я пришла за тобой.

И Боря неожиданно обмяк, доверчиво пошел к пожилой женщине, глазами приглашая и меня.

Я вспомнил о каких-то незаконченных делах на станции. Но отправился с ними. Мне думалось, что со мной Боря не будет чувствовать себя таким одиноким, что я нужен ему.

Тетя Феня налила теплой воды в таз и почти насильно посадила мальчика в него. Когда она бросила его грязную одежду в лоханку, в мыльную пену, Боря испуганно спросил:

— А как же я пойду голым домой?

— Когда подсохнет, тогда и пойдешь.

Боря свистнул.

— Не свисти в комнате — грех,— заметила тетя Феня.

Потом она завернула мальчика в солдатскую шинель, которая осталась у нее после смерти единственного сына, и посадила на кровать. Боря, уплетая картошку в мундире, от удовольствия зажмурив глаза, убежденно заявил:

— Горячая картав с холодным молоком — ох, какая вкусная штука!

Тетя Феня сказала:

— Бадма, налей ему стакан молока.

Я подошел к мальчику и спросил:

— Почему ты тогда скрыл от меня свое имя?

— Нельзя верить каждому человеку.

— Почему?

— На свете больше злых людей, чем добрых.

— Брось ты! Кто внушил тебе это?

Боря на секунду задумался: ответить или нет?

— Дед Далчи говорит: «Нельзя верить людям. У змеи полоска снаружи, у человека — внутри».

Тетя Феня, слушая наш разговор, усмехнулась.

Я крепко сжал худые, тоненькие ручонки мальчика и сказал:

— Боря, ты неправильно рассуждаешь. Надо верить человеку.

— Я тебе верю. А вот деду Далчи больше не верю.

— Почему же ты не веришь деду Далчи?

— Он обманул нас.

— Как?

— Дед Далчи обещался зимой, когда кончится срок пасти коров, дать мешок картав. Теперь уже весна. А дед Далчи, хотя я просил у него, не дает картав.

---

[1] Картав — картошка.

[2] Так калмыки говорят, чтобы люди не сглазили единственное дитя.

— Ты духом не падай. Он обязательно даст картошку,— успокоил я его.

9

Однажды Боря заявил:

— Мне надо зарабатывать хлеб.

— Как будешь зарабатывать хлеб? — удивленно спросил я.

— Вот именно об этом все время думаю. Моя мама уже поправляется. Если бы был хлеб, она встала бы...

От этих слов мне стало грустно.

Какой совет могу ему дать?

Боря печально произнес:

— Мама сегодня пила чай голый.

«Как же помочь мальчику, где достать для него продукты?» — подумал я.

Как раз в это время ко мне зашел столяр нашей станции старик Кулаков.

Боря затаился, как кот, прикусивший коготь [1].

Кулаков сказал мне:

— Хлопец! Говорят, что ты малюешь мой портрет. Пришел поглядеть.

Я покраснел. На Таню и Аню карикатуры подействовали. Теперь они содержат стрелки в чистоте. Михаил Александрович вызвал меня и дал новое задание. Он сказал: «Столяр Кулаков в рабочее время делает на сторону столы, стулья, шкафы. Надо его изобразить».

Чтобы нарисовать Кулакова, я несколько раз ходил к нему на работу, смотрел на него, сделал некоторые наброски.

Столяр, увидев мою работу, громко рассмеялся.

— Не худо. Только нос шибко велик. К тому же надо было меня рисовать не нюхающим деньги, а щупающим их...

Я изобразил старика сидящим на множестве стульев, столов и шкафов и принюхивающимся, откуда пахнет деньгами.

Кулаков почесал затылок и сказал:

— По правде говоря, намалевано не так уж плохо. Хоть и не все, как полагается, в натуре. Но я, браток, на тебя не обижаюсь. Меня доселе ни один человек не рисовал. Большое тебе спасибо. Кроме того, люди, посмотрев мой портрет, еще больше заказов будут давать. Все это к лучшему.

Старик еще раз тщательно посмотрел карикатуру, сделал новое замечание:

— Только вот у этих столов ножки получились кривыми. Я делаю прямые, правильные. Поправь, ради бога, эти ножки. А то люди подумают, что я в самом деле делаю кривые столы. Обязательно исправь. Хлопец, у тебя есть умение. Всякое дело надо делать с душой. И работать надо с душой, любовь вкладывать. Тогда изделие твое получится мастерское, красивое. А за картинку тебе премного благодарен.

Кулаков распахнул подол полушубка, достал из кармана ватных брюк завернутый в газету сверток и положил на стол.

— Бери, парень, это мой подарок тебе.

Не успел я опомниться, как старик исчез.

Боря сначала посмотрел на «подарок», который лежал на столе, затем на меня. Я взял сверток. Там было два ломтя ржаного хлеба и кусочек свиного сала.

Все это я снова завернул в газету и отдал Боре.

10

Боря, как и раньше, приходил на станцию, встречал эшелоны, ждал отца. Он ждал его с каким-то тоскливым упорством.

Бывало, уйдет поезд, а он долго-долго смотрит вслед и не отводит свой печальный взгляд до тех пор, пока совсем не рассеется паровозный дым.

В такие минуты я думаю: «Хоть бы наконец приехал его отец».

Однажды Боря спросил:

— Бадма, как ты думаешь, отец мой вернется живым?

— Как же не вернется! Обязательно приедет! — убежденно заявил я.

Лицо Бори от моих горячих слов словно просветлело.

— Бадма, ты знаешь своего отца?— спросил вдруг мальчик.

— А как же. Знаю,— решительно ответил я и улыбнулся, чтобы подтвердить свою уверенность.

— Ты не смейся. А вот я отца не знаю. Наш папа ушел в армию еще до войны.

— Карточка его есть?

— Есть. Он похож на меня.

— Нет, ты, наверно, похож на него.

Я всегда следил за тем, чтобы Боря правильно выражал свои мысли. Когда он что-нибудь говорил неправильно, я тут же поправлял. Он иногда обижался, но в большинстве случаев соглашался со мной.

Он переменил разговор:

— Ты видел калмыцкую степь?

— Видел. Ты тоже, наверно, видел.

— Тогда я был маленький. Теперь я хочу вспомнить, только из этого ничего не выходит. Моя мама все время говорит о степи. Ты, пожалуйста, подробно расскажи мне об этой степи!

Скрестив руки на столе и положив на них голову, он внимательно слушал мой рассказ. Наконец спросил:

— В Сибири или в калмыцкой степи лучше?

Я растерялся.

— Это — дело привычки,— неопределенно сказал я, чтобы уйти от прямого ответа.

[1] Калмыцкая метафора, означающая испуг.

— Нет, ты правильно ответь на мой вопрос,— настаивал Боря.

— Сибирякам Сибирь хороша, калмыкам в калмыцкой степи хорошо.

— Тогда почему же нас привезли сюда?

Я не выдержал и рассердился на Борю. Мне показалось, что он задал вопрос, который висит на кончике языка всех калмыков. Но никто не смеет на него ответить, потому что в те годы об этом и спрашивать не разрешалось. Был, правда, один ответ, казенный. Каждый знал, что этот ответ — большая ложь. Но если ты хочешь быть на свободе, хотя и вдали от родины, принимай эту ложь за правду или, во всяком случае, делай вид, что доволен судьбой.

— Не задавай мне пустые вопросы!

Взяв кисть и краску, я вернулся к прерванной работе.

— А ты от моего вопроса не увиливай,— строго, мудро, как взрослый, сказал Боря и встал за моей спиной.

Я понял, что мне не уйти так легко от ответа.

— Потому что война. Война есть война.

— Ты не сердись,— успокоил меня Боря.— Я бы у тебя не спросил. Мама моя велела. Она говорит, что ты грамотный, умный.

— Я не грамотный, я дурак,— отрезал я, еще больше сердясь на себя, что не сумел правдиво ответить. Да разве мне самому было все так уж ясно?.. Да разве я уже ответил на этот вопрос себе самому?!

Боря удивленно посмотрел на меня, пожал плечами и, опираясь на свою березовую палку, ушел.

11

— Я хочу петь,— заявил на другой день Боря.

— Где будешь петь?

— На станции. Когда придет военный эшелон.

— Зачем будешь петь?— не понял я мальчика.

— Хочу хлеба заработать.

Я глубоко вздохнул. Боря объяснил:

— Надо маму на ноги поставить. А то опять может слечь.

«Видно, другого выхода у него нет»,— угрюмо подумал я.

— Умеешь петь?

— Да, умею.

— А ну-ка спой!

— Ишь ты! Хочешь насмехаться надо мной?

— Когда же я над тобой смеялся?

— Ты все время следишь за моими словами...

Я продолжал писать лозунг на красном материале. Боря не сводил глаз с моей работы. Его губы еле заметно шевелились. Мне показалось, что он про себя вспоминает слова песни, которую должен петь. Боря подошел ко мне сзади и смиренно сказал:

— Ну ладно, слушай.

Я продолжал писать лозунг, старательно выводя каждую букву.

Он пристал:

— Говорю, слушай!

Я повернулся к нему.

Боря сложил ручонки на груди, чуть подался вперед и начал петь:

Алмазом в лучистой оправе
Сверкает на травах роса.
Но ярче, чем солнце и травы,
Твои голубые глаза...

Мальчик закончил куплет (где только он выкопал такие слова!) и спросил:

— Ну как?

— Недурно. Только когда поешь, надо подплясывать и разводить руками.

— А если не умею плясать?

— Надо научиться.

— Тогда сыграй губами мотив, а я попробую сплясать,— предложил Боря.

— Я не знаю ни одного мотива.

— Ох, балда, где же ты вырос?! — язвительно заметил Боря и, раскинув руки в обе стороны, как делают орлята перед полетом, сам начал подпевать и неумело пустился в пляс.

— Хядрис, хядрис! [1] — стал я подбадривать мальчика.— Надо ногами играть, на носках кружиться...

Вошел Ермотик. Боря, плясавший спиной к двери, не увидел секретаря парткома. Я хотел остановить мальчика, но Ермотик, приложив палец к губам, дал мне понять, чтобы я не делал этого.

— Ну как?— спросил Боря, перестав плясать.

— Очень хорошо, очень!— восхищенный, воскликнул Ермотик, хотя Боря спросил меня по-калмыцки.

Мальчик испуганно подпрыгнул и тут же исчез за печкой.

— Не прячься, выходи сюда,— сказал Ермотик. Подойдя к мальчику, он снял с его головы дырявую черную шляпу и нежно погладил по волосам.

Проскользнув у него под мышкой, Боря схватил шляпу и убежал.

12

Первое выступление Бори принесло ему крупный успех. Солдаты нарасхват тащили его к вагонам, извлекали из своих вещмешков кусочки сахара, сухари и все это давали мальчику.

— Боря, Боря, Боря! — раздавались со всех сторон голоса. Каждый солдат норовил посадить мальчика на плечо, прижать к груди, поцеловать его.

Немолодой усатый офицер дал ему банку тушенки.

Все карманы Бори были уже набиты снедью. Один солдат, увидев, что мальчику некуда спрятать тушенку, притащил свою солдатскую рубашку, смастерил из нее сумку и переложил в нее все содержимое Бориных карманов.

Когда ушел поезд, Боря, еле взвалив на плечо свою сумку, возбужденный и радостный, пришел ко мне в красный уголок.

— Теперь мама не умрет!— восторженно заявил он.

Покопавшись в сумке, он достал несколько сухарей и положил их на стол передо мною.

— Вот тебе.

— Спасибо, друг, только они мне не нужны.— Я отодвинул его дары.

— Прекрасно возьмешь,— убежденно, без тени сомнения сказал Боря и предложил:— А ну-ка, закрой глаза.

Я зажмурился.

— Открой рот.

Я раскрыл рот.

Мальчик сунул мне в рот что-то сочное и сладкое.

— Еще хочешь?— спросил Боря, показывая на сумку.

---

[1] Хядрис, хядрис — возглас одобрения, как русский «гоп-гоп» или кавказский «ас-ас, гас-ас».

— Нет,— решительно заявил я и хотел смахнуть в его сумку все сухари со стола.

Мальчик животом прикрыл сумку и упрямо повторил:

— Как миленький возьмешь.

— Ты не нарушай калмыцкий обычай,— объяснил я Боре.— Мужчина весь первый заработок должен принести в свой дом.

— Правда?

— Да, правда.

Боря перестал настаивать.

— Пойду домой. Мама ждет.

13

На другой день Боря явился уже с настоящей сумкой, перекинутой через плечо. В руках та же березовая палка.

— Брось ты ее!

— Не могу.

— Значит, ты жадюга,— поддел я мальчика.

— Э-э, ты, Бадма, не понимаешь. Она мне нужна. Когда первый раз пошел пасти коров, я у деда Далчи попросил складной нож и вырезал эту палку. Не брошу.

Его слова тронули меня какой-то своей непосредственной, наивной мудростью. И в то же время встревожили. Бабушка моя говорила: мудрый человек долго не живет. А я не хочу в это верить.

В тот день не было эшелонов с военными. Боря до самого вечера крутился возле меня.

Я закончил оформление стенной газеты «Крокодил». Потом мы с Борей долго сидели, забравшись на стол, болтали ногами. Мечтали. Вслух.

— Когда подрастешь, кем думаешь быть?— спросил я своего маленького друга.

— Как ты, художником,— не задумываясь, ответил он.

— Боря, откровенно говоря, я еще совсем не художник. Только пробую. Никакой школы не кончил.

— А разве то, что ты нарисовал, не картины?— Он показал на оформление стенной газеты.

— Это так себе.

Боря съежился и сказал разочарованно:

— А я-то думал, что ты художник!

— Для этого надо много учиться,— сказал я, оправдываясь.

— Это я знаю. Когда выздоровеет моя мама, я тоже пойду в школу. Только у меня нет ни бумаги, ни книг.

— Э-э, Боря, лишь бы голова была, а бумага и книги найдутся! Ты духом не падай!— нарочито весело воскликнул я, чтобы подбодрить своего юного друга.

— Ты, Бадма, будешь учить меня новым песням?— неожиданно спросил Боря.

— Ну, хорошо, тогда слушай:

Мы пионеры. Красное знамя
Выше! До самой луны!
Мы пионеры. Смело за нами,
Дети родной страны!..

— Ты меня лучше учи песням, которыми можно хлеб зарабатывать.

От этих слов мне стало горько.

14

Воинские эшелоны весь апрель шли с запада на восток.

Боря стал признанным артистом. Люди нашей станции, как только увидят его издали, останавливаются, говорят ласковые слова. От хлеба, колбасы, рыбы, консервов и сахара, которыми солдаты угощали Борю, он быстро поправился. Округлилось его худое лицо. Он пополнел, как ягненок, вкусивший зеленой травки.

Боря теперь чувствует себя настоящим хозяином земли, походка его стала твердой, голову держит гордо, как подобает мужчине. Но со своей березовой палкой не расстается. И по-прежнему совсем недетская тоска таится в самой глубине его глаз. Но, может быть, только я один замечаю эту грусть. Я знаю, он продолжает ждать отца. Он верит, страстно верит в его возвращение. Он больше никогда не говорит мне об этом. Но я знаю. Я знаю... И ничем не могу помочь.

Плотный сибирский снег стал ноздреватым. Он постепенно, день за днем таял от весеннего солнца, и вскоре по улицам поселка с журчанием побежали ручьи.

Однажды Ермотик спросил у меня:

— У нашего артиста есть какая-нибудь обувь, кроме этих насквозь промокших рваных сапог?

— Не знаю.

— Вы же друзья.

— Я не подумал об этом.

— Эх вы, молодежь, не умеете вникать в судьбу людей!

В это время вошел Михаил Александрович.

Увидев мое смущенное лицо, начальник станции спросил:

— Что случилось?

— Надо бы помочь этому мальчишке,— объяснил Ермотик.

— Что за мальчишка?— не понял секретаря парткома Михаил Александрович.

— Артист.

— Да... Дело говоришь. Пальцы его торчат. Чего доброго, еще ревматизм схватит,— сочувственно сказал начальник станции.

— Если бы у него была обувь на смену, сапоги можно бы отдать в ремонт. Рядом со мной живет старик сапожник,— заметил Ермотик.

— Погоди... У моей дочери сохранились старые, совсем неплохие ботинки,— вспомнил Михаил Александрович.— Бадма, приходи, возьми эти ботинки.

Приоткрылась дверь красного уголка.

— Бадма, у меня к тебе дело.

Дверь сразу захлопнулась. Я побежал и за руку привел Борю.

— Здоров, артист!— сказал Ермотик.

Боря подал руку сначала начальнику станции, затем секретарю парткома.

— Почему ты, когда видишь меня, убегаешь?— прямо спросил Ермотик.

— Когда я избегал тебя?— Боря черными бусинами глаз уставился на секретаря.

— Когда захожу в красный уголок, ты бежишь, как от нечистого духа...

— Есть тому причина,— угрюмо ответил Боря и замолчал, считая, что вопрос исчерпан.

— Что за причина?— вмешался в разговор Михаил Александрович.

Боря с молчаливым восхищением смотрит на начальника станции. Красивая железнодорожная форма, да еще на плечах серебряные погоны со звездочками. Да, такому человеку можно позавидовать...

— Вы же будете ругать.
— Кого?
— Моего друга.
— Почему?— удивился Ермотик.
— Что он пускает сюда посторонних...

Взрослые засмеялись. Ермотик схватил мальчика за руки и тепло сказал, вглядываясь в него, точно увидел впервые:

— Ну, артист, ты всегда будь таким... отзывчивым. Это хорошо, что ты так заботишься о своих друзьях.

— Какое же у тебя дело к Бадме?— вспомнил Ермотик давешний Борин вопрос.

Мальчик хитровато ответил:

— Этого нельзя говорить. Это наша тайна...

Взрослые ушли.

Боря долго молчал, думая о чем-то своем, сокровенном.

— Знаешь, Бадма,— сказал он наконец задумчиво,— а они ведь не такие плохие люди.

15

В детстве я любил собирать в степи тюльпаны. Вы видели, как цветут тюльпаны у нас в степи? Цветы, вечером похожие на скромные колокольчики, утром неузнаваемы. Поднимается солнце, и, напившись его тепла, тюльпаны распускают во все стороны свои красные шелковые лепестки. И волнуется и колышется степь, устланная разноцветными коврами. И так хочется утонуть в этих коврах и дышать опьяняющим воздухом нашей родной калмыцкой степи!

Мой маленький друг расцвел, как эти тюльпаны.

Мать сшила ему из обносков, подаренных солдатами, штаны и рубашку. Ботинки, подаренные начальником, пришлись совсем по ноге.

Боря стал похож на маленького солдата. Голос его с каждым днем, кажется мне, становится чище, звонче, задушевнее, в свои пляски он вносит все новое и новое, разнообразит движения, придумывает сложные фигуры.

Как-то на станции появилась маленькая русская девочка со светлыми волосами и голубыми глазами. Стоя на перроне, она изумленно и восторженно следила за плясками калмычонка, а потом тяжело, судорожно вздыхала, видя, как солдаты одаряют Борю хлебом и сластями.

«Эй вы, солдаты,— думаю я,— посмотрите хоть кто-нибудь на эту девочку, дайте ей хоть один кусочек! Солдат, эй, солдат... повернись сюда... Девочка... Маленькая девочка, шагни же туда... подойди к тому солдату... Если солдат увидит тебя, обязательно даст хлеба, сахара... Шагни туда, вперед...»

Девочка стоит на месте среди суетящихся людей, глотает слюну.

Боря поет и пляшет, его ласкают, обнимают, хлопают в ладоши. Вот он уже старается изобразить что-то несусветное. Переворачивается через голову. Солдаты смеются, подзадоривают.

Вдруг откуда-то появляется немолодой майор, приглядывается:

— Зачем строите из ребенка клоуна? Само горе пляшет перед вами.

Солдаты смущаются.

Гудит паровоз. Разбегаются по вагонам. Поезд трогается с места.

Маленькая девочка, положив палец в рот, стоит и смотрит на Борю восхищенно и завистливо.

Мальчик направился к выходу. И вдруг увидел девочку.

— Ты почему плакала? — спросил Боря, подойдя.

— Жду папу...— Девочка глубоко вздохнула. Крупные слезы потекли по ее бледным щекам.

— Не плачь. На хлеба... Бери вот сахар.— Рука Бори потянулась к сумке.

Маленькая русская девочка и маленький калмычонок вместе пошли в сторону поселка. Теперь Боря стал кормить не только свою больную мать.

Я крепко привязался к нему. Мы очень много говорили с ним в красном уголке. И много молчали. А когда мой юный друг уходил домой, я часто думал: кем же он будет, когда подрастет? Художником, артистом, ученым, инженером, врачом, учителем, машинистом паровоза, зоотехником, агрономом... Кем же он станет?

Потом я мечтал: кем бы ни стал мой друг Боря, он всегда будет приносить людям радость. Он станет очень умным человеком с горячим сердцем, доброй душой, смелым и преданным.

16

Пришел наконец день, которого мы все ждали,— День Победы.

Девятого мая люди обнимали, целовали друг друга. Не смолкали радостные песни. Даже поезда, которые проходили в этот день через нашу станцию, гудели беспрерывно, и их гудки вливались в общий радостный гомон возбужденных людей.

С этим ликованием смешивается горе. Старухи и старики, у которых погибли на войне сыновья, женщины и вдовы, чьи мужья пропали без вести, юноши и девушки, не дождавшиеся отцовских писем, безутешно плачут, обливаясь слезами.

Я хочу как-нибудь сдержать себя. Креплюсь. Но это не удается. Слезы катятся сами.

— Не плачь,— утешает меня Боря и нежно гладит мою руку.

У мальчика у самого глаза блестят, как вишни под дождем.

Но он не плачет, как я. Борю я считаю своим большим другом. Порою он мне кажется моим ровесником.

Он тоненькими пальцами смахивает слезы с моих щек и шепчет:

— Не плачь.

— Боря, Боря...— вздыхаю я глубоко.

— Что? — спрашивает мальчик и прижимается ко мне.

— Я никогда не увижу своего отца.

Я задыхаюсь. Мои плечи вздрагивают. Я вспоминаю лето тысяча девятьсот сорок второго года. Вижу сквозь сетку слез серую бумажку, которую получила моя мама: «Ваш муж геройски...»

Боря ласково касается моих волос. Его маленькая ручонка кажется мне нежной, как рука моей матери. Когда я был маленьким, меня так же гладила моя мама. А папа... Нет, нужно взять себя в руки.

На мою шею падает теплая капля. Глаза Бори тоже наполнены слезами. Я не задаю ему вопросов.

Мальчик говорит сам:

— Я, наверное, тоже не увижу папу.

— Увидишь, обязательно увидишь,— убежденно, горячо говорю я, забывая о своем горе.

— До сих пор нет его.

— Война только сегодня кончилась.

Боря вздыхает.

17

В этот выходной день мы с мамой пошли копать землю под картошку. Неподалеку от поселка.

Работа с непривычки идет тяжело. Самое трудное — это первый день. Молчит мама, молчу и я. Копаем и копаем.

У мамы спина устает быстро, она хочет распрямиться, прогнать боль. Но спина ее, как застывшая, не поддается. Мама долго стоит согнувшись, как коромысло...

Пора идти на обед, но не хочется прекращать работу. Мы уже взяли разгон.

Мама говорит:

— Еще по одному рядку покопаем и уйдем на обед.

Заканчивается этот ряд, и я предлагаю:

— Мама, давайте еще по одному рядку...

Вдруг я вижу, что со стороны поселка бежит моя сестренка. Она размахивает руками и что-то кричит. Ее слов не слышно.

— Аха [1], Бор-ря...— наконец разбираю я.

Сердце мое сразу холодеет. Падает к ногам. Лопату свою я втыкаю в землю и бегу навстречу сестренке.

— Аха мой, бог наказал! — рыдает сестренка.

— Что случилось?

— Боря под поезд...

День сразу превратился в ночь. Со всех сил бегу на станцию. Земля будто растянулась, кажется, я не бегу, а стою на одном месте. Ноги точно в путах. Наконец окраина поселка. Необычное оживление. Толпятся женщины, дети. Стало быть, правда?.. На бегу кричу незнакомой старухе:

— Это правда?

— Что? — пугается женщина.

Не дождавшись ответа, бегу дальше.

У железнодорожной больницы много народу. Женщины плачут. Не могу разобрать, что они говорят: уши мои заложены. Толкнул кого-то: глаза мои ослепли.

— О горе! — голосит тетя Феня.

Вбегаю в приемную больницы.

— Где Боря? — спросил я у первой встречной санитарки.

Девушка головой указала на одну из дверей. Я с силой открыл дверь. В комнате — врачи в белых халатах.

18

— Где Боря? — Я шагнул к врачу в очках.

— А вы кто? — спросил врач.

— Я... я... я...

— Брат? — подсказал мне врач.

— Да.

— Тогда вы должны услышать правду: мальчик в тяжелом состоянии. Надежды нет. Потерял очень много крови.

— Где он?

— Пойдемте.— Доктор подал мне белый халат и куда-то повел.

Мой Боря лежал в крайней комнате. Глаза его были закрыты. Лицо стало белое, как молоко: трудно отличить от простыни. Губы еле-еле шевелятся.

Я вдруг сразу ослаб, чуть не упал. Врач удержал меня за плечо.

— Мама, мамочка моя!..— чуть слышно произнес Боря.

Я кинулся к нему, но врач резко остановил меня.

— Папа, папочка... Иди сюда...

Выдержать это было невозможно...

— Где же ты, Бадма?..

— Я здесь,— сказал я и наклонился над мальчиком.

---

[1] Аха — обращение к старшему брату.

Веки его едва приподнялись. Глаза, которые всегда излучали живой огонь радости, гасли. Секунду он лежал молча. Ему стало душно.

— Это ты, Бадма?

— Я, Боря.

Он узнал меня, хотел улыбнуться, но из этого ничего не вышло.

— Бадма, где мое пальто? — спросил мальчик.

Я посмотрел на врача.

— Нельзя давать,— шепнул мне врач.

— Дайте мое пальто,— повторил Боря.

— Зачем тебе пальто? — спросил врач.

— Там в кармане...

Он опять закрыл глаза, заскрипел зубами. Вздулись вены на висках. Дрожь прошла по всему телу.

Врач что-то шепнул санитарке, которая стояла сзади. Девушка вышла и моментально вернулась. Она принесла зеленое пальто. Изорванные полы были в крови.

Боря открыл глаза и увидел свое пальто.

— Подайте сюда,— чуть слышно попросил он.

— Нельзя,— сказал врач.— Что в кармане?

— Бадма... В кармане бумаги... Когда приедет папа, отдай ему...

Он откинулся на подушку. Но дышать стал ровнее, спокойнее.

— Боря мой, как же ты?..— сказал я и опустился на колени перед кроватью.

Боря смотрел в потолок. Он почти беззвучно шевелил губами, но я расслышал:

— Девочка была под поездом... поезд тронулся... я ее... Ой мама моя! — вдруг вскрикнул Боря и потерял сознание.

В дверях стояла его мать, Шарка.

19

Боря, Боря, Борис...

Как же это так?..

Я думаю о нем все эти дни. Иду по улице, смотрю вдаль: из-за того дома, кажется, вот-вот выбежит Боря. Работаю в красном уголке, услышу за окном детские голоса,— это Боря. Сейчас он зайдет ко мне со своей березовой палкой. Без него не хватает мне ни солнца, ни воздуха.

Сестра из больницы принесла мне бумаги из Бориного пальто. Она слышала последние слова мальчика и выполнила его завещание. Бумаги были сложены вчетверо и завернуты в газету. Три листка плотной серой бумаги. Видимо, они были свернуты уже давно и протерлись на сгибах.

Я разложил их в ряд на столе. На серых листках — рисунки. Эти рисунки сделаны рукой Бори.

Первый рисунок. Степь. Тюльпаны. Из-за горизонта поднимается большое оранжевое солнце. А в небе парит орел.

Родная калмыцкая степь. Я часто рассказывал о ней мальчику. И я не знал, что рассказы мои так глубоко проникли в самое сердце его. А я вот каждый день орудовал кистью и никогда не пытался нарисовать родную степь.

На другом рисунке изображен солдат. Навстречу ему бежит мальчик. А поодаль видно высокое строение, над которым реет красное знамя.

Как беззаветно ждал, как верил он в возвращение отца! До самой последней минуты маленькой жизни...

А на третьем листке: человек с большой головой, расставив длинные ноги, рисует. В руках у него кисти и краски. Рядом мальчик. У него тоже кисти.

Боря, Боря, Борис...

Оказывается, ты твердо решил стать художником.

☆

Вот и вся история о трех рисунках. Я храню их уже семнадцать лет.

Иногда хочется эти рисунки прикрепить к стене. Но я боюсь. Боюсь, что они выгорят на солнце, а контуры совсем сотрутся и исчезнут.

Умирая, он сказал:

— Девочка была под поездом... поезд тронулся... я ее...

Это его последние слова.

Светловолосая девочка с голубыми глазами теперь, возможно, окончила институт. Кем же стала она, эта девушка? Инженером, врачом, учительницей, певицей?.. Впрочем, это не столь важно.

Я бы только хотел, чтобы она, прочтя этот рассказ, вспомнила о маленьком калмычонке, который спас ее жизнь, калмычонке, который отдал людям все: свою песню, свои танцы, свое сердце и свои мечты.

Боря Гаряев похоронен на станции Чернореченской у трех берез.

Если тебе, мой читатель, доведется побывать на той станции, обязательно сходи к тем березам и возложи венок на могилу моего и твоего друга.

Он любил цветы.

Авторизованный перевод А. ИСБАХА.

Евгений Евтушенко

Опять на станции Зима

Боюсь, читатель, ты ладонью
прикроешь тягостность зевка.
Прости мне кровь мою чалдонью,
но я тебе опять далдоню
про ту же станцию Зима.

Зима! Вокзальчик с палисадом,
деревьев чахлых с полдесятка,
в мешках колхозниц поросята...
И замедляет поезд ход,
и пассажиры волосато,
в своих пижамах полосатых,
как тигры, прыгают вперед.

Вот по перрону резво рыщет,
роняя тапочки, толстяк.
Он жилковатым носом свищет.
Он весь в поту. Он пива ищет
и не найдет его никак.

И после долгого опроса,
пыхтя, как после опороса,
вокзальчик взглядом смерит косо:
«Ну и дырища! Ну и грязь!»
В перрон вминает папиросу,
бредет в купе и, под колеса,
как в транс, впадает в преферанс.

А ведь родился-то, наверно,
и не в Париже и не в Вене,
а, скажем, где-нибудь в Клинцах.
И пусть уж он тогда не взыщет,
что и в Клинцах такой же рыщет
и на перроне пива ищет,
а не найдя,— «ну и дырища!» —
его Клинцы клянет в сердцах.

О, это мелочное чванство,
в нем столько жалкого мещанства!
Оно позор перед страной,
страной огромной, неустанной,
где каждый малый полустанок —
он для кого-нибудь родной.

И, даже мчась куда-то мимо,
должны мы в помыслах своих
родным, от нас неотделимым
считать родное для других.

Страна от моря и до моря,
неповторима и сложна,
достойна в радости и в горе —
любви от моря и до моря,
такой же, как сама она.

Ты должен быть повсюду с нею:
в Клинцах, Зиме или Тавде.
И если где живут скуднее,
там быть должно еще роднее,
еще любимее тебе.

А у кого любви не хватит,
скажу ему: «Себя жалей!»
Нет долга, может быть, святей —
любую точечку на карте
считать кровинкою своей.

Так входит в плоть — не по-иному,—
через любовь к родному дому
любовь к родимой стороне,
потом ко всей своей стране
и к шару, наконец, земному
в его бескрайней ширине!

Я слышал, заявляли шало:
«Я гражданин земного шара,
а не своей отчизны сын!»
Таких из граждан я отчислю.
Лишь гражданин своей отчизны —
земного шара гражданин!

И как бы мог любить я Кубу,
ее оливковую куртку,
ее деревья и дома,
когда бы нежно и кристально
я, как Есенин мать-крестьянку,
не обожал тебя, Зима?!

Мое любое возвращенье
к тебе всегда, как возрожденье,
и с новым смыслом каждый раз.
И вот в Зиме я вновь сейчас.

Я возвратился после странствий,
покрытый пылью Англий, Франций
да пылью слухов обо мне
и — буду прям — не на коне.

Я возвратился не в почете,
а после критики крутой,
полезной нам в конечном счете...
И с лаской принят был роднёй.

И дядя мой Андрей в итоге
сказал такие мне слова:
«Не раскисай! Есть руки, ноги
и даже вроде голова.

Какой ты должен сделать вывод?
Работа — вот, племянник, выход.
Закон у нас хороший есть:
«Кто не работает — не ест!»

И, в убеждениях не шаток,
он клал мне омуля и шанег,
в рот повелительно глядел.
И я — ухмётывал я бодро.
Еще пока я не работал,
но ел! — давно я так не ел...

И, как герой труда, геройски
я продолжал неделю есть,

когда мне запросто, по-свойски
актив зиминский комсомольский
вдруг предложил стихи прочесть.

Я намекал на что-то сложно,
от слов мучительных в поту,
но был отвод не принят, словно
не понимали, что плету.

Мне брюки гладила сестренка
и убеждала горячо,
то с женской нежностью, то строго:
«Все будет, Женька, хорошо!»

Я не робел перед Парижем,
когда свистел он и ревел,
но перед тем судом притихшим,
судом пречистым и превысшим
девчат рабочих и парнишек
я, как ребенок, оробел.

И эта мертвенная робость
от края красного стола
до ряда первого, как пропасть,
оледеняюще легла.

Стоял я вроде истукана,
не в силах сделать первый шаг,
как вдруг оттуда, из тумана,
услышал я: «Давай, земляк!»

И я вздохнул светло и просто,
как будто вдруг меня спасла,
перекрывая эту пропасть,
прямая, крепкая сосна.

Зал понимал. Зал волновался.
И, в горле слезы затая,
я это чувствовал авансом
за то, что должен сделать я.

И мне казалось: постепенно
все раздвигались эти стены,
и вот — в огнях и зеленях —
гудками Волги и Урала
страна звала и ободряла:
«Давай, земляк! Давай, земляк!»

Я шел потом ночной Зимою
в чуть шелестящей тишине,
но этот голос был со мною,
но этот голос был во мне.

И вдруг, застыв на месте сразу,
увидел я, как из ворот
еще не спящей автобазы
под чьи-то резкие приказы,
чумазы и веселоглазы,
сквозь ночь и грязь летели «МАЗы»,
цепями грохая, вперед.

Узнал я голос: он был дядин.
Он был порядком сорван за день:
работа шла сейчас всерьез.
Повелевал он хрипловато:
«На кожзавод!», «На элеватор!»,
«На птицефабрику!», «В колхоз!».

Страна бесплотно не витала —
стога метала, сталь катала,
черт-те куда она взлетала,
а заодно штаны латала.
Чай на ходу, спеша, глотала.
Еще ей столько не хватало!
От сыновей ждала страна
не слов, а хлеба и металла,
цемента, масла, мяса, льна.

Ну, а от нас, ее полпредов—
ее прозаиков, поэтов —
она ждала, как хлеба, слов
крутого честного замеса,
без недостойного обвеса
и без отщипанных углов.

Вновь понял я у автобазы:
наш долг — не прятаться во фразы,
как будто в иглы дикобразы,
и что-то там кропать в тиши,
а в ночь лететь, как эти «МАЗы»,
на социальные заказы —
приказы собственной души.

Шофер, писатель, и колхозник,
и член ЦК — мы все равны
перед лицом своей страны.
И о заводищах-колоссах,
и о машинах, и колосьях,
и о нарывах, и коростах
все вместе думать мы должны.

И я представил: «Сколько сможем
мы сотворить великих чуд,
когда всю мерзость уничтожим,
своекорыстие отложим,
все наши силы дружно сложим
и вложим, словно в праздник,
в труд!»

Так думал я у автобазы...
Потом пошел. Я оступался
средь темноты и тишины.
Чуть барабанил дождь по жести...
И вдруг я вздох услышал женский:
«Ах, только б не было войны!»

Луна скользнула по ометам,
крылечкам, ставням и заплотам,
и, замеревши на ходу,
я, что-то вещее почуя,
как тень суровую ночную,
увидел женщину одну.

Она с кошелкою устало
у дома серого стояла.
Ей было лет уже немало —
не меньше чем за пятьдесят.
Она особенно, по-вдовьи
перила трогала ладонью
под блеклой вывеской на доме:
«Зиминский райвоенкомат».

Должно быть, шла она с работы,
и вдруг ее толкнуло что-то
неодолимо, как волна,
к перилам этим... В ней воскресла
война без помпы и оркестра,
кормильца взявшая война.

Ах, только б не было войны!
(Была в руках его гармошка...)
Ах, только б не было войны!
(...была за голенищем ложка...)
Ах, только б не было войны!
(...а на губах махорки крошка...)
Ах, только б не было войны!
(...Шумел он, выпивший немножко:
«Ничо, не пропадет твой Лешка!»—
ну, а в глазах его сторожко
глядела боль из глубины...)
Ах, только б не было войны!

Вот здесь, опершись о перила,—
об эти самые перила! —
молитву вслед ему творила.
А после шла, дитем тяжка,
опять, касаясь вас, перила,
рукою правою без силы,
а в левой тяжко и остыло
бумажку страшную держа.

Она сама взрастила сына.
Она работала зверино.
(Весь тыл — громадину-махину —
тащили бабы, как волы.)
Сын вырастал плечистым, дюжим.
Теперь он стал отцом и мужем...
Ах, только б не было войны!

Вознесена, как матерь божья,
она, простая мать, над ложью,
над грязью чьей-то суетни
и одобряет молчаливо
она страны своей призывы,
чтобы кончали люди взрывы,
чтобы одумались они.

И вы, кто с фразой ультралевой
и с головой неотрезвелой
пожар хотите разбудить,—
вы облаками не питайтесь.
Вдову и мать вы попытайтесь
в своих идеях убедить!

Она стоит сурово, свято,
здесь, у перил военкомата.
Ее глаза вам не видны?
Забыли вы, что есть на свете
другие матери и дети?
Забыли, что перила эти
от слез бессмертных солоны?
Иль вы не слышите — ответьте! —
тот вздох, что слышен всей планете:
«Ах, только б не было войны!»?!

С надеждой, мужеством и силой
она стоит, как вечный символ
всех матерей и всех детей,
как символ Родины моей.

И я не льщу, не прибедняюсь,
я в реверансах не клонюсь,
но перед Родиной склоняюсь
и охранять ее клянусь.

Клянусь тебя хранить, Отчизна,
от войн, от всех невзгод, от чьих-то
недобро зарящихся глаз,
от повторения ошибок,
от карьеристов, больно шибких,
от патриотов напоказ!

Клянусь и в счастье и в несчастье
делить с тобой не только сласти,
а все и беды и напасти,
как сын средь прочих сыновей.
Клянусь я быть живою частью
твоей работы, воли, страсти
и частью совести твоей!

И здесь, где ровно дышат ели,
клянусь тебе, моя земля,
исполнить это все на деле,
клянусь моею колыбелью —
сибирской станцией Зима!

Станция Зима.
Август 1963.

Смеялись люди за стеной

Смеялись люди за стеной,
а я глядел на эту стену
с душой, как с девочкой больной
в руках, пустевших постепенно.

Смеялись люди за стеной.
Они как будто измывались.
Они смеялись надо мной,
и как бессовестно смеялись!

На самом деле там, в гостях,
устав кружиться по паркету,
они смеялись просто так,
не надо мной и не над кем-то.

Смеялись люди за стеной,
себя вином подогревали
и обо мне с моей больной,
смеясь, и не подозревали.

Смеялись люди... Сколько раз
я тоже, тоже так смеялся,
а за стеною кто-то гас
и с этим горестно смирялся.

И думал он, бедой гоним
и ей почти уже сдаваясь,
что это я смеюсь над ним
и, может, даже издеваюсь.

Да, так устроен шар земной
и так устроен будет вечно:
рыдает кто-то за стеной,
когда смеемся мы беспечно.

Но так устроен шар земной
и тем вовек неувядаем:
смеется кто-то за стеной,
когда мы чуть ли не рыдаем.

Двойной исполнись доброты.
И, чтоб кого-то не обидеть,
когда смеешься громко ты,
умей сквозь стену сердцем видеть.

Но не прими на душу грех,
когда ты мрачный и разбитый,
там, за стеною, чей-то смех
сочесть завистливо обидой.

Как равновесье — бытие.
В нем зависть — самооскорбленье.
Ведь за несчастие твое
чужое счастье — искупленье.

Желай, чтоб в час последний твой,
когда замрут глаза, смыкаясь,—
смеялись люди за стеной,
смеялись, все-таки смеялись!

Очарованья ранние прекрасны.
Очарованья ранами опасны.
Но что с того! Ведь мы над суетой
к познанью наивысшему причастны,
спасенные счастливой слепотой.

И мы, не опасаясь оступиться,
со зрячей точки зрения глупы,
проносим очарованные лица
среди неочарованной толпы.

От быта, от житейского расчета,
от бледных скептиков и розовых
проныр
нас тянет вдаль мерцающее что-то,
преображая отсветами мир.

Но неизбежность разочарований
дает прозренье. Все по сторонам
приобретает разом очертанья,
до этого неведомые нам.

Мир предстает, не брезжа,
не туманясь,
особенным ничем не осиян.
Но чудится, что эта безобманность —
обман. А то, что было, не обман.

Ведь не способность быть премудрым
змием
и не всезнайства тягостная честь,—
а свойство очаровываться миром
нам открывает мир, какой он есть!

Вдруг некто с очарованным лицом
мелькнет, спеша на дальнее мерцанье,
и вовсе нам не кажется слепцом —
самим себе мы кажемся слепцами...

Нет, мне ни в чем не надо
половины!
Мне — дай все небо! Землю всю
положь!
Моря и реки, горные лавины —
мои! Не соглашаюсь на дележ!

Нет, жизнь, меня ты не заластишь
частью.
Все полностью! Мне это по плечу.
Я не хочу ни половины счастья,
ни половины горя не хочу!

Хочу лишь половину той подушки,
где, бережно прижатое к щеке,
беспомощной звездой, звездой
падучей
кольцо мерцает на твоей руке...

Невеста

На Печоре есть рыбак
по имени Глаша.
Говорит с парнями так:
«Глаша, да не ваша!»
Ухажеров к ляду шлет,
сердится серьгами.
Сарафаны себе шьет
из сиянья северного.
Не красна она, наверно,
модною прическою,
но зато в косе не лента,
а волна печорская!
Недоступна и строга,
сети вытягает,
а глаза, как два сига,
из-под платка сигают.
Я ходил за ней, робея,
зачарованный,
как черемухою, ею
зачеремленный.
Я не знал, почему —
может быть, наветно —
говорили по селу
про нее: «Невеста...»
«Чья?» — все избы я избегал.
Может, выдумали?
Рыбаки, дымя «Казбеком»,
ничего не выдымили.
«Чья она? Чья она?
Чья она невеста?» —
спрашивал отчаянно
у норд-веста.
Вдруг один ко мне прилип
старичок запечный,
словно тундровый гриб,
на мокре взошедший.
«Больно быстр, я погляжу...
Выставь четвертиночку,
и на блюдце положу
тайну, как чаиночку...»
Пил да медлил, окаянный,
а когда все выкачал:

«Чья невеста? Океана...
того... Ледовитыча...»
Если б не был пьюха стар,
если б не был хилый,
я б манежничать не стал —
дал бы в зад бахилой.
Водят за нос меня.
Что это за шутки!
Аж гогочет гагарня,
аж хохочут щуки!
Ну, а Глаша на песке
карбас высмаливала
и прорехи в парусе
на свету высматривала.
Я сказал ей: «Над водой
рыба вспрыгивает
и, от криков став худой,
чернять вскрикивает.
Хочешь — тундру подарю
лишь за взгляд за ласковый.
Горностаем подобью
ватник твой залатанный.
Пойду с неводом Печорой
в потопленные луга.
Семгу выловлю, в которой
не икра, а жемчуга.
Все сложу я, что захочешь,
у твоих подвернутых
у резиновых сапожек,
чешуей подернутых.
В эту чертову весну,
сам себя замучив,
я попался на блесну
зубов твоих зовучих.
Но от пьюхи-недовеска,
пьяным-пьяного,
я слыхал, что ты невеста
океанова?!»
Отвечала Глаша: «Да,
я его невеста.
Видишь, как себе вода
не находит места.
Та вода идет, идет
к седоте глубинной,
где давно меня он ждет,
мой седой любимый.
Не подав об этом вести,
веслами посверкивая,
приплыву к нему я вместе
с льдинками-последками.
И меня он обоймет,
разом обмершую,
и в объятьях обомнет
ночью облачною.
На груди своей держа,
все забыть поможет.
В изголовье мне моржа
мягкого положит.
Мне на все он даст ответ,
плесками беседуя.
Что мои семнадцать лет?
С ним я, как безлетняя...
Все семнадцать чепушинок
с меня ссыплются, дрожа,
как семнадцать чешуинок
из-под вострого ножа.
Океан то обласкает,
то грома раскатывает.
Все он гулом объясняет,
все про жизнь рассказывает.
Парень, лучше отвяжись:
я твоей не стану.
Что ты скажешь мне про жизнь
после океана?
Потому себя блюду,
кавалер ты липовый,
что такого не найду,
как и он, великого!»
И поднялся парусок
И забился влажно,
и ушла наискосок
к океану Глаша.
Я шептал не помню что,
с опустелым взглядом.
Видно, слишком я не то
с океаном рядом.
И одно, меня пронзив,
сверлит постоянно:
«Что же я скажу про жизнь
после океана?»

Печора.
Поселок Нельмин Нос.
Май 1963.

Оленины ноги

Бабушка Олена,
слышишь, как повсюду
бьет весна-гулена
в черепки посуду?
Как захмелела сойка
с березового сока
и над избой твоей
поет, что соловей?
Ты на лес, на реченьку
посмотреть сходи...
Что глядишь невесело
на ноги свои?
И ночами белыми
голосом-ручьем
с ними, ослабелыми,
говоришь о чем?

«Ноженьки мои, ноженьки,
что же вы так болите?
Что же вы в белые ноченьки
снова бежать не велите?
Лодочки в пляске навастривая,
вы каблуки сбивали,
и сапоги наваксенные
за вами не успевали.
Вы торопились босыми
в лес по заросшей тропочке,
посеребренные ро́сами,
вздрагивая по дролечке.
И под рассохлой лодкою,
где муравьи да кузнечики,
гладил он вас, мои легкие,
ровные, словно свечечки.
Ноженьки мои, ноженьки,
кроме гулянок с гармошкой,
знали вы тяжкие ношеньки —
ведра, мешки с картошкой.
Все я на вас — то с тряпкою,
то с чугунком, то с вилами,
то с топором, то с тяпкою,—
вот вы и стали остылыми.
На вас я полола, выкашивала,
мыкалась в снег и дождик.
На вас я в себе вынашивала
осьмнадцать сынов и дочек.
Всех я учиться заставила.
«Вникайте!» — им повторяла,
на ноги их поставила,
ну, а свои потеряла.
Вот и не вижу солнышка...
Если б вы, ноженьки, ожили!
Куда же ушла ваша силушка,
ноженьки мои, ноженьки?!»

Бабушка Олена,
я плачу — не смотри.
Но слышишь —
исступленно
токуют глухари.
А над рекою Вологдой
бежит, бежит под ток
над льдами и над волнами
девчонка с ноготок.
Бежит, как зачумленная,
к незнаемой любви...
У нее, Олена,
ноги твои!
От восторга рушатся
ложи и галерки.
Балерина русская
танцует в Нью-Йорке.
Сколько в ней полета,
буйства в крови!
У нее, Олена,
ноги твои!
Звездная девушка,
высоту набрав,
по-земному держится —
дрожи нет в ногах.
Смотрит озаренно
на звездные валы...
У нее, Олена,
ноги твои!
Не привык я горбиться —
гордость уберег,
и меня горести
не собьют с ног.
Сдюжу несклоненно
в любые бои...
У меня, Олена,
ноги твои!

Вологодская область.
Май 1963.

С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

ВИДЕТЬ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ!

Получилось так, что вот уже восемь лет — почти столько, сколько существует журнал «Юность»,— через мои руки и руки моих товарищей по редакции проходит множество рукописей молодых, а то и вовсе начинающих литераторов.

Конечно, не у всех надежды сбываются, и все-таки довольно часто среди рукописей, поступающих «самотеком» (есть такое редакционное словечко, означающее, что рукопись не была заказана, а просто автор неожиданно принес ее в журнал), попадается что-то талантливое, радующее своей свежестью, смелостью и остротой.

Собственно, именно такой неожиданностью были и для нас, работников журнала, и для вас, читателей, почти все молодые имена, которых теперь мы называем уже нашими «старыми» авторами.

Помню, как пришел в журнал строгий юноша в очках, еще никому тогда не известный студент Анатолий Кузнецов, как он поехал в Иркутск с заданием редакции написать очерк, как он приходил в отчаяние оттого, что очерк не получался, и как потом появилась на страницах «Юности» написанная в результате этой поездки повесть «Продолжение легенды», сразу завоевавшая любовь многих наших читателей. Вспоминаю, как принес свои первые рассказы, очень еще несовершенные, но уже свидетельствующие о незаурядных возможностях их автора, тоже тогда никому не известный, скромный молодой врач Василий Аксенов. Приносили первые свои опыты студент Литературного института Анатолий Гладилин, которому в ту пору едва «стукнуло» девятнадцать лет; бывший детдомовец, прошедший хорошую жизненную школу, Анатолий Приставкин; выпускник ВГИКа, новеллист Владимир Амлинский; альпинист и путешественник Евгений Шатько; журналист Юрий Полухин; совсем еще юный Борис Шурделин и уже мужественно проживший суровую жизнь солдата Борис Балтер, Юлиан Семенов и многие, многие другие.

Я говорю сейчас только о прозаиках, потому что речь пойдет в основном о проблемах их творчества, но и их список мне легко было бы продолжить, тем более, что в журнал продолжают приходить все новые и новые «начинающие». Имена некоторых из них — пока что «редакционная тайна»: тайна до тех пор, пока их произведения не увидят света в одном из номеров журнала.

...Мне кажется, что сейчас, после исторических встреч руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции, после июньского Пленума ЦК КПСС, посвященного идеологическим проблемам современности, очень кстати поговорить о вопросах, равно касающихся всех молодых писателей, о тех общих, но вместе с тем и весьма конкретных задачах, которые им предстоит решать.

Глубоко ошибся бы тот, кто бы сказал, что и прошедшие встречи и даже Пленум ЦК нашей партии положили конец всяким спорам о литературе, подвели им «черту». Это было бы заблуждением. Наоборот, указания и советы, которые прозвучали в речах Н. С. Хрущева и Л. Ф. Ильичева, а также выступления многих участников встреч и Пленума ЦК подготовили хорошую основу для подлинно творческих споров, для принципиальных дискуссий о дальнейшем пути развития нашей литературы. Партия еще раз указала вехи на этом великом пути, но ведь каждый писатель, идя этим общим путем, должен не только остаться самим собой, но и **развивать свою индивидуальность,** свои характерные качества

и особенности. Иначе какое же это будет творчество?

И думается, что, борясь за утверждение принципов социалистического реализма, надо помнить и о таком «старом, но грозном оружии», каким является творчество — теория и практика выдающихся советских художников слова, и ушедших от нас и ныне здравствующих, которых мы по праву называем **народными писателями.**

Горький и Маяковский, Демьян Бедный и Фурманов, Фадеев и Алексей Толстой, Шолохов и Твардовский—вот истинные учителя наших молодых литераторов. Между тем некоторые из молодых в погоне за ложно понятой оригинальностью всерьез объявляют себя ближайшими последователями той или иной модной зарубежной школы (а то и школки!), порой зная о ней только понаслышке. Это несерьезно и крайне обидно. Что может быть плодотворнее постижения великих примеров творчества выдающихся мастеров литературы социалистического реализма?

А. М. Горький.

...Давно известно горьковское внимание к молодым литераторам, его **требовательная** к ним **доброжелательность.** Горький умел так разговаривать с начинающими писателями, что эти два качества — требовательность и доброжелательность — казались совершенно неотделимыми друг от друга.

Вот Горький критикует первую книгу двадцатишестилетнего автора. Критикует сурово, обстоятельно и пристрастно. И заключает свое письмо-рецензию такими словами: «Надобно учиться, товарищ! Надобно упрямо, всю жизнь учиться видеть, понимать, изображать. Вы, видимо, человек способный к писательству, с хорошим, зорким глазом и с хорошим сердцем. Позаботьтесь, чтоб сердце Ваше жило в ладах с разумом».

Таким же примерно пожеланием заканчивает он письмо к совсем еще молодой, двадцатидвухлетней писательнице: «Вам необходимо взяться за дело серьезно, у Вас есть хорошие данные. Вы зорко видите, немало знаете. Но — Вам не хватает языка для того, чтобы одевать материал Ваш красиво, точно и прочно. Так-то, сударыня! Получили трепку?!»

Эти письма особенно интересны для нас, потому что из этих двух, в ту пору «начинающих», впоследствии выросли настоящие писатели, да еще какие! — Николай Погодин и Ольга Берггольц.

Конечно, писатель делает себя сам — своим трудом и талантом. Но можно смело сказать: горьковская критика сыграла в становлении Погодина и Берггольц немалую роль.

Многие крупные советские писатели продолжали и продолжают следовать этой замечательной горьковской традиции внимательного, любовного и потому особенно требовательного отношения к литературной смене. Они передают молодежи и свой огромный опыт — теоретический и практический,— опыт, который в целом и является тем «грозным оружием», о котором нельзя забывать их последователям и ученикам.

Мало сказать — не забывать. Надо постоянно пользоваться этим проверенным оружием, которое с успехом разило и долго еще будет разить наших общих идейных противников, беречь это оружие и стараться, чтобы все наши молодые опробовали на нем свою руку.

Таким нестареющим оружием являются, в частности, книги и теоретические работы одного из основоположников советской литературы, замечательного писателя старшего поколения Александра Фадеева, певца нашей революционной юности.

Мне посчастливилось работать с Фадеевым. Я говорю «посчастливилось» не по давно заведенной вежливой традиции: и впрямь, близкое общение с этим человеком было счастьем.

Наверное, никакие мемуары не сумеют передать живого фадеевского портрета. А я его вижу и храню тепло его руки... Вижу эту высокую, как бы никогда не гнущуюся фигуру, венчанную красивой, несколько откинутой назад седой головой (однажды Пабло Неруда очень удачно сказал, что Фадеев напоминает ему могучую гору, вершина которой покрыта вечными снегами)... Вижу умные, пронзительные фадеевские глаза — то открытые, добрые, как бы излучающие душевное тепло, смеющиеся, то вдруг гневные, колючие... Слышу этот заразительный и какой-то по-особенному раскатистый фадеевский смех... Вспоминаю знакомый взмах его рук — он обычно как-то «загребал» свои волосы кверху сразу двумя руками...

Александр Александрович всюду вносил с собой необыкновенное оживление. Возникали горячие споры, и в этих спорах Фадеев всегда являл пример неподкупной идейной честности и партийности, непримиримости к чуждым взглядам, к отступничеству от того, что было для него «святая святых»,— от революционного ленинизма, от линии Коммунистической партии.

...Огромное обаяние и какая-то всепроникающая чуткость. Горение. Необычайно развитое чувство долга — дружеского, гражданского, партийного. Умение заметить чужую беду, увидеть чужое горе и вместе с тем — великое искусство! — искренне порадоваться творческой удаче и успеху «собрата по перу», знакомого, а иной раз и совсем незнакомого. И в то же время какая-то постоянная душевная настороженность. Нежность и душевная ранимость...

Конечно, я пишу не мемуары, но мне как-то трудно «делить» личность Фадеева, трудно раскладывать ее «по полочкам»: человек — писатель — общественный деятель. Да это и невозможно.

По многим свойствам своего характера Фадеев не мог быть сторонним наблюдателем литературного процесса. Он считал своей обязанностью активно вмешиваться в жизнь литературы, обобщать поиски новой эстетики, бороться за позиции Коммунистической партии — против всех тех, в ком он видел ее идейных врагов и противников. Этот боевой наступательный характер, который Фадеев всегда проявлял при решении острых идейных вопросов, счастливо сочетался у него с подлинной влюбленностью в литературу и искусство. Он гордился нашей литературой, заботился о ее процветании, искренне верил в ее великое будущее. Незадолго до смерти в одном из последних писем с глубочайшей убежденностью он заявил о том, что молодые писатели напишут немало книг о наших прекрасных днях и эти книги «...будут еще лучше прежних».

...Я часто думаю, как бы помог сейчас Фадеев многим нашим молодым литераторам, как бы боролся он за то, чтобы литературная молодежь смелее и активнее вторгалась в жизнь, за мастерство и мировоззрение молодых!

Впрочем, здесь меньше всего нужны домыслы. Меньше всего нужны догадки. Ведь Фадеев, помимо своих романов, которые могут служить образцом высокоидейного и высокохудожественного творчества, оставил много теоретических статей, писем и страстных высказываний о литературе и искусстве.

Правда, сам Фадеев не считал себя теоретиком. Выступая на вечере, посвященном 50-летию со дня его рождения, он говорил: «Здесь даже называли меня теоретиком. Это большое заблуждение, товарищи. Я, по существу,— практик. Только в силу потребностей практики и из-за нетерпеливого характера я иногда вынужден заниматься теорией, скорее даже по должности»...

Проще всего объяснить эти слова скромностью Фадеева. Но это лишь одна из причин, побудивших его сказать такие слова.

Более серьезной причиной было, вероятно, очень требовательное отношение Фадеева к теории, мечта о том, что наша литературно-критическая и эстетическая мысль создаст наконец единую и цельную теорию, выработает подлинную эстетику социалистического реализма. Вероятно, никто больше самого Фадеева не был бы рад, если бы кто-нибудь из теоретиков превзошел его и оставил позади. Но если это в конце концов и произойдет, то и тогда книги и статьи Фадеева о литературе и искусстве не потеряют своей остроты и актуальности: именно потому, что он был «по существу,— практик».

Ведь сколько знаем мы теоретических трудов, начисто оторванных от литературной практики, от жизни! Фадеев же всегда был в литературе и в жизни. Создавая свои теоретические статьи, он не затыкал ушей от «жизненного шума». В каждой его статье видно не бесстрастное лицо «холодного» теоретика, а тот самый фадеевский «нетерпеливый характер», за который его нельзя было не любить.

Как говорится, факт остается фактом: на мой взгляд, после Горького не было в нашей литературе писателя, с такой глубиной, остротой и последовательностью разрабатывавшего самые насущные проблемы социалистического реализма.

Вот почему разговор о «старом, но грозном оружии» социалистического реализма мне хотелось бы сегодня начать именно с него.

✲

Однажды, разговаривая со мной о некоторых произведениях прозы, опубликованных в «Юности», Александр Александрович высказал сожаление, что иные наши современные, особенно молодые писатели изображают жизнь как-то нарочито приземленно, словно бы стыдясь показаться «романтичными».

Сам он восторгался высоким мастерством Тургенева, умевшего в своих произведениях достигать великолепного, в лучшем смысле слова «идеального» изображения юности, любви и дружбы. «Это то,— говорил Фадеев,— чего недостает нашей литературе, которая чрезмерно натуралистична и приземлена». А нашей молодежи, по мысли Фадеева, нужно именно такое «идеальное» изображение этой стороны жизни, потому что она стремится к ней, и это стремление надо всячески в ней поддерживать и развивать. «Как жаль,— с огорчением восклицал писатель,— что учителя в наших школах так недопустимо мало читают молодым людям Тургенева!»

В тургеневской «идеализации» Александр Александрович видел и чувствовал ее особое обаяние, необычайную прелесть, свою правду и звал советских писателей приблизиться к уровню **такого** мастерства. В понятие художественной идеализации Фадеев вкладывал предельно сконцентрированное выражение наиболее высоких и **реально существующих** моральных человеческих качеств, «сгущение», «заострение» в нашем советском человеке всего истинно прекрасного. И как писатель и как теоретик литературы, Фадеев стремился видеть и выделять в человеке **возвышающие** его черты, которые, по сути, и делают человека человеком.

Герой фадеевского романа «Разгром» Левинсон жил жаждой «нового, прекрасного, сильного и доброго человека», мечтал о человеке будущего. И он логично пришел к самой простой и самой нелегкой мудрости: «...видеть все так, как оно есть,— для того, чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть».

Сознание того, что в настоящем заключено будущее, никогда не покидало Фадеева. Еще юношей он твердо уверовал в то, что вслед за настоящим придет это будущее и оно будет совершеннее тех дней, в которые мы сейчас, сегодня живем. «Что, вообще, значит — сегодня увидеть завтрашний день? — как-то говорил Фадеев.— Выдумать несуществующего человека? Нет,— это по единицам, существующим сейчас, увидеть завтрашнее их большинство». Вот почему и современность он видел не только в показе современного социального устройства, в характеристике современных нравов и страстей,— она жила для него в борьбе идеалов, в упорной работе мысли, в победе над низкими инстинктами, в людях, делающих открытия, совершающих героические подвиги и самоотверженно умирающих во имя этого будущего.

Разный жизненный материал лежит в основе фадеевских книг. В «Разгроме» многие из героев — люди, в которых еще сильно темное начало. В «Молодой гвардии» уже иные герои: юноши и девушки, воспитанные новым строем, чистые и светлые, устремленные к подвигу во имя Родины. Но и в той и в другой книге Фадеев одинаково оптимистичен во взгляде на человеческую природу, на преображающую ее силу революционных идей.

Он стоял за революционную романтику и героику, потому что считал их непременными чертами подлинно крылатого социалистического реализма. В этом смысле он был пристрастен и по-настоящему тенденциозен.

Фадеев был писателем, если так можно сказать, толстовско-горьковской школы. Он многому учился у Толстого и у Горького и, конечно, прежде всего их **«глубокой героичности».**

...Одним из самых заветных желаний наших лучших молодых писателей является сейчас стремление создать образ такого литературного героя, который, выйдя из самых глубин жизни народа, полюбился бы нашему читателю и стал для него постоянным примером для подражания.

В работах Фадеева проблема такого положительного героя литературы социалистического реализма — новаторской по своей сути — всегда занимала одно из самых главных мест. Я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что для него (как и для многих других лучших писателей старшего поколения) это была **проблема № 1.**

Обо всем этом очень полезно напомнить в наши дни, когда вокруг проблемы положительного героя все еще не смолкают споры, когда еще совсем недавно находились такие доморощенные «новаторы», которые были вроде как бы не прочь даже и вычеркнуть эту проблему из нашей литературной жизни как якобы «устаревшую» и подменить ее весьма сомнительной «задачей» конструирования некоего «среднего», «обычного», заурядного (и, как правило, ущербного) человека — «негероя». Такая тенденция к неверному, искусственному «приземлению» нашей действительности и «дегероизации» литературы, к счастью, встретила самый решительный протест со стороны лучших советских писателей, критиков и широкой советской общественности.

В этой связи весьма полезно (в первую очередь нашим молодым и начинающим писателям) обратиться к богатейшему опыту прежде всего русской классической литературы, создавшей большую галерею ярких положительных и **потому** неумирающих литературных образов, а также к опыту наших лучших советских писателей.

Как-то на читательской конференции по роману «Молодая гвардия» один студент задал Фадееву вопрос, вернее, даже высказал упрек: «Я долго уже живу на свете, и живу среди своих товарищей, многих из них люблю и дружу с ними, но очень много недостатков вижу и в себе и в товарищах. Когда читал «Молодую гвардию», я не узнавал себя и своих товарищей. Мне кажется, что вы молодых людей идеализируете, я таких не нахожу».

Фадеев возражал этому студенту. Молодогвардейцы, говорил он, конечно, хотя и передовые, но вместе с тем и самые обыкновенные советские юноши и девушки. Вероятно, большинство из сидящих в этом зале, продолжал писатель, в подобных условиях вели бы себя не хуже. Но «...всякая повседневная жизнь полна мелочей, обыденных, скучных, случайных, которые, однако, изрядно заполняют жизнь и часто кажутся важнее, чем они есть на самом деле. Их вовсе не обязан показывать художник, совершенно не обязан. А особенно, если приходится изображать людей в сложный и острый период жизни, когда раскрываются самые сильные стороны в людях».

Александр Александрович тут же задал своему «оппоненту» встречный вопрос: «А скажите, какие недостатки были у Татьяны Лариной?»

Студент задумался и ответил: «Трудно назвать».

«А у Наташи Ростовой? — продолжал писатель.— А у тургеневских девушек? То, что они дворянского происхождения? Так это в то время не считалось недостатком!.. Какие недостатки у Гекльберри Финна или Тома Сойера? Не больше, чем у Сережи Тюленина, не правда ли? А ведь я назвал мировые образы **старой** литературы».

И, как всегда, Фадеев заключил этот спор отличной формулировкой: «Значит, дело не в идеализации, а в способе изображения человека. Когда хотите изобразить человека с любовью, показать его настоящие, подлинные черты, это не значит, что вы должны замалчивать в человеке его недостатки, а это значит, **что способ изображения должен быть такой, когда недостатки не мешают читателю любить этого человека»** (подчеркнуто мной.— **С. П.**).

Формулировка эта и впрямь очень точна и, более того, всестороння. Она предостерегает и против «приземленности», когда читателю уже трудно полюбить героя, и против «замалчивания» недостатков, и против искусственного «приподымания» героя на ложноромантические котурны.

Для революционной романтики нет большего врага, чем романтика ложная. Вот почему Фадеев так остро выступал против лжеромантической «школки», рассматривавшей революционную романтику «...не как предвосхищение завтрашнего дня на основе **объективного развития,** а как «приподымание», **«идеализацию»** жизни».

Писателю, говорил он, не надо приукрашивать, «приподымать» действительность. «Жизнь надо изображать правдивой, реальной, не уходя от ее тяжестей, грубостей, подлостей, трудностей. Тогда и хорошее, передовое будет выглядеть не как приукрашивание, а как результат живых человеческих усилий... Такой счет предъявляет нам теперь партия, наша печать, таково народное требование» (из писем).

Да, надо писать правду о жизни. Но ведь и лучшие художники прошлого стремились в своем творчестве говорить правду! Значит, та правда, которую должен сказать социалистический реализм, чем-то отличается от **их** правды?

Фадеев отвечает на этот вопрос так: **«Правда** — это не только внешнее сходство с жизнью. Нет, нужно взять самые основные, самые глубокие **тенденции** развития действительности, видеть, что мешает, но и видеть далеко вперед,— тогда это и будет подлинная правда, и в этом отличие нашего социалистического реализма от старого.

Наш реализм должен, обязан **видеть завтрашний день».**

Советский писатель, желая показать людей такими, каковы они есть, обязан одновременно стремиться показать их такими, какими они должны быть, какими они будут. С помощью романтической революционной мечты он должен как бы заглянуть вперед, эстетически **предвосхитить** всходы будущего, **победу уже реально существующего** в сегодняшней жизни и неумолимо развивающегося.

Все это нам необходимо хорошо уяснить — уяснить серьезно и ответственно. Необходимо именно потому, что сейчас, как никогда, остро поставлен вопрос о задолженности писателей перед могучим движением жизни, о необходимости создать не менее яркий образ молодого современника, чем были для своего времени (и остаются прекрасными примерами для наших дней) Корчагин и молодогвардейцы.

Такое требование к литературе очень насущно.

Однако мне кажется, что иные литераторы, критики (а подчас и читатели), повторяя этот жизненно важный лозунг — «дайте современного Корчагина!»,— имеют в виду не подлинного Павку, а нечто совсем иное. Один из таких «мыслителей» даже высказал как-то вслух, что современному молодому

герою, собственно говоря, нечего особенно много думать и размышлять — **работать надо!**

А посмотрите, как «не повезло» Павлу Корчагину в нашей школе! Если ученики изучат его «образ» прямо **по учебнику,** если талант и страсть учителя и сила самой книги не победят холодные схемы иных учебников по литературе, вряд ли наш молодой человек возвратится к книге Островского за советом в трудную минуту.

В самом деле, вот как выглядит в одном из школьных учебников этот характер, один из ярчайших в советской литературе: просто-напросто названы его отдельные качества, и «при них» содержится весьма нехитрый иллюстративный материал.

Например: «В битвах гражданской войны, в рядах Красной Армии Павел проявляет беззаветное мужество и железную волю. Им руководит горячий советский патриотизм, непоколебимая преданность партии и Советскому государству».

Все очень верно. Но как сухо и по-казенному это высказано! А вот **каким** путем рождался у Павла этот патриотизм, **как** закалялась эта преданность партии? Об этом в учебнике ни слова.

Если в характере Павла прослеживаются какие-то изменения или вообще идет речь о становлении его характера, то все это «объясняется» примерно так же. Надо, например, доказать, что «его внутренний мир чрезвычайно обогатился». Казалось бы, тут-то и можно раскрыть всю духовную неповторимость и сложность Павла! Но, оказывается, все его духовное обогащение выразилось в том, что если прежде Павка говорил грубо, то теперь он может «...не только очень интересно поговорить с друзьями на самые различные темы, но и выступить на митинге или собрании. С Тоней Тумановой, с которой Корчагин некогда объяснялся с помощью таких выражений, как «душа с меня вон», он теперь разговаривает совсем в другом стиле: «У тебя нашлась смелость полюбить рабочего, а полюбить идею не можешь».

Вот и все. А где же живой, ищущий, беспокойный Павел, так полюбившийся многим поколениям читателей? Неужели Островскому было так **нетрудно** создать его? Неужели достаточно было придать ему несколько похвальных и даже замечательных черт?

Конечно, нет! Для этого Островскому надо было прожить такую жизнь, какую он прожил.

Не зря Фадеев так говорил о Корчагине в письме к его создателю: «...Мне кажется, что во всей советской литературе нет пока что другого такого же пленительного по своей чистоте и в то же время такого жизненного образа...»

Жизненного образа... А что такое «жизненность» образа? Это и есть прежде всего обусловленность **каждой** черты характера героя, его многочисленных связей с окружающей жизнью. Иначе говоря, его духовная человеческая сложность.

Сила Павла Корчагина — сына своего поколения — в том, между прочим, и состоит, что он живет и действует не в «безвоздушном» пространстве. Автор щедро наделил его переживаниями и раздумьями своего времени. Он показал Павку в постоянных столкновениях с другими людьми, не скрыл от нас его серьезных сомнений и душевных колебаний, не закрыл глаза на трудности окружающей жизни. Талантливо «поворачивая» своего героя разными сторонами и гранями его характера, последовательно раскрывая сложный и противоречивый процесс его развития, писатель сохранил Павку в нашем сознании человеком живым, настоящим, а не выдуманным. Ему веришь. И в этом сила воспитательного воздействия романа Островского.

Мы мечтаем сейчас о произведениях, которые вызывали бы у молодежи глубокие раздумья, вели бы с нею разговор по самым острым проблемам жизни — разговор идейный и правдивый, честный и взыскательный, без назойливого нравоучительства, чтобы уважение и доверие к себе авторы этих произведений завоевывали истинной мудростью и опытом жизни.

Нам действительно очень нужен такой новый литературный герой, который, подобно своим предшественникам — Корчагину и молодогвардейцам, вобрал бы в себя лучшие черты и духовные запросы современной молодежи и стал властителем ее дум, был для нее примером мужества и верности коммунистическим идеалам, вызывая к себе добрую зависть юных современников, желание подражать. Такой герой прежде всего должен обладать высоким интеллектом. Он должен широко, интересно, масштабно мыслить. Его духовный мир должен быть особенно богат: ведь он борец за чистоту жизни, за великую мечту человечества — построение коммунизма!

Но процесс рождения такого героя (и в жизни и в литературе) не такой уж простой и легкий. Как в связи с этим не вспомнить замечательные слова Н. С. Хрущева из его речи на III Всесоюзном съезде советских писателей:

«...Человек не рождается сразу коммунистическим человеком. Такого человека никто еще не знает, и вы его не видели. Его нельзя выдумать — он будет создаваться в процессе построения коммунистического общества, в процессе завершения перехода от социализма к коммунизму. Но что такое «завершение»? Тут нет границы, проложенной плугом, чтобы можно было сказать, что вот здесь кончается социализм и начинается коммунизм. Нет, так сказать нельзя. Процесс перехода от социализма к коммунизму — это длительный и очень сложный процесс».

...Очень сложный процесс. Нельзя забывать, что и люди, участвующие в этом «процессе перехода», тоже очень сложные, духовно богатые и интересные. Человек будущего — это гармонически развитый человек, человек светлый, чистый, лишенный проклятых «пятен капитализма». А гармония и сложность не исключают, а предполагают друг друга. Вот почему в изображении нового героя нашей жизни чистота без сложности легко может оказаться стерильностью. И если взяться за создание характера без знания и острого ощущения современности, даже лучшие побуждения потерпят (и терпят!) крах. И получается совсем как в стихотворении Леонида Мартынова:

Вода
Благоволила
Литься!
Она
Блистала.
Столь чиста,
Что — ни напиться,
Ни умыться.
И это было неспроста.
Ей
Не хватало
Ивы, тала
И горечи цветущих лоз;
Ей
Водорослей не хватало
И рыбы, жирной от стрекоз.
Ей
Не хватало быть волнистой,
Ей не хватало течь везде.
Ей жизни не хватало —
Чистой,
Дистиллированной
Воде!

...Все это не схоластический спор о процентном соотношении плохого и хорошего. Это вопрос духовной сложности, без которой может обойтись разве что робот, но не **строитель коммунизма.**

Это бы надо понять в первую очередь тем «советчикам», послушав которых, иной начинающий литератор может сделать ложный вывод, что вообще-то и особого таланта не надо, чтобы создать современного Корчагина. Просто, мол, нужно последовать некоторым уже известным прописям!

Нет, создание подлинно художественного образа молодого строителя коммунизма — задача первоочередная, но и **чрезвычайно трудная.**

☆

Внимательность Фадеева к собратьям по перу широко известна. Многие литераторы могут припомнить, как в их квартирах раздавался вдруг ночной звонок и в телефонной трубке слышался глуховатый фадеевский голос. Извиняясь за «позднее вторжение», Фадеев поздравлял писателя с удачей: только что прочел рукопись или вышедшую книгу и не утерпел — просто не мог не сказать товарищу, а то и полузнакомому человеку доброе слово.

Конечно, все это не получалось бы у Фадеева так сердечно и естественно, если бы эта доброта была добротой «по должности», если бы она была расчетливо запрограммирована. Нет, таким уж был фадеевский характер. Сам он как-то сказал незадолго до смерти: «Признание **высокого,** чистого, честного отношения товарища к труду, высокого качества его труда — есть основа радости, уважения и благодарности. И какой это благородный стимул в работе!»

И все-таки у Фадеева это было больше, чем доброта душевная; ведь умел же он быть и суровым и гневно-требовательным. Эта необычайно заинтересованная внимательность к труду товарищей по профессии была одной из наиболее характерных особенностей Фадеева, всегда остро ощущавшего большую ответственность за общее литературное дело, которому он служил честно и беззаветно. Об этой особенности Фадеева очень хорошо сказал как-то К. А. Федин: «Может быть, сильнейшим качеством личности Фадеева была беспредельность служения литературе — то, что Горький любил называть одержимостью».

Будучи человеком высокой коммунистической партийности, Фадеев призывал советских писателей быть борцами, активными строителями новой жизни. Он был глубоко убежден в том, что высокая идейная принципиальность, партийность — это могучая сила, способная дать художнику настоящие большие крылья, поднять его в творчестве так высоко, чтобы «стало видно на все стороны света».

В выступлении перед студентами Литературного института (февраль 1951 года) он убежденно и очень страстно говорил о том, как необходимо писателю идти в ногу с современностью, быть современником в подлинном смысле этого слова, «...то есть **находиться на уровне передовых идей своего времени и жить одной жизнью с народом».**

Эти слова очень важны, как мне кажется, для понимания нашими писателями (особенно молодыми и начинающими) и читателями, что такое современность литературы и какое огромное, поистине основополагающее значение имеет идейность и партийность художественного творчества.

Вместе с тем Фадеев отчетливо понимал, что в искусстве идейность не существует **вне** художественности. Одним из первых в нашей литературе он возглавил последовательную борьбу против вульгаризаторских взглядов, будто высокая идейность произведения искусства сама по себе, «автоматически» может обеспечить такой же высокий его художественный уровень. Во многих своих теоретических статьях и выступлениях писатель доказал, какую губительную роль играет в искусстве как безыдейность (даже при самой высокой «технике» и профессиональном мастерстве художника), так и изъяны и несовершенства художественной формы (даже при самой прогрессивной идейности).

Идейность и художественность не существуют порознь, раздельно. «Идея социализма,— говорил Фадеев,— должна входить в произведение не как нечто внешнее, а являться самой **сущностью произведения, воплощенной в образах».**

Именно поэтому Фадеев неустанно повторял, что **«...нам нужно великое искусство, сочетающее глубокую идейность с высокой художественной формой».**

Борясь за высокую идейность литературы, Фадеев всегда подчеркивал, что «высокая идейность в искусстве требует напряженного, честного, добросовестного, усидчивого труда», причем, говорил он, борьба за качество в области **формы** начинается с простых, самых элементарных вещей: надо приучать себя к тому, что «...роман, рассказ, пьеса, сценарий должны переписываться по два, три, пять раз — до тех пор, пока язык, стиль произведения не будет очищен от всякого шлака».

Своим личным писательским трудом он оставил нам хороший пример такого глубоко ответственного отношения к работе над языком и стилем своих произведений. Как важно следовать этому примеру тем нашим молодым литераторам, которые, еще и не став, собственно, по-настоящему писателями-профессионалами, уже «успели» утратить вкус к совершенствованию своего языка, к борьбе за его чистоту и прозрачность.

Фадеев много раздумывал и писал о литературной смене, был очень внимателен к творчеству молодых литераторов, заботился о воспитании их **мировоззрения.** Если взять сборник его избранных речей, писем и статей «За тридцать лет», то даже при беглом его перелистывании бросится в глаза, как часто писатель возвращается к вопросу о мировоззрении.

Он горячо протестует против узкого представления о мировоззрении. «Нельзя,— говорил он,— считать «мировоззрением» **только** философские, теоретические, политические взгляды и высказывания, минуя весь многообразный жизненный опыт человека. Это книжный взгляд на мировоззрение. Согласно такому взгляду миллионы людей и вовсе «лишены» мировоззрения. А между тем, жизнь учит не хуже книг, хотя без книг и нельзя выработать цельного и всеобъемлющего взгляда на мир».

Это звучит как нельзя более современно.

Дебюты многих наших молодых писателей были доброжелательно встречены читателями прежде всего потому, что эти писатели вошли в литературу не просто как люди с высшим образованием, а как **делатели жизни.** Почти за каждым из них были изученные и испробованные «своими боками» какие-то области жизни.

Эти и подобные им молодые писатели, учившиеся и работавшие рядом со своими сверстниками, оказались в первых своих книжках как бы «полномочными представителями» многих своих сверстников, потому что несли в себе их духовный опыт, пускай пока еще незначительный, но **реальный.**

Как правило, вторая и третья книги даются писателю труднее первой. Первая книга почти всегда воплощает личный авторский опыт — душевный и био-

В. Маяковский и А. Фадеев
(1930 год).

графический. После этого писателю надо уже «осваивать» **не только** себя.

Фадеев когда-то писал о Николае Островском, кстати, тоже молодом писателе: «Конечно, в «Как закалялась сталь» по сравнению с «Рожденными бурей» есть одно большое преимущество: то произведение как песня, там больше лиризма». И дальше: «В первом произведении все то, что хотело запеть, запело».

Вторую же книгу, говорил Фадеев, писать труднее, потому что «это не автобиографическая вещь». Здесь необходим уже жизненный опыт и большая зрелость.

Когда совсем недавно раздавались справедливые упреки в адрес некоторых наших молодых писателей, уходящих в своих «вторых» и «третьих» книгах с главных магистральных путей в менее значительные, а то и просто сомнительные переулки и закоулки жизни, утрачивающих порой за мелочами основную суть, мы отдавали себе отчет: **мировоззрение этих писателей еще нуждается в воспитании.** Недостатки мировоззрения у таких писателей оборачиваются не только идейными, но и художественными недостатками в их произведениях, не дают возможности в полную меру проявиться их таланту. Как правило, все они люди честные, одаренные, преданные литературе и нашему общему, народному делу. Вся суть в неполноте их мировоззрения, в отсутствии у них глубокого взгляда на жизнь, в неумении широко, всесторонне охватить явления жизни. Нельзя забывать, что чем ближе к современности, чем меньше «отстоялся» материал жизни, тем труднее его художественно осмыслить, обобщить и выразить. Такая задача по плечу лишь подлинно талантливому писателю, владеющему **передовым** научным мировоззрением.

Старшие товарищи должны помочь молодежи. Это правильно. Но разве достойно самим молодым сидеть и ждать, пока им помогут? Мне кажется, первейшая их задача — это работа над собой, трезвый самоконтроль, самая суровая самокритика.

Надо понять, что без единого марксистско-ленинского мировоззрения широкая картина жизни у писателя не сложится во что-то цельное, единое, а скорее даже исказится.

Фадеев по аналогичному поводу как-то заметил: «Никакие доводы, что в жизни **это** можно видеть, что я знаю **такого** соседа,— не годятся; на этом не построишь великой литературы. Так Тургенев не смог бы написать «Записки охотника», а Некрасов — «Мороз, Красный нос»...

Как часто — именно в силу неполноты мировоззрения художника — то, что лежит на поверхности жизни и подчас даже заметнее бросается в глаза, принимается за коренное и главное, а на самом деле является мелким, случайным, незаслуженно преувеличенным фантазией художника. А это ведет в искусстве к обобщениям спорным, а порой и попросту неверным. Литератор, который сейчас изо дня в день не следит пристально за развитием действительности, за жизнью рабочих, колхозников и интеллигенции — там, где она творится, даже и «не осознает, накануне какой пропасти он стоит, как писатель».

Глубокая связь с народной жизнью, постоянное изучение ее основных тенденций, ее основного направления, ясное понимание путей нашего развития в сочетании с талантом — вот что является надежным залогом создания новых книг, в которых было бы воплощено то, что является главным в социалистическом гуманизме нашей литературы.

А это главное,— вслед за Горьким неустанно повторял Фадеев,— «...показ человека прежде всего через **деяние,** то есть как раз через то, что определяет его место и назначение в обществе и природе.

Старый гуманизм говорил: «Мне все равно, чем ты занимаешься,— мне важно, что ты человек». Социалистический гуманизм говорит: «Если ты ничем не занимался и ничего не делаешь, я не признаю в тебе человека, как бы ты ни был умен и добр».

Прекрасные слова!

Как известно, Фадеев был в конце 20-х — начале 30-х годов одним из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Эта организация (особенно в последние годы своего существования) нередко насаждала узкие, групповые взгляды на литературу, признавая полноценными писателями только своих членов и полупрезрительно относясь к так называемым «попутчикам», к числу которых были «причислены» тогда и Леонов, и Федин, и даже Маяковский.

Маяковский бурно возмущался по этому поводу:

— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские... —
А я, по-вашему, что —
валютчик?

Партия потом сурово осудила рапповскую литературную политику. Но интересно, что сам Фадеев, разделяя какое-то время многие рапповские лозунги и формулы (ошибочность которых он впоследствии полностью признал), фактически как художник никогда в них не умещался. «...Попытка осмыслить свой собственный творческий путь была присуща мне

почти с самых первых шагов моей литературной деятельности,— говорил он в 1947 году,— но в юности надо мною довлели многие очень книжные представления, и поэтому мое представление о собственной работе и о работе моих товарищей вначале просто противоречило моему собственному опыту». Вот почему даже в ранних статьях и выступлениях Фадеева (многие из которых он сам потом характеризовал как «юношеские заблуждения») сквозь неточные, а порой и ошибочные формулировки и положения проступает правильное **по существу** понимание и задач и путей развития советской литературы.

Большой художественный талант писателя, его отличный вкус и доброжелательность чем дальше, тем все больше преодолевали «принципиальную узость» рапповских догм.

В конце концов Фадеев стал настоящим врагом любой узости и групповщины.

Он был писателем широкого взгляда на литературу. Вот так он глядел, скажем, на нашу поэзию:

«В поэзии я воспитан на Некрасове. Но если бы я всю жизнь читал только Некрасова, я чувствовал бы, что многие стороны моей души остаются неудовлетворенными. Я — по потребностям души — наряду с Некрасовым читаю лермонтовского «Демона», и гетевского «Фауста», и байроновского «Чайльд Гарольда». В конце концов, мне, в общем, наплевать, как это называлось в старину — или называется сейчас — «реализм» или «романтизм», важно, чтобы за этим стояла правда, и важно, чтобы все стороны и потребности моей души, все ее разнообразные поэтические струны были затронуты, проявили себя и нашли отзвук.

Это не только свойство **моей** души, это свойство всякой мало-мальски развитой человеческой личности. И уж если говорить о личности современного советского человека, то потребности души его шире и разносторонней, чем у какого-либо человека в истории...

Все клянутся Маяковским, называя его первым социалистическим реалистом в поэзии, забывая, что в его поэзии форма «романтическая», условная была господствующей. Это не мешает ему, однако, быть первым социалистическим реалистом в поэзии».

И тут дело не обходится без чеканной и емкой формулировки: «Социалистический реализм в поэзии вполне допускает форму «романтическую» и даже «символическую» — **лишь бы за этим стояла правда».**

(Я прошу прощения за столь длинную цитату, но очень уж она хороша, а главное, имеет самое прямое отношение к нашим молодым писателям и к делу их воспитания.)

В приведенных словах опять-таки проявились не просто личные качества Фадеева, не влечения его личного вкуса, а **позиция,** позиция писателя, коммуниста, руководителя Союза советских писателей.

Верное воспитание литературной молодежи может привести к выдающимся литературным успехам. У нас много талантов, надо только позаботиться, чтобы они приумножались, росли и развивались на правильной **идейной** основе.

Высказывания Фадеева о литературе и писательском труде представляют большой интерес для нашей литературной молодежи.

В одной из своих речей он сказал: «Все мы, как писатели, взращенные нашим советским обществом,— дети советского народа, воспитанники нашей партии, великой партии большевиков. И это обстоятельство сделало из нас писателей нового типа.

Да, мы писатели, которые совершенно добровольно и сознательно отдали свое перо народу и государству и **не имеем других интересов,** кроме интересов нашего советского народа и государства».

Такими писателями, взращенными нашим народом и великой ленинской партией, и были — вслед за Горьким — Маяковский и Фадеев, Фурманов и Серафимович, Демьян Бедный и Алексей Толстой, а в наши дни — Шолохов и Твардовский, Федин и Леонов, Тихонов и Катаев и многие другие.

Пафос учебы и труда — вот основное содержание всех выступлений и заветов этой старой гвардии советских писателей, обращенных к нашей литературной молодежи.

Понимая, что молодежь всегда живо откликается на все современное, они предостерегают молодых писателей от вульгаризаторского и нигилистического отношения к классическому наследию. Но они, опираясь на собственный опыт, призывают литературную молодежь и к другому — **к учебе друг у друга.**

Это превосходно выразил Фадеев в обращении к своему старшему товарищу — писателю Всеволоду Иванову в день его шестидесятилетия:

«В наши дни, когда вполне справедливо и с пользой для литературы пишут о влияниях тех или иных классиков на нашего брата, напрасно забывают о преемственности поколений советских писателей. Но мы-то не Иваны, не помнящие родства! Да, мы учились у первых советских писателей, предшествовавших нам,— мы вас любили, увлекались, зачитывались вами. Я мог бы сказать, что вы проторили нам дорогу, если бы это не была дорога в небо».

Это нужно помнить всегда.

Да, наша дорога — в вышину, к общей нашей цели. К той цели, о которой мечтал и писал свои неумелые, полудетские стихи замечательный советский юноша, так и не успевший повзрослеть, герой фадеевской «Молодой гвардии» Ваня Земнухов:

...И без боязни мы вперед
Взор устремляем, где вершина
Коммуны будущей зовет.

Наши публикации

Письма твоего сверстника

Дорогой читатель!

Ты перевернешь эту страничку журнала, и тебе встретится чудесный рассказ молодого солдата, отбывающего срочную службу. По приказу военкомата этот солдат очутился на Кавказе, его полк стоит в небольшом грузинском городке, неподалеку от границы советской земли. Солдат на посту. Кончается ночь. Уже петухи пропели, и вот из-за гор появляется солнце... Вернувшись из караула, солдат пишет об этом в письме к своей любимой. И заканчивает он свое письмо гордыми словами: «Так красноармеец 2-го СКП Борис Горбатов укараулил для мира солнце!»

Восемь лет назад в самом первом номере «Юности» под таким же заглавием — «Письма твоего сверстника» — было напечатано несколько юношеских писем, написанных Борисом Леонтьевичем Горбатовым, будущим крупным советским писателем, девушке, которую он полюбил.

В письмах он делился с нею мыслями о революционной борьбе (Борис Горбатов рос в Донбассе и в очень раннем возрасте включился в эту борьбу, став комсомольцем и вожаком комсомольцев); он размышлял вместе с любимой о своем жизненном призвании, о будущем, о смысле жизни, по твердому убеждению обоих, заключающемся в работе — в работе во имя революции, которой человек посвящает себя без остатка.

Это были письма чистого и честного человека, каким Б. Л. Горбатов оставался всю свою недолгую жизнь: он умер, прожив всего только сорок пять лет.

Сейчас «Юность» приглашает тебя, читатель, прочитать еще несколько писем Бориса Горбатова. В ту пору, когда эти письма были написаны, автору их было двадцать два года. К этому времени уже напечатаны были его повесть «Ячейка» и роман «Нашгород». Многие тысячи молодых советских читателей горячо спорили об этих книгах. Девушка, которой он писал первые свои письма, стала его женой. И теперь по-прежнему в каждом адресованном ей письме видно неизменно присущее Борису Горбатову стремление исполнить свой долг как можно лучше, превозмочь все препятствия, всегда помнить за мелочами о большом, о самом главном — о том, чего требуют от каждого человека революция, партия, дело коммунизма.

Близорукий, он стесняется того, что в первой стрельбе послал одну пулю «за молоком». Зато во второй он выбивает девятнадцать очков тремя патронами.

Юноша, спортивно не подготовленный, с юмором пишет о том, как ему приходится

тренироваться, бегать, ползать по-пластунски, совершать трудные переходы, лазить по горам.

Он с гордостью пишет жене:

«Я изо всех сил стараюсь быть таким, как надо, мне это совсем не тяжело».

И добавляет со всем сознанием честно исполненного долга:

«Армия проверила меня как большевика, — хочу думать, что я стал лучше, чем был, и проверку выдержал».

Он повторяет в письмах слова любви и нежности: «Хочется написать тебе ласково-ласково, чтобы ты за три тысячи километров почувствовала, как сильно я люблю тебя. Смешно признаваться в любви на третьем году брака...»

По письмам можно узнать не только все то, чем прожил этот год сам Борис Горбатов; они рассказывают нам теперь и о том, чем жила его жена,— а в их жизни, словно в чистой капле, отражен окружающий мир, отражено время.

Если говорить о подробностях времени, то они, конечно, были иными, чем нынешние. С тех пор переменилась жизнь в армии, очень изменилась Москва, так часто упоминаемая в письмах, другой стала жизнь в совхозе, куда ездила в 1931 году Шура, к которой обращены все эти письма... Но побуждения у советских людей остались теми же. Тою же осталась их главная жизненная цель. И нынешние сверстники автора писем — сегодняшнее поколение двадцатилетних — ощутят, наверное, в написанных Борисом Горбатовым строчках родство по крови, по духу, по устремлениям. И они увидят, как свет чистой и верной любви озаряет здесь чистоту и верность молодого солдата. Это и есть цельность, необходимая человеку во всем и всегда. Мы узнавали тот же свет, когда в самые трудные первые дни Великой Отечественной войны Борис Горбатов, сражавшийся в рядах действующей армии, обращался к своим соратникам со словами памятных «Писем товарищу». И намного позже, когда Бориса Горбатова уже не было в живых, мы видели тот же свет ослепительной чистоты, верности и отваги, когда «Восток-5» виток за витком окружал нашу планету и Первый секретарь Центрального Комитета КПСС Н. С. Хрущев сообщил космонавту, ведущему этот великолепный снаряд, что он, вчерашний комсомолец Валерий Быковский, принят в ряды КПСС...

Эстафета поколений продолжается. Из одних верных рук эта эстафета чистоты, мужества и посвящения себя великой цели передается в другие верные руки.

И сегодня не один советский юноша в солдатской форме и в рабочей робе может по праву сказать любимой: «Я укараулил для мира солнце!»

---

13 ноября 1930 г.[1]

Солнышко мое! Милая моя географичка! Возьми-ка карту Советского Союза, глянь на наши границы, найди городок, где я нахожусь, и вспомни обо мне. Итак, сижу я на своей койке, крытой солдатским одеялом; одет я в армейское обмундирование: суконная гимнастерка, темно-синие, почти черные брюки, тяжелые сапоги. Шлем-буденовка. На петлицах — трафарет: 2 СКП. Значит это: 2-й Стрелковый кавказский полк.

. . . . . .

Заняты мы по горло. Время точно регламентировано. Кроме того, партработа (сегодня, например, партсобрание). Вчера было собрание команды. Наконец, стенгазета. Пришлось все-таки редактировать стенгазету нашей команды. Но я просил политрука, чтобы это редактирование не превратилось в вечное.

Прервали письмо. Физподготовка.

Пишу после физической проверки. Выясняли, кто из нас как подготовлен в отношении физкультуры. Я, конечно, не показал высоких образцов спорта. Хуже всего был бег на 3 000 метров. Мы все упарились. Думал, что сердце выскочит. После бега немедленно в строй и на уколы. Сделали нам первый укол. Потом строевые занятия. Сейчас перед обедом нашел свободную минутку, чтобы написать. В армии придется много работать. По линии политической и культурной меня уже взяли в переплет. Но я думаю, что самое главное для меня — это всерьез заняться физической культурой.

Ну, вот и весь мой сегодняшний рапорт тебе, моему милому главнокомандующему.

От тебя я не скоро дождусь писем. Вчера долго ворочался, не мог уснуть, думая о тебе. Как ты там одна? Как учеба? Как здоровье? Ты береги себя, родная. Ты пиши мне подробные письма. Помнишь, как тогда из Рязани, и я буду как бы чувствовать тебя ближе. Это (я эгоист), это здорово помогло бы мне в красноармейской учебе.

Ребятам, которые будут звонить тебе, сообщай мой адрес. Проси их писать мне. Мне некогда сейчас написать каждому в отдельности. Но так хотелось бы получать чаще письма...

Мы находимся не в городе, а примерно один-два километра от него... Кругом горы. Видны турецкие горы. Зимой тут холодно. Местность высоко над уровнем моря. Зелени немного. Курорты далеко.

Ну, ты, как географичка, должна сама найти это место и все выяснить.

Пиши мне, любимая, чаще. Пусть в твой рабочий план войдет писание писем. Я же, насколько мне позволят условия, буду писать (и уже пишу) чаще. Настроение у меня, несмотря на бег и укол, хорошее и бодрое. Будешь писать чаще, оно будет еще лучше, и я смогу с честью сдать на командира взвода.

Крепко целую.

Твой Борис.

---

[1] Это было первым письмом Бориса Горбатова из рядов Красной Армии, где в команде одногодичников он отбывал действительную военную службу. Воинский эшелон отошел от подмосковной товарной станции Митьково 3 ноября 1930 года. В теплушке, где разместилась команда, Горбатов был назначен старшим. Команда состояла в основном из инженерно-технических работников.

Во время десятидневного пути он выпускал стенную газету, проводил беседы на литературные темы. В теплушке все знали, что Горбатов — писатель. В 1928 году вышла его первая повесть «Ячейка», в 1930 году написана пьеса «Жажда» и осенью этого же года в «Роман-газете» вышел роман «Нашгород».

20 ноября 1930 г.

Любимая! Сегодня день отдыха. Это не значит, правда, что это абсолютно свободный день. Но это значит, что мы, во-первых, встаем сегодня на целых полтора часа позже, то есть в 7.30. Это значит, во-вторых, что нет занятий. Но зато есть воскресник. Убирали сегодня плац, так как сегодня у нас спортивный праздник.

Мое участие в нем, как известного спортсмена, выразилось в... произнесении речи на митинге от имени всех молодых бойцов. Выбрав сейчас свободную минутку, сижу и пишу письмо. Рядом сидит наш начальник клуба, который, узнав о том, что я пишу жене, говорит, что жена есть социальное зло. У нас в полковой газете напечатано, что думать о доме вредно: мешает боевой учебе.

Я часто думаю о тебе, но это только помогает и мне и моей боевой учебе. Вообще, несмотря на трудности военной науки, я чувствую себя хорошо.

Даже уколы, которые нам сделали (уже второй укол!) и которые повергли всю нашу команду в бред и мрак (по ночам сплошной плач «на реках вавилонских»), даже эти уколы у меня прошли не очень болезненно. Легко свыкся я и с дисциплиной и чувствую себя свободно в казарме. Приходится много работать в общественно-политической отрасли. Редактирую ротную; в редколлегии полковой. Затем партийная и комсомольская работа. Драмкружок... и т. д. Времени буквально не хватает. Засиживаюсь за газетой после положенного для отбоя часа, это отражается на утреннем подъеме. Не проспал-то я, конечно, ни разу (при подъеме такой галдеж, что проспать трудно) и одеваться-умываться в пять минут привык, но после подъема, во время утренних политзанятий, чувствуешь себя немного сонливо.

Ну, вот все о себе...

От тебя еще ни одного письма. Жду завтра. Ждать мучительно. Как ты там? Как здоровье?.. Как учеба? Как настроение? Пиши все, пиши чаще.

Я хочу первым из всей команды получить письмо, как первый получил телеграмму.

Что-то в нем? 17 дней всего, как мы расстались. Но какие 17 дней! Ты, должно быть, в учебе и в сутолоке московской жизни и не заметила, как прошли эти 17 дней. Нам же эти 17 дней — первые дни армейской жизни — дались подчас трудно: каждый день брался с бою, и кажется, что прошло много времени, отделяющего нас от «штатской» жизни. Ну да ладно. Я опять о себе. Мне не удается и не удастся писать в армии. Поэтому я хочу использовать письма к тебе для того, чтобы заносить свои впечатления. Так было и тогда, когда я жил в Артемовске, и это мне помогло в писании «Нашгорода». Ты не возражаешь? [1]

О себе же пиши много и откровенно. Все неприятности, которые у тебя будут, обязательно сообщай мне. Обо всем сообщай.

Жду твоих писем с нетерпением.

Крепко целую свое славное солнышко.

Твой Борис.

23 ноября 1930 г.

Родная! Вот хроника моей жизни за те дни, что не писал.

1. Отделенный командир вошел в казарму и сказал, что он сейчас огласит список красноармейцев, отпускаемых в кино. И огласил. Меня там не было. Ребята, назначенные в кино, огласили стены дикими криками восторга: в кино! Главное — в город! Отделком помолчал и с великолепным украинским юмором докончил: «То есть я ошибся. На кухню. Картошку чистить». С тех пор чистка картошки у нас называется «кино». Пришлось пойти в «кино» и мне. Девятнадцать человек, в том числе и я, чистили картошку $4^1/_2$ часа. С восьми вечера и до половины первого. Чистили на дворе. Мы и обедаем на дворе, так что в холодные дни на губах щи стынут.

2. Затем позавчера ходили рыть блиндажи. Земля крепкая, мерзлая, каменистая. Но рыть пришлось немного. Больше обивать досками блиндаж. Выступал я и в роли землекопа, и в роли пильщика, плотника, чернорабочего — кого угодно. А кругом горы, синие, кремовые. Красота! Дышится легко. Физическая работа укрепляет и физически и морально. Потом интересно: как-никак, а сами выстроили блиндаж. Придется от пуль прятаться — в собственном спрячемся.

3. Бежали на 1 000 метров от трех до пяти минут. Пять — плохо!

4. Сегодня ходили на показательный бой. Химатака. Пускали на нас газы, которые мы героически встречали... одев противогазы.

Вообще учение идет на все сто. Настроение, как писал я вчера Петру Федоровичу [1] в открытке, бодрое и хорошее. Беспокоит только мысль о тебе. Ждал вчера письма, ждал сегодня, а его все нет. Сегодня прямо на поле битвы мне принесли телеграмму. Думал, от тебя. Оказалось — из Воронежа. Директор театра просит «Жажду» [2]. Я пошлю ответ, что не возражаю против постановки...

Что ты делаешь вот сейчас, в эту минутку? Как идет учеба? Сдала ли Америку, Австралию? Как прошел ваш доклад? Выпал ли в Москве снег? Действует ли твое радио?.. Бываешь ли в театре? Где, с кем? Думаешь ли обо мне?.. Когда у тебя практика? Когда зимние каникулы?

Черт возьми, я могу еще и еще без конца спрашивать... Завтра, после получения от тебя ответа, напишу еще. Я и так, правда, часто пишу...

Твой Борис.

26 ноября 1930 г.

Думал, что от тебя будут письма, но увы! Я же пишу каждый день.

В день у нас выдается свободная минутка, когда мы читаем газеты. Так как я читаю газеты быстро, то успеваю и писать. Завел себе правило: писать тебе как можно чаще.

Если бы ты сделала то же самое, было бы очень здорово.

Итак, прежде всего хроника: вчера вечером мы ставили небольшую пьеску в клубе полка. Ставили почти без репетиций. Содержание: молодой деревенский парень Егоркин взят в армию. Его провожает

---

[1] Письма Горбатова к жене были как бы письмами-дневниками, которые он широко использовал в своей литературной работе над «Ячейкой», «Нашгородом», «Горным походом», «Алексеем Гайдашем» и особенно в романе «Мое поколение» (роман этот посвящен Шуре Ефремовой).

[1] Профессор Петр Федорович Ефремов — отец Шуры. Он был большим другом Горбатова и сыграл значительную роль в формировании его политических и литературных взглядов. К сожалению, их переписка, видимо, безнадежно потеряна, но у Шуры Ефремовой сохранились письма Горбатова о П. Ф. Ефремове и письма к ней Ефремова о Горбатове.

[2] Первая пьеса Горбатова, «Жажда», написана им летом 1930 года. Действие пьесы проходило на одном из металлургических заводов Донбасса. Право первой постановки было предоставлено Днепропетровскому драматическому театру, где она была поставлена режиссером А. Рубиным.

папаша, старый солдат, который говорит, что в армии «пятки выкручивают», «фельдфебеля масло требуют» и т. д. Дядя Егоркина — партизан Федор, наоборот, учит племянника: в армии теперь свобода, чуть что, кричи: «Долой!»

Обученный родственниками, Егоркин начинает действовать: преподносит взводному масло, орет «Долой!», бросается из крайности в крайность, пока, наконец, не понимает, что такое красноармейская дисциплина. Пьеска веселая и не очень глупая.

В благодарной роли Егоркина я и выступал. Если бы видела мою рожу, мою гармошку, ты бы померла со смеху! Успех был полный, и сегодня в батальоне и в полковой столовке меня иначе как Егоркиным не зовут.

Думаем теперь взяться за настоящую, хорошую пьесу. Так веселее! Тут есть хороший оркестр, есть виртуоз-балалаечник. Как-нибудь с тоски не умрем.

Сегодня целый день дует дождь. Занимались на улице под проливным дождем. Промокли до костей. Учеба вошла в русло. Семь полных часов учебы, затем проработка, внешкольная работа и т. д. Время течет незаметно. Есть, правда, ребята, которые умудряются скучать. Правда, не сладко под дождем. Правда, действует на нервы по утрам, когда еще темнота и дремь, истошный крик дежурного: «Подыма-а-айсь!» (Вчера вызвало прямо фурор в пьесе: за сценой по пьесе кричали «Подыма-а-айсь!». Хохотал весь зал.)

Я уже привык к раннему подъему и просыпаюсь до сигнала. На подъем (одевание, заправка койки и построение) дается 5 минут: мне их хватает. А так как я головной второго взвода (командир 1-го отделения, по мне строятся), то мне надо выскакивать на улицу раньше всех. Привык. И к подтянутому ремню и к «заправке» койки понемногу привыкаю. До сих пор вообще замечаний никаких не было. Дальше увидим.

Думаю, что год я хорошо выдержу.

Если же ты еще будешь мне часто писать и высылать мне все то, что я вчера просил (газеты и литературу), то я совсем хорошо себя буду чувствовать.

Так что за меня не волнуйся, родная. Верь, что твой муж станет хорошим командиром.

Вот и вся моя хроника за одни сутки. Сутки тут загружены до отказа, так что на каждое письмо хватит.

Чернила мажутся. Пишу на совещании командиров отделений. Оно сейчас откроется. Хочу закончить письмо, так как сейчас отнесут почту.

Солнышко мое! Я завтра тебе еще напишу. Главное, пиши о себе. Я ведь так-таки ничего не знаю. Чем ты живешь сейчас, какими интересами, какими заботами?

Любимая моя! Пиши!

Крепко целую.

Твой Борис.

29 ноября 1930 г.

«Мне очень тяжело писать тебе, дорогая жена, но я должен сообщить, что я здесь... решил жениться на другой. Жена моя совсем молодая... трехлинейная, русская, тулячка... и т. д.».

Так обычно пишут ребята. Это самая любимая тут шутка. Итак, сегодня нас обручили с винтовкой. На торжественном митинге командир полка держал речь, и нам вручили оружие. Когда я говорил от имени роты ответное слово, я искренне волновался. И волнуется сейчас вся наша рота, охаживают пирамиду, в которой стоят наши «жены», ласкают их как новобрачные.

Вчера и сегодня нас обучали большой науке — умению разбирать, чистить и беречь винтовку. Все предусмотрено этой наукой: как тряпочку складывать, как шомпол вынимать... Если бы нас так же учили перед женитьбой, как жену беречь, как ласкать, как жить, ей-богу, жилось бы нам легче.

Спешу написать тебе эти первые впечатления, тороплюсь. Жду от тебя сегодня обещанного письма. Вчера получил только маленькую открытку.

Крепко целую свою «вторую» жену — любимую и живую.

Не ревнуй меня к винтовке, а лучше пожелай мне научиться и ласкать ее и стрелять из нее.

Твой Борис.

10 декабря 1930 г.

...Сейчас глубокая ночь,— у нас она лунная, голубая, но все же глубокая. Вся рота торжественно храпит. Мы охраняем ее сон. Мы — это я, дежурный по роте, и мой помощник, дневальный. Дежурный по роте — это звучит гордо. Дежурить же по роте — это довольно трудно. Двадцать четыре часа на ногах, в движении днем и без сна ночью. Мои дневальные — их два — по очереди спят. Я же не сплю. Отвечаю за сотню боевых винтовок, за пулеметы, за столы, за людей. В отсутствие командира роты дежурный командует ротой. Все это обусловлено соответствующими параграфами устава. Устав лежит передо мной, как евангелие.

Только что приходил дежурный по полку: проверял, все ли в порядке, то есть не спят ли дневальные и сам дежурный, не нарушено ли какое-нибудь правило внутреннего распорядка, чисто ли в казарме и, главное, открыты ли во всех винтовках затворы и сведены ли налево курки. Попадись несвернутый курок — и готово: взыскание! Несвернутый курок — это значит, не ослаблена боевая пружина, значит, портится винтовка.

Ну, все оказалось в порядке, что и было занесено дежурным в книгу.

Два часа утра. Говорят, что нельзя во время дежурства читать и писать: уснешь. Поэтому пишу тебе небольшими дозами. Кроме того, надо глядеть в оба, а то, того и гляди, произойдет что-либо. Учебную ли тревогу устроят в полку, химатаку или еще что.

Сегодня целый день, вчера и позавчера до поздней ночи работали над стенгазетой. Выпустили ее только-только к моему дежурству. Голова трещит смертельно. Прошлую ночь плохо спал, а сегодня («выходной» день!) работал над стенгазетой весь день, почти не выходя из казармы. Зато газетка получилась что надо!

Через два дня у нас снова марш походный. На этот раз всем батальоном идем и весь день идти будем.

Четыре часа утра. Чтобы не уснуть, хожу по казарме. Казарма аппетитно храпит. Койка моя, нетронутая, манит к себе. Хожу и думаю о тебе. Представляю подробности будущей встречи. Ты еще больше похорошеешь. Станешь женщиной. Сейчас ведь ты маленькая девочка, правда? Маленькая, тепленькая, золотистая девонька. Как ты спишь сейчас! И сны тебе снятся... Спи, спи, родная!

Шесть часов утра. Боролся эти два часа со сном героически. И глаза холодной водой мыл и на улицу ходил. Не заснул! Выдержал. Теперь через полчаса

надо подымать роту. Заорать надо: «Подыма-а-айсь!» Так, чтоб лягушками соскакивали. Потом выстроить на поверку, потом... потом целый день хлопот, суеты. На этом надо заканчивать. Я не имею права долго заниматься писанием, так как должен ходить из угла казармы в другой (у нас две двери). Сегодня жду от тебя письма. В нем ты уже будешь отвечать на мои вопросы о тебе. Вечером напишу еще, как только сдам дежурство.

Крепко целую свою любимую...

Борис.

25 декабря 1930 г.

...Эти дни до того перегружены событиями, что писать было некогда. События, конечно, не мирового, а нашего, армейского масштаба. Меньше даже — ротного масштаба. Но для нас это события.

Вот первое: 23-го днем, после обеда, мы мирно расположились чистить оружие, разобрали винтовки и калякали. Первый же взвод пошел в баню. Вдруг в самый разгар чистки в казарму вбежали ребята из первого взвода. Они бежали, как смерть, быстро и стихийно. По их лицам видно было, что случилось что-то. И они бежали молча.

— В чем дело? — закричали мы разом.

— В ружье!

Значит, тревога. Тревога днем. Для нас это было ново и тревожно. Началась суетня. Оцени положение: винтовки разобраны, один взвод в бане.

Через девять минут мы стояли, выстроившись, у казармы. Наша рота выстроилась раньше всех. Оказалось: учебная, полковая тревога.

На другой день был полковой марш на 20 километров. Тоже огромное событие. Прошли марш хорошо.

Нашему взводу, между прочим, пришлось заняться «саперным» делом: мост взорван, нужно замостить дорогу через небольшой ров. Дружно начали забрасывать ров камнями. Я думал: гору разберут — так дружно взялись. Потом рыли землю, перетаскивали артиллерию и т. д.

Третье событие: стрельба (первая!) боевыми патронами. Задание: всадить три пули кучно, чтобы они вместились в круг 25 сантиметров. Для меня это очень трудно, так как из-за того, что плохо вижу, беру то выше, то ниже. В первую стрельбу у меня одна пуля подвела. Легла высоко. Пришлось стрелять еще раз. Это немного обидно. Зато во вторую стрельбу (через полчаса) я хорошо посадил пули и выбил тремя патронами 19 очков.

Сегодня целый день работаю над газетой. Не брился уже десять дней. Газета выйдет на ять, но вложено в нее пота и сил больше, чем нужно...

. . . . . .

Ты хочешь приехать сюда? Это бы очень здорово было, но невозможно. У тебя десять дней перерыва, а путь ...возьмет минимум 8 дней, так как... автобусы ходят сейчас плохо...

Очень хочу тебя видеть. Часто думаю о тебе. Солнышко мое, вот днем не чувствуешь ли ты вдруг моего взгляда на тебе? Это в строю, или в поле, когда лежишь после перебежки, или когда на гору лезем, вдруг вспыхнет ярко мысль о тебе, о дорогой, о теплой,— и легко и хорошо становится.

Ты пиши чаще. Так часто, как первое время.

Бьют отбой. Спокойной ночи, родная. Крепко целую.

Твой Борис.

30 марта 1931 г.

...Пишу... на гауптвахте. Пугаться нечего: я не в роли арестованного, а, как говорят одесситы, «наоборот».

Всего арестованных, которых мы караулим... один человек. Тем не менее 8 часов из 24 приходится стоять во дворе с винтовкою в руке. На мое «счастье», ночью во время моей очереди шел дождь, потом колючий снег, все время сильный ветер.

Это весна...

Очень хочется спать, а еще три с половиной часа дежурства.

В роте, как мне сообщили, лежит твое письмо. Рота в пяти шагах отсюда, но пойти за письмом не имею права! Нельзя уходить из караульного помещения.

31 марта 1931 г.

(Продолжение письма от 30 марта)

Итак, ты едешь.

Это очень здорово. Я уже писал тебе, что с нетерпением жду от тебя вестей из совхоза. Ты, смотри, пиши подробно...

Спасибо за большие, за ласковые письма. У меня нет, к сожалению, возможности ответить тебе такими же большими письмами, но хочется написать тебе ласково-ласково, чтобы ты за три тысячи километров почувствовала, как сильно я люблю тебя. Смешно признаваться в любви на третьем году брака...

А мне не смешно. Мне это кажется таким естественным, словно мы не женаты, словно не переговорены еще все фразы любви, словно не испытаны еще мы в любви и разлуке!..

Ты права, родная, мы оба глупы, но плохо ли это? Впрочем, может быть, плохо: мы хотим друг от друга еще большего, чем каждый дает. Любовь каждого из нас так велика, что любовь другого кажется ему недостаточной.

И все заглушает желание видеть, встретиться... Я понимаю твое желание видеть меня в мае в Москве. Ой, боюсь, не выйдет! Но как хотелось бы быть вместе с тобой!

Впрочем, скоро ведь — через каких-нибудь 5—6 месяцев — мы будем снова и надолго вместе.

Ей-богу, если бы не желание быть всегда с тобой, я бы остался в армии. Военное дело мне нравится, и военная обстановка удовлетворяет.

Впрочем, я все еще писатель, а потому сам не знаю, чего хочу...

Борис.

7 апреля 1931 г.

...Итак, ты в совхозе [1], где кипит настоящая жизнь, где вертится великолепная машина работы, и ты ее незаменимый винтик. Это здорово! Конечно, ты уже вошла в курс всех совхозных дел: трактора, триера, семена...

Ужасно ученая будешь в области сельского хозяйства!

Все же ты мне еще мало написала о своей работе. Когда у тебя все уточнится, ты мне обязательно на-

[1] Курсовая практика Шуры Ефремовой проходила в одном из зерновых совхозов Поволжья, в самарских степях.

пиши подробно, что ты делаешь, чем способствуешь большевистской весне.

И потом: гарантируешь ли ты успех сева? То-то! Я тут всем говорю, что в этом году зерновая проблема будет уж навек решена, так как ты в совхозе. Так что ты не подкачай!..

. . . . . .

Ты просишь больше писать о себе. Ну, вот.

Никакое у нас не лето, а что-то дождливое и грязное. Вот сейчас мы проводим сбор военкоров (тактический) и приходится под дождем, по грязи бродить по горам и долам...

Очень много работы. И с каждым днем все больше и больше прибывает.

Вот сейчас ЛОКАФ [1] в полку надо организовывать. Вчера было совещание по художественной работе — требуют от меня текста для вечеров, для джаз-банда. Нужно выпускать радиогазету.

И при всем том боевая подготовка. Еще и еще раз боевая подготовка.

Вот и все о себе.

Настроение у меня в общем хорошее, и если бы не тоска по тебе, если бы не желание тебя видеть, ...то и вовсе было бы безмятежно...

Кроме тебя, мне почти никто не пишет. И я привыкаю к мысли, что В ТОМ СВЕТЕ, который за... дорогой, у меня, кроме тебя, никого нет.

Когда я вернусь ТУДА, мне, очевидно, придется начинать сначала обзаводиться друзьями и близкими... Но стоит ли?

ТЫ ОДНА ЗАМЕНЯЕШЬ МНЕ ВСЕХ. Ведь вот же твои письма заменяют мне переписку друзей, родных, товарищей по работе.

Пиши же мне по-прежнему часто и ласково, единственная моя.

Крепко и нежно целую тебя.

Твой Борис.

20 апреля 1931 г.

...Караулил в первый раз пороховые погреба.

Это был интересный караул.

Представь: ночь темная, черная, небо хотя и звездное, но тоже темное. Эта темнота еще чернее потому, что кругом горы. Они близки, шагаешь около них совсем во тьме...

Последняя моя смена была с 4 часов до 6 утра. Вернее, мне сказали, что я могу уйти с поста, как только станет светло (пост тут ночной, до рассвета). И я страстно ждал рассвета. Не потому, что хотел уйти с поста, а потому, что как-то не верил, что будет светло.

Горы так плотно и черно осели на меня, было так темно, что казалось, никаких сил солнца не хватит, чтобы с этой тьмой справиться.

И вот я всматриваюсь в восток. Ничего! Темь! Хожу по своему пути, лает лениво сторожевая собака. Она тоже караулит. Мигает синяя какая-то яркая звезда. Где-то шагает мой товарищ, часовой у артсклада. Блестит под единственным фонарем проволока заграждения.

Мы втроем караулим погреб: я, собака и проволока. Вернее, я караулю солнце [2].

И вот поют петухи. Помнишь «Шантеклер»? [1]. Хриплые... петухи вызывали солнце.

Ба-ба-ба... Вот за сахарной высоткой (так мы называем островерхую горку) на востоке что-то светлеет. Робко. О, да там подготавливаются великие события!

Серые тени поползли по горам, по земле. И все же тьма еще сильна. Светлеет, вернее, сереет... Край неба вдруг, а может быть, и не вдруг (я ведь слежу за небом украдкой, я часовой, мне поручен пост. Никого, кроме лающей собаки). Так вот украдкой брошенный взгляд замечает, что край неба чуть-чуть подгорел, как корочка хлеба. Нет, он совсем не румяный еще, а чуть поджаренный, золотистый, вкусный. Вот уже солнце брызжет лучами, становится светлее.

Так красноармеец 2 СКП Борис Горбатов укараулил для мира солнце! День был, как никогда еще, ясный и солнечный. И я был этим горд, как «Шантеклер»...

Твой Борис.

28 апреля 1931 г.

...У меня куча новостей. Ну, все по порядку. Прежде всего и раньше всего — боевая подготовка. Ты ведь помнишь, что у меня было слабое место: физкультура. Это мучило меня и как бойца и, главное, как коммуниста. У нас отметки: красное — хорошо, синее — удовлетворительно, желтое — слабо. И вот этакое желтое пятно среди моих красных роз! Чтобы получить синюю отметку, нужно преодолевать полевой городок, то есть прыгать с горки, не коснувшись оружием земли, перепрыгивать двухсполовинойметровую канаву, затем прыгать через заборчик, затем пройти по буму (бревно на столбах) и, наконец, большой забор — самое трудное. Нужно с первой попытки уцепиться за забор и преодолеть его. После этого проползти под проволокой 20 метров за 40 секунд, не порвав обмундирования и по всем правилам. Так вот, все это — с оружием — я чисто и благородно проделал. К своему и общему удивлению. Затем метнул гранату на 33 метра (раньше — 25—27), подтянулся на турнике 5 раз... одним словом, у меня нет больше желтого пятна.

Чувствую по этому поводу великое ликование.

Потом стрельба. Стрелять я стал последнее время удовлетворительно. Выполняю все стрельбы. На днях стрелял 5-е боевое упражнение. Сущность его: мы лежим в обороне. Винтовка НЕ ЗАРЯЖЕНА. Где-то впереди на 600 шагов появляется на 15 секунд мишень: подносчик патронов. За эти 15 секунд нужно (если вообще не прозеваешь появление мишени) зарядить винтовку, поставить прицел и поразить ее.

Если поразишь, сразу скроется, если нет, скроется в свое время (15 секунд), и тогда шагов на 400 уже появится вторая мишень. Нужно переменить прицел, перенести огонь и поразить эту. И, наконец, вправо появится маленькая мишень — поразить и ее.

Всего на все мишени — одна минута и шесть патронов. Ну, вот я и сбил самую дальнюю и вторую. Следовательно, отметка «хорошо» (одну цель — удовлетворительно, две — хорошо, три — отлично).

Если я еще выполню одну стрельбу, я получу звание классного стрелка. Не первого, конечно, класса. Но все же классного!

А комроты сказал, что тот, кто не получит звания классного стрелка, все равно что лишен голоса.

---

[1] ЛОКАФ — Литературное объединение Красной Армии и Флота.

[2] В это утро Горбатов впервые в своей жизни встречал восход солнца. Письмо было им написано под свежим впечатлением. Позже это письмо-новелла было использовано Горбатовым в романе «Алексей Гайдаш», героя этого произведения автор также поставил в караул у пороховых погребов.

[1] «Шантеклер» — любимая Борисом и Шурой пьеса в стихах французского поэта Эдмонда Ростана.

Так вот, таких лишенцев у нас будет много. Вот и все о моей боевой подготовке. К Первому мая я, следовательно, не имею хвостов и задолженности.

Теперь дальше новости.

26-го в полк нагрянул командующий армией. Устроил стрельбу смотровую, тактические учения — действовали по взводу от рот. Наш взвод не действовал, но я был при командующем как редактор. Одним словом, прорыв...

Позор, провал, катастрофа.

Стреляли вчера. И вчера же ночью я собрал свою редколлегию. Работали до 4 утра. Зато сегодня — утром у командующего — бюллетень о прорыве. В ротах наш бюллетень вызвал фурор. Вокруг него сразу мобилизовалось мнение бойцов. И в 12 часов дня на собрании полка командующий, размахивая нашей газетой, призывал к ликвидации прорыва. Мне он сказал много лестных слов. И вот сегодня опять будем работать ночь: выпускаем печатную газету к Первому мая.

Кроме того, мне поручено, как члену партбюро, составить обращение и т. д.

Вчера весь день был на смотровых занятиях. Много любопытного. После обеда за городом устроили занятия с начсоставом. Я должен был ехать в машине с командующим, но опоздал. Пришлось бежать в хозроту, брать верховую лошадь и ехать.

Представляешь себе: горы, прекрасная дорога, вечереет... Пять километров туда и пять обратно. Красота! Получил такое наслаждение, какого давно не имел. Происшествий никаких не случилось. А через город ехал даже молодцовски.

В общем, настроение хорошее. Физически чувствую, как крепну, устал только зверски. И спать, спать охота. Ну, да ладно. Зато смело могу сказать, что работаю по-ударному. И авторитет нашей газеты в полку высок. Кроме того, мы выпустили сегодня фотогазету.

У меня такое сейчас хозяйство: три фотогазеты, две световые, одна радиогазета, одна полковая многотиражка, двенадцать ротных и бездна ильичевок. Прямо газетный король нью-йоркский!

Тебе не надоело читать?! А мне так хочется похвастаться перед тобой, солнышко. В моей усталости одно утешение: что работаем хорошо...

. . . . . .

И казармой и военной жизнью, так же, как и жизнью вообще, всякой — интересной, полнокровной, мятущейся — я увлекаюсь, бросаюсь с головой в поток работы. Ибо иначе жить не могу.

Но я не могу жить и без другой любви. Любви к тебе и к своей писанине. Вот к литературе ты могла бы меня ревновать.

Но последнее время вы так часто сливаетесь в одно — ты и литература. А в «Жажде»[1] это в особенности будет.

Ах, солнышко мое, мне хочется еще наговорить кучу глупостей. Только ты не смейся. Однако надо приниматься за газету. Слет ударников кончился — я ведь забыл тебе написать, что пишу в кулуарах. Значит, сейчас соберется моя редколлегия, и, значит, снова целая ночь работы...

Твой Борис.

13 мая 1931 г.

...Получил твое письмо из Рязани, из нашей Рязани, города нашей любви[1]. Я не могу равнодушно слушать слово «Рязань», а в мае—июне особенно.

Завтра в 8 ч. выступаем. Сегодня только приехал из Батума[2]. Завтра... в лагерь[3]. С дороги напишу.

Дорога ...сейчас великолепна. Замечательно и пьяно цветут сады. Горы в зеленых коврах. А ночевка в поле! Костры, котелки, походная кухня, ружья в козлах, гармошка...

Потом, по ваго-о-нам!

Поедем через Сурамский перевал к морю. Между прочим, ехать придется и через 7-километровый тунель. Когда мы ехали в Батум, мы с командиром роты пошли на паровоз и через весь туннель ехали на площадке, что над фонарями. Ветер в лицо, темень, сзади паровоз, а мы словно висим, плывем в туннеле с факелом в руке. И весело, и вольно, и жутко чуть-чуть...

А потом море, великолепное, безграничное, изменчивое, которое ты так любила.

Мне здорово хочется, чтобы ты ехала со мной сейчас, чтоб вместе восхищались ночами кавказскими, горами, морем...

Борис.

19 мая 1931 г.

...Я хочу, крепко хочу стать таким, каким ты меня хотела видеть! Хочу сбросить обломовщину, стать подвижным во всех отношениях.

У меня на этот счет много планов. Армия воспитывает во мне то, чего не воспитала моя слишком нагруженная трудом юность. Воспитывает любовь к физическим упражнениям, к природе, к шумному обладанию ею.

Сейчас на очереди плавание. Это обязательно. Приеду домой — буду обязательно заниматься верховой ездой, лыжами и плаванием, стрелковым спортом. Ей-богу!

Замучу тебя хождением по всем окрестностям московским. Стану обязательным посетителем всех тиров.

Мне Ильенков[4] писал, что убил на охоте пяток уток. Следовательно, есть товарищ по охоте.

Вот каковы мои планы! И к черту тахту, диван и прочее.

Ты только не смейся, Шуренок. Ей-богу, у меня это сейчас самое интересное, приятное, и если я тебе слишком часто пишу о своих физкультурных успехах, то ты сама понимаешь, как это важно для меня!

Итак, после обеда — ах, как есть хочется! — еду верхом на почту. Еще 20 километров!..

Твой Борис.

2 июня 1931 г.

...Два дня не мог писать тебе потому, что были в походе. Большой двухдневный поход — первый из той большой серии, что ждет нас в течение лета.

---

[1] Первоначально свой будущий роман «Мое поколение» Горбатов предполагал назвать «Жаждой» (жажда жизни, жажда знаний, жажда любви...). Но название «Жажда» Горбатов дал написанной на тот же сюжет пьесе, однако долгое время, говоря о романе, который еще был «в чернильнице» и не имел нового названия, Горбатов называл его «Жаждой», добавляя при этом: «настоящей «Жаждой». В этом письме речь идет именно о романе «Мое поколение».

[1] С Рязанью связан важный период жизни и любви Бориса и Шуры. В течение полутора лет Шура жила с отцом в Рязани. Туда, в гости, несколько раз приезжал Борис. В Рязани в июне 1928 года они стали мужем и женой. Все письма Горбатова, опубликованные в 1955 году в № 1 журнала «Юность», адресованы Шуре в Рязань.

[2] В Батуме 8—12 мая проходила дивизионная партийная конференция, делегатом которой был и Борис Горбатов. Публикуемый на стр. 70 снимок сделан во время выступления Горбатова на дивизионной партийной конференции.

[3] 14 мая 2-й Стрелковый кавказский полк выходил в летние лагеря.

[4] Ильенков В. П. — писатель.

И то, что я не смог тебе, при всем желании, писать,— мучило меня несказанно. Я с грустью думаю о том, что ты все еще хвораешь, и я никак не могу тебе помочь. Я ждал ответа на телеграмму, но не получил. Зато сегодня пришло большое письмо от тебя, оно не успокоило меня, но зато я знаю, что твое здоровье не ухудшилось. А твое здоровье — сейчас основное, что волнует меня на фоне моей, в общем, безмятежной, регламентированной приказами и уставами жизни, в которую я втянулся... А для меня ты всегда была, есть и будешь единственной и самой дорогой девочкой, которую люблю неведомо как, о которой думаю всегда и особенно в походе, при трудностях.

Вот и во вчерашнем походе[1] много думалось о тебе. Я хочу тебе написать о нем. Мы вышли утром 31-го, сделали двенадцать километров в облаках пыли — впереди не видно ничего, только серые спины передних — и прибыли в район, назначенный для обороны. Хороший район! Горы все в зелени, но зелень эта весела только издали, вблизи она оказывается высоким, почти до груди, папоротником.

Тут расположились, сняли снаряжение и стали рыть окопы. Рыли с 12 часов дня до 12 ночи. Великолепные отрыли окопы! Работали весело и дружно. Соревнование разгорелось. В общем, наш окоп в роте занял второе место. Устали не чувствовали. Только к ночи стали сдавать. В 12 легли спать, выставив наблюдателей (по очереди). Я был назначен связным, следовательно, спал всю ночь. Не раздеваясь, на земле прямо, обернувшись нашей универсальной шинелью. Ночь наша короткая: в пять подъем. Позавтракали (походные котелки на пнях у окопов) — и вдруг: «Становись!»

Оказывается, наша рота получила «особую задачу», какую — не говорят. Двинулись. Прошли 5 километров — объясняют: выделена наша рота для наступления. Начали наступление. Знаешь, родная! Ведь 5 километров наступления в жару, по пересеченной местности, в снаряжении, в боевом темпе — это очень трудная работа после дня земляных работ. И тем не менее все до одного бойца прямо великолепно действовали и, главное, все очень довольны: никогда, говорят, не было такого веселого выхода в поле.

И как же прекрасно мы наступали! Сначала по берегу реки, надели на себя ветви — маскировка,— прямо индейцы племени дакотов. В реке рыбешка, раки, черепаха живая плавает. Потом через лес, по колено в болоте, потом через горы, по горло в папоротнике... И все время команда: «Нажимай! Вперед!» Ах, великолепно наступали! Получила рота оценку «хорошо» и благодарность командира.

Двое ребят, правда, дойдя до рубежа, свалились. Пришлось мне отводить их, нести их снаряжение.

Я дошел хорошо. Вообще чувствую, что походы мне не будут страшны. Ты напрасно пишешь, что я похудел, я, по общему мнению, да и сам это чувствую, потолстел безобразно. Вот ты сама скоро увидишь. Скоро! Ибо ведь через три с половиной месяца я буду с тобой. Ты хочешь этого? Да?

А уж как я хочу! Я так часто об этом думаю. И странно: это только помогает, а не «разлагает» меня. Недавно на партсобрании комиссар говорил в докладе много лестных слов обо мне как красноармейце и коммунисте.

Я изо всех сил стараюсь быть таким, как надо, мне это совсем не тяжело.

Армия проверила меня как большевика, хочу думать, что я стал лучше, чем был, и проверку выдержал.

Кончу службу — и вернусь к вам, в штатский мир, чтобы там работать и расти по-большевистски, вместе с тобой, рядом, моя комсомолочка, моя любимая. Только будь так же бодра, как я, так же крепка духом, думай обо мне так же часто, как я о тебе, люби меня так же крепко, как я тебя, и все будет великолепно.

Крепко и нежно целую.

Твой Борис.

24 сентября 1931 г.

Только сегодня закончил я сдачу экзаменов.

Масса дисциплин: тактика, инженерное дело, топография (проводил я маршрутную съемку!), оружие, уставы, стрелковое дело, артиллерия, политика, бронечасти, воздушный флот, химическое дело, стрелковая подготовка...

Одним словом, все сдано.

И сдано на отметку «хорошо». Только по топографии — «удовлетворительно», да и то за приложенную к съемке легенду получил отметку «хорошо».

Итак, могу смело считать себя командиром запаса.

Завтра зачитывается приказ об итогах испытаний. 25-го отдых, и утром 26-го выходим...

27-го в 12 часов 45 минут дня трогается наш эшелон на Москву.

Так что скоро увидимся. Сейчас идет партсобрание — переизбирают нас.

Завтра-послезавтра будет суматоха проводов, немного даже тоскливо уезжать, сроднились, сжились.

Но ты в Москве, и к тебе хочется скорее.

Завтра выпускаю газету в типографии, все эти дни сдавал материал.

Устал, в общем, но горд тем, что сдал хорошо экзамен — не подкачал.

25 сентября 1931 г.

(Приписка в письме от 24 сентября)

...Это — последнее письмо, теперь завтра я сам еду письмом к тебе.

Ждешь?

Крепко и нежно целую.

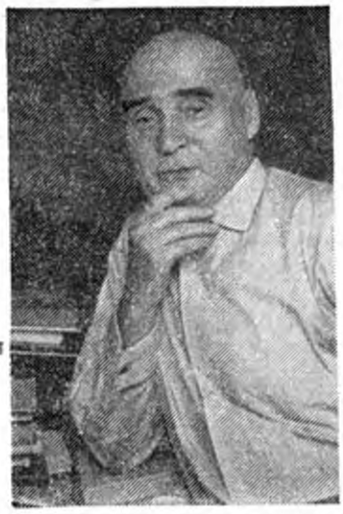
Буду думать о встрече все дни и ночи.

Борис.

---

[1] Перед военными маневрами в полку проводились двух-трехдневные тренировочные походы. В этом письме дано описание двухдневного похода, проходившего 31 мая — 1 июня.

Из прошлого



Н. ТАГУНОВ

ПЕРВЫЙ УРОК

Я хочу рассказать здесь о первой маевке, в которой участвовал. Было мне тогда всего семь лет.

Отец мой работал машинистом на Муромской бумаготкацкой фабрике, а дядя, брат матери, Александр Никифорович Обмайкин был его помощником. Этот дядя Саша — один из организаторов Муромского комитета партии, он и проводил маевку.

Я очень любил его, дядю Сашу. Он мне дарил цветные карандаши и бумагу. А я пароходы рисовал. Жили мы во дворе фабрики, и, как все другие фабричные ребята, я рано начал понимать рабочую жизнь. А маевка осталась мне памятной навсегда, да, по правде сказать, с нее и началось мое серьезное обучение.

Дело было так. Отец нас, маленьких — меня, семилетнего, и братишку постарше, — запер в квартире на ключ снаружи, чтоб мы не выходили. И мы в окно увидали, что дядя мой фабрику на маевку вывел; он с подмастером Румянцевым стоит на ящике из-под шпуль и с рабочими разговаривает. Рабочих полон двор. Подмастер под пиджаком держит красный флажок на древке с золотой круглой головкой и острием.

Взмахнул флажком с высоты — и рабочие песни запели. Вдруг через весь двор сквозь толпу расступившихся работниц на тачке механика Константина Николаевича Засухина везут. Да все улюлюкают и хохочут. «В Оку его, — говорят одни,— в Оку!», а другие: «В мусор, на помойку!». Этот механик штрафами одолевал рабочих. Грубиян был, к девушкам нехорошо приставал. А нас, детей, ненавидел. Если шапку не снимешь перед ним, хоть и поздороваешься, за уши драл.

Ну как тут нас в такой народный праздник взаперти удержать! И мы с братишкой вылезли через окно каморки, где у папы и старших братьев стоял столярный верстак и токарный станок. По водосточной трубе спустились во двор — и прямо к дяде Саше, то есть к ящику, на котором он стоял. А я так даже на ящик забрался. Обласкал он меня, по волосам погладил.

Народ тронулся, и мы, мальчишки, побежали впереди демонстрации. Шли от бумаготкацкой фабрики к маслобойному заводу Суздальцевых — Ушаковых. Конечно, мы первые шмыгнули в подворотню, за нами рабочие, побежали все в цехи, стали рассказывать, что вся

Записка Е. Д. Стасовой Н. Н. Тагунову

Дорогой Никифор Николаевич! Я прочла присланные Вами воспоминания о дореволюционной маевке — «Первый урок». Мне думается, что хорошо было бы их немного литературно обработать и занести в журнал «Юность» или передать туда через Михаила Савельевича Рутэса, заместителя директора Музея революции. Такие воспоминания, по-моему, очень полезны для нашей молодежи. Они ясно показывают, как происходили демонстрации в дореволюционное время и как даже малые ребятишки помогали взрослым. А кроме того, в них рассказано, какое живое участие приняла партия и Владимир Ильич Ленин в судьбе мальчика, пострадавшего во время преследования революционных рабочих полицией.

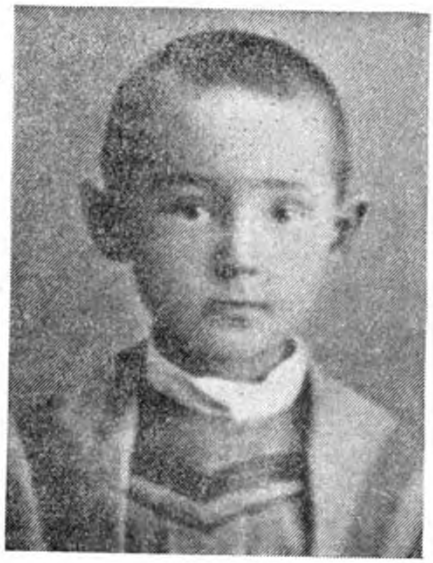
«Юность» — популярный и любимый молодежью журнал; опубликованные в нем воспоминания станут широко известны молодежи.

Елена Стасова

наша фабрика вышла на улицу и фабричные зовут маслобойщиков присоединяться. Маслобойщики стали выходить из цехов, а ворота сторожа заперли снаружи на замок. Ну, на них нажали всей массой и вышибли. И все пошли по Спасской горе в город присоединяться к Валенковскому заводу. А он уж вышел на Касимовскую улицу.

Шли в гору и пели: «Вставай, поднимайся, рабочий народ, вставай на борьбу, люд голодный!..» Тут и я научился петь рабочую «Марсельезу». Только когда пели: «Раздайся клич мести народной»,— слов «клич мести» я не понимал, а думал поют «клейсмейсель» — зубило такое, которым чугун рубят да канавки вырубают. Его-то я знал: у отца было такое зубило. Рабочие пели, гневно сжимая кулаки, и мне казалось, что у них в руках клейсмейсели, а у меня клейсмейселя не было, и я сжимал в кармане перочинный ножик. А когда на Касимовскую улицу вышли, там уже много тысяч народу было. И вдруг засвистели пули. Это казаки стали обстреливать демонстрацию из винтовок со стороны Московской улицы.

Рабочие-организаторы поднимались над толпой, опираясь руками



Н. Тагунов в 6-летнем возрасте.

на плечи товарищей, и призывали: «Соблюдайте спокойствие. Рассыплемся кто куда, а потом соберемся у тюрьмы».

И демонстрация как будто растаяла после обстрела. Все рассыпались в разные стороны, а через 2—3 часа снова собрались, но уже около тюрьмы, и направились к Окскому садику. Но оттуда выскочили полицейские во главе с исправником Лучкиным, стали стрелять из револьверов и накинулись на демонстрантов с обнаженными шашками. Исправник Лучкин рассек щеку девушке-школьнице Будкевич.

Организаторы снова стали призывать демонстрантов к спокойствию, предложили вторично рассыпаться и к вечеру собраться в Гофманском саду, близ ремесленного училища.

Мы, мальчишки, кубарем скатились с Воеводской горы и мимо водокачки направились в Гофманский сад. Там на качелях, на длинной доске, качался парень в пунцовой рубахе, пиджак его лежал на траве. Мы увидели, как к качелям подъехали два казака, видно, хотели его забрать. Он сильно раскачал качели, с разгона доской вышиб из седла одного казака и бросился бежать. Другой казак спешился, наклонился над упавшим с лошади сотоварищем, помог ему подняться и сесть на лошадь, и оба казака погнались за убежавшим мастеровым в пунцовой рубахе. Вдруг видим, из кустов выходят улыбающиеся организаторы, рабочие, говорят: «Теперь казаки не вернутся». Со всех сторон

Много рабочих маевок, демонстраций и забастовок проходило в царской России в начале нынешнего века. Картина художников В. Н. Говорова, Г. М. Княжевского и Ф. М. Кулагина (из фондов Государственного Музея Революции СССР) воспроизводит всеобщую забастовку иваново-вознесенских ткачей летом 1905 года.

из-за деревьев и кустов стали появляться пришедшие на массовку рабочие и работницы.

Организаторы увидели нас, мальчишек,— мы пришли вдвоем с Васькой Балновым, сыном фабричного сторожа, моим другом детства,— и говорят: «А вы как сюда попали, малявки?» Мы отвечаем: «Как же, раз сказали рассыпаться и собраться, мы рассыпались и собрались».

Подмастер Румянцев, увидев нас, сообщил: «Это наши фабричные ребята». Он о чем-то тихо поговорил с организаторами, потом подозвал нас с Балновым. «Вот что, ребята,— сказал он,— фабрика оцеплена казаками. Но вас они пропустят. Идите в «волышку» (так называлось рабочее общежитие во дворе), скажите всем женщинам, чтоб вышли на улицу встречать мужей, сыновей, которые будут возвращаться домой, и предупредили, чтобы те туда не возвращались. Вечером, возможно, нагрянет полиция с обыском, всех могут арестовать и посадить в тюрьму».

Мы с Васей бросились выполнять это поручение. Но подмастер Румянцев вернул нас. «Только вот что,— сказал он,— вы казакам не говорите, что отсюда идете и что здесь собрание. А скажете, если спросят, что возвращаетесь из деревни Орлово. Туда вас послал отец передать мужикам, чтоб привезли картошки. Поняли? Иначе вас казаки не пропустят, а если узнают, что вы весь день с рабочими на массовке были, самих вас побьют и арестуют».

«Поняли»,— ответили мы и побежали.

Только спустились со Спасского съезда к фабрике, как на нас набросились двое казаков с нагайками. У них в эти плети-нагайки зашиты медные пятачки, да по два, по три сразу. Ударом плети казак голову проламывал. Мне чуть-чуть по плечу досталось. А Ваську, друга моего Балнова,— годиком старше меня он был, ему шел девятый,— казак с размаху по спине хлестнул. Вася упал и два раза перевернулся от боли. С тех пор на всю жизнь у него метка на спине осталась. Мне же больно было на копейку, но плакал и кричал я на три рубля, чтобы еще раз не ударил. А казак оголил шашку, замахнулся на меня да и кричит: «Куда ты, жиденыш, иродово отродье?» У меня волосы черные, курчавые, и он принял меня за еврейского мальчика. А я говорю, что я не жиденыш, а машинистов сын и иду домой. А Васька — сын сторожа. Мы при фабрике живем. «А где вы весь день шаманили?» — крикнул другой казак, снова замахиваясь нагайкой.

Мы сказали, как научил нас Румянцев, что идем из деревни Орлово, куда посылал нас отец рано утром к мужикам, чтобы они картошки привезли. Посмотрел казак на нас, штаны и сапоги наши были запылены от ходьбы с демонстрацией — видать, поверил, что мы из деревни, взмахнул нагайкой. «Гэть,— говорит,— чтобы и духу вашего тут больше не было!»

Мы помчались прямо в «волышку» и, как нам было поручено, все рассказали кухарке и женщинам — их тут четыре было. Они ахнули и побежали предупреждать мужей, чтобы не возвращались в общежитие. А кухарка Маша усадила нас за стол. Говорит: «Мужики все равно не придут»—и наложила нам большую деревянную миску каши-сливухи (пшенной). Постным маслом помазала да маленьких кусочков сала свиного накрошила. «Не пропадать,— говорит,— добру, а то полицейские с казаками придут да сожрут трудовое-то».

Мы так наелись этой каши, что нас сразу ударило в сон, и мы пошли лечь на нары. Но в это время в общежитие ворвались полицейские и казаки во главе с исправником Лучкиным. С криками и бранью они стали чего-то искать, переворачивали постели рабочих, шашками взрезали подушки, кололи их. Перья летели густым облаком — ведь в общежитии жило более ста рабочих.

Тот же самый казак, который порол нас нагайкой, увидев меня, закричал: «Ты опять тут, иродово отродье!» — и размахнулся шашкой, но кухарка Маша схватила меня, накрыла своим фартуком и говорит казаку: «Чего дите губить. Бей по мне. Это ж Натальин сын». Казак отстал.

Когда полицейские и казаки перерыли постели и ничего не нашли, они собрались все к столу. А в это время с террасы через окно боевики-дружинники бросили в них две бомбы. Стены затряслись. Посыпалась с потолка штукатурка, доски. Маша как держала меня под фартуком, так вместе со мной и упала. После взрыва вытащили из-под обломков трех изуродованных полицейских и казака. Маша отделалась испугом. Друг мой Вася, когда ворвались полицейские, забрался в кухонный шкаф и поэтому остался цел и невредим. А меня подняли в бессознательном состоянии с поломанным ребрышком. Я был контужен и придавлен. Пролежал я без сознания восемнадцать часов. Пришел в себя, вижу: лежу дома на сундуке, а на голову мне льют ледяную воду. Мать плачет, а отец стоит, закуривает трубку. Увидел, что я очнулся, и говорит: «Ну, мать, жив будет». И ушел на смену.

А я потом долго болел. Оказалась травмированной центральная нервная система. Я пугался каждого стука двери, бегал прятаться под кровать, почему-то появилась водобоязнь.

Этот случай со мной — сыном Натальи, жены муромского машиниста Тагунова с бумаготкацкой фабрики — стал известен Владимиру Ильичу Ленину. И он поручил представителям Центрального Комитета партии в России, чтобы сына Натальи во что бы то ни стало вылечили, взяли на попечение партии и воспитали. И меня лечили по советам партийного подполья из Петербурга. Там получали указания от профессоров и советы пересылали через Казань.

А для меня этот случай был первым серьезным уроком, который учил жить.

А. ЛЕВИНА

Личная форма глагола

Рисунки В. Инютина.

Десять лет назад, когда я еще была студенткой практиканткой, мне поручили записать воспоминания одной старой большевички. Мне казалось, что я выполнила все тщательно и точно. Но когда через несколько дней я прочла ей свою запись (сама она видела очень плохо), она сказала со вздохом:

— Странный у вас язык, у нынешней молодежи. Не только у тебя, у многих. И в печати сейчас то и дело читаешь: «построено», «внедрено», «добыто», «в таком-то году сделано», «засеяно». Ну что это за безличный язык такой? Построено кем? Добыто кем? Кто внедрил? Кто засеял? Нет, в наше время так не говорили и не писали. Мы старались по-ленински подчеркнуть человека. «Крестьяне Полтавы посеяли», «Рабочие Москвы построили», «Рабочие Курска добыли». А теперь большей частью «добыто» да «построено». Революция не учила нас такому языку.

Надо честно признаться: тогда я восприняла это замечание как чисто стилистическое, до меня не дошел глубокий, я бы сказала, символический смысл этих слов.

Но вот жизнь перевернула новую страницу. И сегодня, разговаривая с людьми на стройках и заводах, я вижу, как возвращается и все шире укрепляется в жизни это стремление по-ленински подчеркнуть человека.

Я часто вспоминаю слова старой большевички. И в этих заметках хочу рассказать, как в нашей жизни снова звучит в полный голос личная форма глагола.

«ПОПРОШУ ПРЕДСТАВИТЬ СООБРАЖЕНИЯ...»

Передо мной синяя папка с надписью «Общественный институт совершенствования производства. Дневник рабочего-исследователя».

«Рабочий», «Исследователь». Издавна каждое из этих слов имело определенный, закрепленный опытом жизни смысл. Рабочий — это тот, кто производит что-то собственными руками, применяя физическую силу. Исследователь — ученый, представитель умственного труда.

«Рабочий-исследователь» — в одном только сочетании этих слов уже заключена целая революция. Вероятно, эти два слова объединял в себе древний гончар, который сам мял и мочил глину, определяя ее состав, и размышлял, как лучше приладить круг, чтоб удачней вышел сосуд.

Веками с тех пор эти слова разъединялись, все дальше и дальше уводились друг от друга.

Еще Маркс писал: «Как в самой природе голова и рука принадлежат одному и тому же организму, так и в процессе труда соединяются умственный и физический труд. Впоследствии они разъединяются и доходят до враждебной противоположности».

Да, они долго жили отдельно и даже враждебно - противоположно — рука и голова. Но рука, даже самая сильная, слабеет, тупеет, мертвеет без искры, которую посылает ей мозг; а ум, даже самый острый, блекнет, засыхает без опыта, идущего к нему от мускулов руки.

И вот они снова вместе — голова и рука. Исследовать, находить корень, основу явления, осмысливать его, улучшать будет один и тот же человек, он же рабочий, он же исследователь.

Передавая мне «Дневники рабочих-исследователей», технолог велосипедного цеха Кировского шинного завода Ирина Алексеевна Василискова так рассказывала о проведении последнего опыта: «Особенно интересная у нас была работа по испытанию новой смеси: мы попросили рабочих изготовить из нее варочные камеры, поработать с ними и представить свои соображения».

«Представить свои соображения» — мы привыкли видеть эту фразу в виде резолюции, наискосок начертанной на бумагах, пересылаемых от одного начальника к другому: «Тов. Н.! Попрошу представить соображения по этому вопросу». Но вот эта фраза направлена совсем по другому адресу — к рабочим. От них требуется не просто «изготовить 100 камер», или «собрать 20 шин», или еще что-то там, а именно ПРЕДСТАВИТЬ СВОИ СООБРАЖЕНИЯ.

Целыми вечерами сидела я и,

не отрываясь, как самую увлекательную повесть, читала собранные вместе в толстые папки «Дневники рабочих-исследователей».

Это и вправду была своеобразная производственная повесть. Но повесть не о том, как заменить плетенку одиночной проволокой, или наладить окраску велошин, или уменьшить содержание натурального каучука в смеси.

Нет, это была повесть о достоинстве и самоуважении рабочего человека, о том, как зарождается в рабочем, особенно молодом, чувство хозяйской ответственности, умной заинтересованности его в общем деле, повесть не о показном, а о глубинном, истинном внимании к личности рабочего.

Каждый «Дневник рабочего-исследователя» начинается с двух главок: «Цель работы» и «Порядок проведения работы».

К рабочему обращаются за советом и помощью — его просят:

«ОПРЕДЕЛИТЬ ВЛИЯНИЕ добавки мягчителя на смесь» [1],

«выпустить из опытной резиновой смеси варочные камеры и ДАТЬ СВОИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ»,

«ДАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКУ технологических свойств резиновых смесей при выпуске протекторов»,

«провести пробную сборку опытных покрышек, при этом ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, как выравнивается первый браслет, и на качество сквиджа [2] в валках.

«ОПРОБОВАТЬ СБОРКУ автопокрышек без надбреккерной резины, обратить особое внимание на поведение бреккеров [3] при сборке. ДАТЬ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ, что нужно сделать в дальнейшем, при массовом выпуске автопокрышек».

К рабочему обращаются, как к ученому, с полной уважения уверенностью, что он сможет все это: и ДАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКУ и ОПРЕДЕЛИТЬ ВЛИЯНИЕ.

И он оправдывает эти надежды, эту уверенность. Удивительно радостно читать в «Дневнике» рядом с цифрами замеров и кривыми графиков эти категорические записи, сделанные разными почерками и с разной орфографией, но с общим чувством важности собственного мнения.

«МОИ НАБЛЮДЕНИЯ ПОКАЗАЛИ, что добавка масла не ухудшает показатели смеси: СЧИТАЮ НУЖНЫМ вводить в смесь масло. Вальцовщик В. Волжанкин».

«Пробные варочные камеры сменил в 9.00. Идут отпечатки. Я ДАЮ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Вулканизаторщик Хасым Хайрутдинов».

«Смесь сильно прилипает к нижнему транспортеру, много идет посторонних, но РАБОТАТЬ, ПОЛАГАЮ, МОЖНО. Карпов».

«Я от всех вулканизаторщиков и от себя лично ДАЮ МНЕНИЕ: нам не нужны такие камеры. Скачков».

«Кромки сквиджа в валках сильно слипаются, и много сквиджа уходит в брак. МЫ ЗАМЕТИЛИ,

что лучше себя ведет сквидж № 39. Комаровская, Калугина, Шумакова».

«При серийном пуске вискозного корда ПРЕДЛАГАЮ обязательно установить на закройном столе электроножи для обрыва корда. Попова».

«При сборке опытных покрышек Я ЗАМЕТИЛ следующее: 1) корд грубый, браслеты имеют плохую клейкость, 2) при серийном выпуске надо будет тщательно промазывать клеем. Сборщик Королев».

«Протектор, ПО-МОЕМУ, должен быть толще. Сборщик Симонов».

Кто они, эти люди, которые так твердо, с такой глубокой уверенностью в ценности их мнения, их участия, пишут: «Мои наблюдения показали», «даю заключение», «предлагаю», «полагаю», «считаю нужным», «надо», «по-моему», «я»...— ученые, кандидаты наук, лаборанты? Нет, это рабочие-исследователи, участники общественного института совершенствования производства. И, читая их записи, я не раз вспоминала слова старой большевички и думала: как жаль, что она не может прочесть их сама и порадоваться тому, что возвращается в нашу жизнь и язык личная форма глагола.

Когда рабочего человека спрашивают, когда к нему обращаются за советом и помощью, за его соображениями и опытом, ему доверяют, да разве же после этого он нарушит состав смеси, или превысит минуту режима, или не смонтирует узел вовремя? Да он «в доску расшибется», а все сделает, проследит, испробует и так и эдак, проверит, смонтирует, сам, наконец, придумает. Ведь это ж свое, кровное дело, в котором ты, как равный, принимаешь участие.

Вот почему на Кировском шинном заводе технические новшества внедряются быстрее, чем на других.

«Внедрение» — вот тоже слово, которое мы употребляем часто, не вникая в его смысл. «Внедрять», то есть привносить откуда-то извне, вглубь, внутрь, в недра. А здесь чего «внедрять»? Здесь все это из самих же недр, из гущи рабочей и идет — и новая техника и технология — свое, понятное, здесь либо придуманное, либо опробованное, здесь, в недрах рабочих умов, это рождается, здесь прорастает и при таких корнях дает быстрый плод.

Вот откуда эти цифры, удивляющие специалистов: новая шприцмашина смонтирована на месте старого каландра и пущена в какую-то неделю (обычно это тянется месяц), новая смесь освоена за месяц (обычно на это уходит полгода) и т. д.

Но недаром говорится, что все познается в сравнении. Может быть, особенно я оценила общественный институт совершенствования и вообще весь стиль жизни на Кировском шинном, когда здесь же, в Кирове, попала на другой завод, — комбинат «Искож».

В новом цехе цветной резины — светлом, огромном, с движущимися конвейерами и новейшими вулканизаторами — поражало обилие молодых лиц. Но старший мастер Августа Андреевна Герасимова не радовалась этому.

— Цех новый, ну и прислали нам целый выпуск ремесленного училища — сто восемь человек. Что с этим молодняком делать? Прямо беда! Ветер у них в голове и вообще что угодно, кроме производства. В цехе брак превышает всякие нормы, никак не можем наладить конвейеры, а тут что ни день, то «ЧП». Одна устроила скандал в общежитии — пришлось выселять, другая нагрубила мастеру — объявили выговор, третья травилась от несчастной любви. А в цехе — неполадки за неполадка-

---

[1] Все подчеркивания в дневниках сделаны мною.— А. Л.

[2] Сквидж — резиновая прослойка.

[3] Бреккер — листовая резина.

ми, уже сколько месяцев, как пущен цех, а все еще проектной мощности не достигли. Но им до этого словно и дела нет.

Я хотела продолжить разговор с Августой Андреевной после смены. Но оказалось, что после смены — совещание: она только вчера вернулась с Украины, ездила в командировку на родственное предприятие и должна доложить товарищам, что там увидела: цех цветной резины работает уже давно, процесс хорошо отлажен, и есть чему поучиться.

— Ну, что же,— сказала я,— тем лучше, тогда встретимся на собрании.

Я ожидала увидеть в просторном красном уголке всех рабочих цеха, всех сто восемь девчонок (с которыми «каждый день «ЧП») или хотя бы половину из них (поскольку вторая смена заступила на работу).

Но на стульях первого и второго рядов в пустынном красном уголке сидели десять человек: мастера смены, инженеры, контролеры — и больше никого.

— Почему вы не позвали на этот доклад работниц?—спросила я Августу Андреевну Герасимову.— Ведь вы же будете рассказывать о причинах брака?

— Ну что вы, зачем? — удивилась она.—Сначала должны досконально разобраться в своем кругу мы, ИТР.

«В своем кругу!..»

Я вспомнила, как буквально за день до этого я присутствовала на соседнем заводе — шинном (их разделяет только забор), на другом собрании.

В цехе велосипедных шин, тоже сплошь молодежном, сборщицы слушали доклад рабочего-исследователя Вали Широковой «Влияние брака на сборке на качество покрышек».

Много, много вечеров просидела Валя в отделе технического контроля вместе с контролерами, разбираясь в причинах брака, у машины, определяющей «ходимость» шин, и вот теперь она не просто называла цифры и фамилии, «кто сколько напортачил», а давала самый настоящий научный анализ каждого случая брака: как, отчего, на какой стадии он появился, к чему может привести.

И девчонки-сборщицы, прибежавшие в красный уголок прямо со смены, в своих синих полукомбинезончиках, из карманов которых торчали ручки инструментов для подгонки (как у настоящих мастеровых людей, тщательно обернутые кожей), слушали Валю придирчиво, можно сказать, «слушали руками». Их черные, перемазанные краской пальцы шевелились и как бы непроизвольно повторяли то, о чем говорила Валя.

Потом начались споры, возражения, обсуждение... А в стороне, стараясь оставаться незамеченной, сидела Ирина Алексеевна Василискова — технорук цеха. Она не вмешивалась. Зачем? Все хорошо,

пусть поспорят, подумают, пусть расшевелятся, научатся рассуждать сами: это лучше всего поможет в борьбе с браком.

И вот теперь я сидела в красном уголке другого завода и слушала, как со знанием дела Августа Андреевна Герасимова рассказывала, отчего у них бывает недопрессовка и рыжие пятна, а у украинцев не бывает.

Она говорила, как много зависит от организации рабочего места на сортировке. Она демонстрировала отличные подметки, изготовленные на украинском заводе, и подробно разбирала, что, на каких операциях нужно перенять у украинцев... И слова ее звучали особенно громко оттого, что отскакивали от пустых стульев, которых было в десять раз больше, чем занятых. Пустые стулья... на них могли и должны были сидеть девчонки, те самые, с которыми каждый день что-нибудь случается, те самые, что по невнимательности и полному отсутствию интереса к делу как раз и допускают недопрессовку и рыжие пятна и не умеют организовать рабочее место на сортировке...

Как знать, может, если б они были тут и слышали этот рассказ и сами держали в руках отличнейшие украинские подметки, может, и у них стало бы поменьше «ветра в голове», а мозги и душа их как-то повернулись бы к неотлаженному конвейеру и захотелось бы, чтоб брака у них было если не так мало, как у украинцев, то хоть все-таки меньше.

Но стулья зияли своими пустыми, незрячими сиденьями — девчонок не было. Они были за чертой некоего магического круга, в середине которого было написано: «ИТР». ИТР пожелали разобраться без них, полагая, что задачи, которые они ставят, можно решить «в своем кругу».

Два этих кировских завода — шинный и искусственных кож — соседи, их разделяет всего лишь тонкий дощатый забор. Но когда раздумываешь над отношением к молодежи на одном заводе и на другом, понимаешь, что их разделяет нечто гораздо более значительное, чем этот заборчик.

После экскурсии на «Искож», как после экскурсии в прошлое, еще глубже понимаешь, какое это современное, ленинское дело — общественный институт совершенствования производства.

ТЕБЯ ПРИНИМАЮТ В РАБОЧИЙ КЛАСС

Отдел кадров... Кадровик... Эту фигуру, сидящую за непроницаемой дверью, обитой клеенкой, считают фельетонной. Эдакая фигура, которая принимает в электрики, ничего не понимая в электричестве, и в каменщики, не зная кладки, но зато отлично разбирается в анкетных бабушках и прабабушках. Она зачисляла человека на работу и отправляла его в цех. И все.

Следующая встреча происходила только в том случае, если по каким-либо причинам надо было оформить увольнение.

А вот тебе, если ты работаешь на станке или сидишь у конвейера, тебе как раз и предстояло с

новичком, этим совершенно неизвестным тебе человеком, встречаться ежедневно, трудиться бок о бок. Он мог стать твоим помощником или помехой — и наверняка тут ты и узнавал настоящую цену новичку. Но нередко это было уже поздно, потому что он оказывался лентяем и нестоящим человеком при полном анкетном благополучии бабушек и дедушек и его уже зачислил отдел кадров. И тут ничего не поделаешь: ты рядовой, и тебя не спрашивают, кого принимать на работу, а кого не принимать.

А что, если поступить иначе, а что, если взять да и спросить?

«Общественный отдел кадров» — это сочетание слов звучит еще непривычно для нашего слуха, но с каждым днем таких отделов становится все больше, и, видимо, близится время, когда только такие отделы кадров и останутся на наших заводах. Пока у них нет никаких правил, уставов, ритуала; на каждом заводе и фабрике они действуют по-своему. На одних — в таких отделах кадров новичка принимают старейшие рабочие, заслуженные пенсионеры, рассказывают ему о прошлом завода, расспрашивают о склонностях; на других — комсомольцы следят за ростом молодых специалистов.

Мне лично больше всего понравилось, как организовано это дело на московской швейной фабрике «Большевичка». Здесь на работу принимают непосредственно в бригадах.

Как это происходит? Обычно заранее известно, что в такую-то бригаду требуется, скажем, мотористка или гладильщица. И новенькую, которая зашла в отдел кадров спросить, не нужны ли работницы, сразу же направляют в бригаду, как здесь говорят, «для знакомства».

Ей показывают цех, конвейеры, на которых ей предстоит работать, если ее примут. А потом бригада на пять минут выключает конвейер, все собираются, и новенькую ставят опять-таки, как здесь говорят, «на центр», то есть в проход между конвейерами, и тут начинается знакомство. Члены бригады вправе задать любые вопросы. И надо прямо сказать: их меньше всего интересуют ее дедушки и бабушки. Ее спрашивают, где и как она работала до этого, почему оттуда ушла. Придирчиво оценивают причину ухода — далеко ездить, ну, этому надо посочувствовать. Но бывает и так, что, разглядев в девчонке летуна, который за полгода меняет уже третью фабрику в поисках более легкой жизни, решают ее не принимать и говорят сразу: «Нам такие не нужны. И у нас надо работать, а не баклуши бить. Иди туда, где последний раз работала, и там поучись еще».

Но такие случаи редки. Чаще, посовещавшись, бригада решает: принять.

И вот через несколько дней девчонка является уже как бы в свою, знакомую бригаду. И те, кто принял ее, уже не могут, как это иногда бывало, забыть о новенькой, предоставить ее самой себе. Ведь ее не просто в бригаду зачислили. Ее приняли в рабочий класс. И ее обучают особенно тщательно, ревностно, спрашивают, нравится ли в их бригаде, по душе ли операция, на которую поставили.

То же и с увольнением. На многих предприятиях это дело решается обычно помимо бригады: повздорил человек с мастером или дома какие-то нелады, подал заявление в отдел кадров «по собственному желанию» — и все тут. А соседки по бригаде иной раз узнают об этом, когда человека уже и след простыл. «Что это сегодня Семенова не вышла?» «Так она ж уволилась». «Разве? А я и не знала. Мне и ни к чему...»

А здесь, на «Большевичке», «к чему», и очень даже «к чему».

Если ты надумал уволиться с фабрики, ты прежде всего должен опять-таки рассказать об этом в бригаде. И снова ты выходишь «на центр», и снова тебе задают вопросы. В чем дело, почему ты хочешь уйти из коллектива? Бригаде это небезразлично. Может, они что-то сделали не так, что-то проглядели? Разные бывают причины. Вера учится. Ей все время надо работать в первую смену, потому что занятия в институте вечером. А работа в цехе двухсменная. И вот она решила искать себе такую работу, где была бы занята только днем. «Не отпустим! — решает бригада.— Это можно устроить». И для Веры добиваются станка в экспериментальном цехе, где работа в одну смену. Другой не с кем оставить малыша — и все-таки бригада не отпускает ее. «Еще раз попробуем добиться места в яслях». И добиваются, и работница остается.

Этот новый порядок найма и увольнения породил уже и свои какие-то документы.

В отделе кадров (который несет теперь на заводе чисто регистраторские функции) мне показали бланк, с которым новичок отправляется в бригаду «на знакомство». «Направляем вам для обсуждения на собрании бригады товарища такого-то. Ваше решение по вопросу принятия товарища такого-то просим представить отделу кадров для издания приказа о зачислении».

И поперек, как резолюция самого важного начальства, начертано это решение: «Считаем возможным зачислить товарища в нашу бригаду»...

Я вчитываюсь в это «мы считаем» и снова радуюсь уверенной прочности личной формы глагола.

ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ

Надолго запомнилась одна сцена на Челябинском тракторном, хотя было это давно — лет десять назад.

После смены на участке зачитывали приказ о введении новых норм. Представитель БТЗ — бюро труда и зарплаты — долго и нудно перечислял какие-то цифры, проценты по всем видам профессий, даже тем, которых на этом участке и вовсе не было. И когда это чтение закончилось и все молча и как-то сумрачно вышли на заводской двор, паренек в кепке с пуговкой почесал затылок и сказал:

— И-ех! Понять ничего не понял. Техникой не обеспечили, а новые нормы спустили...

«Спустили новые нормы»— этим выражением парень как бы подчеркнул, что нормы исходили откуда-то сверху, едва ли не с заоблачных высот, словно «спускались» на парашюте, и уж раз так, то, разумеется, рядовому рабочему нечего и думать их обсуждать или предлагать что-то в них изменить. «Спустили нормы» — и точка.

И вот я разговариваю с человеком, общественная должность которого звучит совершенно непривычно: председатель ОНБ — общественного нормировочного бюро. Опытнейший радиомонтажник, он хитровато-весело щурится, рассказывая о своем ОНБ.

— Видите.— Отложив паяльник, он тыкает пинцетом в сумасшедшее переплетение разноцветных проводов, конденсаторов, сопротивлений, где поблескивают серебряные капельки паек.— Видите, я эту пайку могу быстро сделать и плохо, могу медленно, но хорошо, а могу и хорошо и быстро. По-всякому могу. И поэтому когда рядом со мной ставили Тамару — эту девочку с хронометром в руках, мне, извините, было смешно. Ну что она знает? Она знает свой хронометр — и все. Я могу эту пайку быстро сделать, могу медленнее. А она все равно ничего не поймет. Она засечет время — и все. В общем, я хозяин этого хронометража, а не она. Потому мне и было смешно. Ну что ко мне эту девчонку ставят? Лучше б спросили: за сколько ты, опытный монтажник, можешь собрать эту схему? Разве же я по-честному не ответил бы?

И вот пришел черед — спросили.

Все так же хитровато улыбаясь, он разворачивает передо мной папку с протоколами заседаний ОНБ. Но пока что гораздо больше, чем протоколы, меня интересует его рассказ...

— Так вот. Как у нас теперь дело поставлено? Приходит, скажем, новая схема. Дают ее на сборку опытному монтажнику, ну, иногда и мне. Выражают человеку полное доверие: определи, за сколько ее можно собрать. И уж тут человек старается сделать все и экономно, и быстро, и чтобы без гонки. Одному дают, другому. А потом вместе собираемся, обсуждаем — и выводим новую норму. И иной раз бывает, что она и повыше той, что сверху спускают, потому что нам, руками испробовавшим, здесь видней. Иной раз и бумагу специальную пишем: мол, эту норму нужно увеличить — и вносим свои предложения. И потом еще другое надо в расчет принять. Прежде, бывало, спустят новую норму — хоть и невеликую,— ее все равно многие с непривычки в штыки берут: она, мол, и невыполнимая, и такая, и сякая. А теперь уж никто не скажет «невыполнимая»: ведь свои товарищи здесь же, в цехе, выполнили. Нет, что ни говорите, а большое это дело, когда нормы не сверху спускаются, а снизу поднимаются.

НЕ СИГНАЛЬЩИКИ, А КАПИТАНЫ

Штаб семилетки... Когда слышишь впервые это название, кажется, за этими словами должно стоять что-то грандиозное, крупномасштабное — Госплан или Совет Министров — всесоюзный штаб, который распоряжается всеми ресурсами страны.

Но точно так же, как на войне судьба сражения зависит не только от генерального штаба, но и от оперативности штаба каждой действующей воинской части, и этот штаб семилетки одного завода имеет свою долю в одержанной страной победе.

В нашей стране на многих заводах и стройках действуют такие комсомольские штабы семилетки. И от их оперативности, дотошности зависит многое.

Не так давно мне по поручению редакции довелось подробно познакомиться с работой одного из таких штабов — на Московском

станкостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе.

Мне рассказывали о многих замечательных делах этого штаба — одного из отрядов заводского «Комсомольского прожектора». И о том, как боролись, чтоб досрочно выполнить волгоградский заказ — автоматические линии для Волгоградского тракторного,— и как ходили на «Серп и молот» проверять задержку с литьем, и как писали письма на другие заводы; рассказали про воскресники и контрольные посты. И про десятки других важных дел.

Но в конце концов я поняла: вся история работы комсомольского штаба — это не только история того, как были досрочно сданы такие-то станки, но и повесть о том, как постепенно молодые рабочие научились соразмерять главное и второстепенное, научились чувствовать пульс сложного заводского организма.

Казалось бы, они не делали ничего особенного. Были рейды и проверки, воскресники и споры в штабе, обычные дела наслаивались одно на другое; но с каждым поручением молодые работники узнавали что-то новое, словно подымались еще на одну ступеньку вверх, и перед ними открывалась перспектива все более широкая: сначала цех, потом завод, потом страна. Они яснее стали ощущать себя частицей великого целого, понимать свое место «в рабочем строю».

Очень помогли и многому научили их за это время старшие товарищи, коммунисты. Особенно Сергей Андреевич Кайсарьянц. Коммунист и старый комсомольский работник, он прошел замечательную школу комсомольской работы еще в тридцатых годах. А сейчас у него очень важная должность — он начальник производства.

О нем я слышала от ребят на каждом шагу: «Сергей Андреевич подсказал...», «Сергей Андреевич посоветовал...». И тем более мне было интересно узнать, что скажет о ребятах сам Сергей Андреевич.

У Кайсарьянца под глазами были черные круги сердечника (он только что вышел на работу после полугодовой борьбы с инфарктом), но сами глаза блестели молодо, и когда он произносил: «НАШ ШТАБ»,— можно было и вовсе забыть, что он только ШЕФ штаба.

Так вот что сказал мне Кайсарьянц:

— На первых порах ребята думали, что главное в работе штаба — это заметить недостатки. Вот заметили, нет такой-то детали или простои на заточке, и вывесили «тревогу», «молнию», «сигнал». Они себя представляли сигнальщиками на корабле — дескать, их дело — заметить опасность и помахать флажками, а уж капитан, на то он и капитан, пусть принимает решение, как выйти из положения, обойти риф, пройти мель. Но я сразу им сказал, что так дело далеко не уйдет. Вы не сигнальщики, вы сами капитаны. Мало вывесить «сигнал» — ищите выход, думайте, давайте свои предложения, как быть. И они стали искать. Скажем, медленно идут детали для волгоградской линии, а рабочий часто и

не знает, какую деталь он делает, в какой станок она встанет, куда потом этот станок пойдет. Он знает, что фрезерует деталь № 10625 — и все тут. И вот придумали: на каждой детали заказа ставили красную метку «Для Волгограда»,— и детали пошли быстрей.

— Посмотрите теперь на ребят,— продолжал Кайсарьянц.— Они же стали совсем другими людьми! Тот же начальник штаба Володя Чернобровкин. Раньше он на заводе знал один только свой участок. А теперь в работе всех цехов так разбирается, что подучи его — и хоть начальником производства ставь. Привыкают ребята хозяйствовать, и хорошо: ведь они наша смена, будущие капитаны производства.

«Капитаны производства». Ведь все члены штаба — рабочие и одновременно студенты, учащиеся. Со временем они придут на завод (на свой или на другой) командирами производства. И если они станут толковыми инженерами, то поблагодарить за это надо будет не только вуз, который им выдаст дипломы, но и штаб семилетки. Здесь учатся они хозяйствовать по-коммунистически, понимать незримую связь между станками, производительностью и человеком, который знает, что и для чего он делает.

☆

Итак, институт рабочих-исследователей, общественный отдел кадров, общественное нормировочное бюро, штаб семилетки, «Комсомольский прожектор» — все это в разных городах, на разных заводах. Какая же между всеми этими явлениями связь? Внешне как будто бы никакой. Но связь есть, нерасторжимая, внутренняя связь. Все это километры одной дороги, дороги в будущее. Это — знамение времени, когда снова зазвучала в языке простых людей личная форма глагола.

Ведь строить коммунизм — это значит не только возводить дома и домны, но это прежде всего расправлять крылья каждой человеческой личности для полета, оттачивать грани ее ума и души.

Как бы мне хотелось снова прийти к той старой большевичке и показать ей все эти груды «Дневников рабочих-исследователей», хронометражи общественного нормировочного бюро, решения общественного отдела кадров, чтоб она услышала, как возвращается в нашу жизнь и обретает новую неисчерпаемую силу личная форма глагола: «Рабочие Кирова думают», «Рабочие Москвы решили», «Рабочие Вологды сделали». И даже еще более конкретно: «Сборщик Козлов провел испытания», «По-моему, надо зачислить», «Считаю нужным повысить мою норму. Петров».

—•—

Тамара Жирмунская

Глаза

Отца смотрел известный окулист,
Беседовал внушительно и кратко.
Осмотр окончился.
Опросный лист
Поежился при слове «катаракта».
Ну, вот и все!
Сверхсильные очки,
И те бессильны, как присухи бабьи.
Я буду капать в папины зрачки
По две каких-то водянистых капли
И чуда ждать.
Я мучаю отца:
— Ты видишь стол? А стул? А то?
А это?
И он мне повторяет без конца,
Что смутно видит контуры предмета.
И я не знаю, что ему сказать,
Куда бежать с глазастостью своею.
Он говорит мне:
— Ты мои глаза,
Пока я от лекарства не прозрею...

А в дверь стучат подруги:
— Отвори!
Ты не одна? А с кем? Небось, не сглазим!
И я шучу с отцом:
— Глаза твои
Немного погуляют, ты согласен?..
Я выбегаю на слепящий свет
И пропадаю на свету с друзьями.
Я вовсе не бездельничаю, нет!
Я спорю, я работаю глазами.
Не жмуриться, не щуриться со зла,
Своей бесцельной жалобы не выдать:
Ведь я глаза, отцовские глаза,
Расставленные так,
чтоб все увидеть.

Очерк

Лев БАШКАНОВ

ПЛЮС ОДИН РЕЙС

Рисунки Р. Вольского.

Молодой новгородский журналист Лев Башканов в течение трех месяцев путешествовал на попутных грузовиках по маршруту Волхов—Ангара. Он проехал 10 тысяч километров и побывал на стройках Урала, Сибири, в экспедиции гидрологов Саянской ГЭС. После сибирской поездки, увлеченный гигантским размахом строительства в стране, Башканов пошел работать бетонщиком на стройку Новгородского химического комбината.

О своих наблюдениях, о встречах с молодыми рабочими-строителями Башканов написал книгу очерков. Один из очерков этой еще не вышедшей книги мы здесь печатаем.

— И сегодня без молока?
— С молоком. Один шофер все-таки пробился. Говорят, больше суток добирался.

(Из разговора в продовольственном магазине).

Все шло как по маслу. Радио сообщило: ветер северо-восточный, слабый, до умеренного, без существенных осадков. Заведующий гаражом добавил:

— Дорожка так себе, не очень. Но для «МАЗа» ерунда. Пройдешь, Иван.

Настроение у Ивана отличное. Еще пять минут назад он был в райисполкоме. Дело решили быстро. Иван даже и не ожидал — участок дали почти в центре Тулуна. Зря только председатель райисполкома этот вопрос задал:

— Строить дом — хлопотливое дело. Хватит сил?

В кабинете заулыбались. Иван ростом в два метра, с крупной головой на мощной шее, плечи в полкабины. По этой причине больше одного пассажира к себе рядом в машину не сажает.

Кто-то подлил масла в огонь:

— Ему на медкомиссии дали динамометр пожать. Так он, верите ли, так постарался, что стальная дужка надвое хрустнула.

Вот тогда-то Иван и сконфузился.

— Да-а! У Балыко сил хватит. Можете идти, товарищ Балыко,— поставил точку председатель.

Иван сел в кабину в прекрасном настроении. Он нажал кнопку стартера, «МАЗ» взревел, будто зверю хвост придавили.

Чудной он какой-то, Иван. Глаза у него по-ребячьи чистые, ресницы длинные, с подпалиной, лицо красное, обветренное и улыбчивое, как солнце.

— Ты Хрущева видал? — спрашивает он меня.

— Откуда же мне его видеть? Я из Новгорода, не из Москвы.

— Ни разу не видел?!

— По телевизору только. У нас телевидение московское.

Иван наступил на тормоз. Мой лоб приложился к ветровому стеклу. Если бы не меховая шапка, наверняка быть «фонарю».

— Ты чего? Что-нибудь сломалось?

— А я видел Хрущева. Он к нам в Братск приезжал.

Иван поехал дальше.

Мы едем в Братск. В кабине жарко. Из приоткрытого оконца почти не поступает воздуха: ветер попутный. В оконце врывается лишь шарканье колес по размытой дороге.

Вспоминаю разговор, который мы вели до наступления ночи.

— Ты сибиряк, Иван?

— Не-е, хохляк.

Слова его текут лениво и совсем не по-украински. Он давно не видел родных степей. Десять лет, как кочует со стройки на стройку. Раздарил свой говор дружкам — строителям дорог Татарии и Башкирии, Казахстана и Сибири. Взамен стал разговаривать и окая и акая, как говорят люди, видавшие Украину только наездом или в журналах и кино.

— Приехал в Тулун и стал оказию искать, вот вроде тебя, чтобы до Братска доехать,— рассказывал Иван,— пошел в автобазу. «Едет кто-нибудь на ГЭС?» — спрашиваю. «А тебе зачем туда?» — пытает меня завгар. «Как зачем? — отвечаю.— Известное дело — не груши околачивать, плотину строить еду». «Специальность есть?» «У меня,— говорю,— специальностей сколько хошь». «Дизель водить можешь?» «По третьему классу. Хоть на Луну». Посмотрел на меня завгар, прищурился, поглядывает, как цыган на лошадь, и говорит с улыбочкой: «Такой кадр мне и самому нужен». Повел к гаражу. «Без этого «МАЗа»,— говорит,— весь Братск обойтись никак не может. Молоком снабжаем только мы, тулунская шоферня. Понял?» «Понял»,— говорю. «А раз понял — оформляйся сегодня, а завтра к вечеру погонишь молоковоз. Две-три ездки сделаешь, не понравится — держать не буду. Плотина от тебя не убежит».

— Ну и как? — спросил я Ивана.

— А ничего. Привыклось. Сам видишь — катаюсь.

Дорога Тулун—Братск — расхлябанная и узкая дорога. Сейчас, ночью, она кажется еще у́же. С обоих боков ее зажала черная тайга. Пошел снег. Из окна кабины кажется, что мокрые хлопья падают не сверху, а откуда-то спереди, будто в ветровое стекло направили брандспойт.

— Молока хошь? — задает вопрос Иван.

Мне не хочется молока. С удовольствием выпил бы холодной колодезной воды. Но где ее возьмешь? Говорю Ивану:

— Водицы бы простой лучше.

Иван наступает на тормоз.

— Это мы враз сообразим.

Он открывает дверь со своей стороны, тянется рукой к капоту и сгребает с него слипшийся снег. На капоте след Ивановой пятерни — пять плавно изогнутых дорожек, сходящихся к тому месту, где большая и красная рука собрала горстью мякиш снега в тугой комок. Прежде чем дать мне, он еще раз сдавил его в кулаке. Снег хрустнул, и сквозь пальцы выкатились слезинки.

— Держи.

Я поднес спрессованный комок к зубам. Он пахнул соляром. Мне не захотелось его есть.

Ветер переменился. Стал лобовым. В ветровое стекло ляпает снег — частый, крупный и мокрый.

— Кидь пошла,—вздохнул Иван и включил «дворник».

Я закрутил боковое оконце, устроился поудобнее и стал думать о том, что скоро, совсем скоро я увижу братских гидростроителей.

Потираю на лбу шишку и разгоняю остатки дремоты. Во сне шапка съехала на затылок, и резкая остановка «МАЗа» стоила мне приличного, с голубиное яйцо «фонаря».

Ничего не понимаю. Кругом темень. Рядом, на том месте, где сидел Иван, нащупываю теплый дерматин. Выхожу из кабины. Снег больше не идет. С черного неба нудит мелкий дождь. Тайга совсем рядом. Деревья стоят понурые и какие-то пригнутые. Будто тяжесть ночи сутулит их.

Я вижу Ивана. Он присел на корточках и смотрит куда-то под задний мост машины. Черный силуэт Ивана похож на глыбу камня-гольца.

— Хучь стой, хучь падай. А все одно загрязли.

«МАЗ» стоит по диагонали, почти поперек дороги, задними колесами в глубокой яме. Левый бок заметно накренился. Яма заполнена водой. Бросаю камешек. Плюх! В яме не вода — грязевая каша. Камень потихоньку начинает тонуть.

— Баллон выстрелил, потому и завело в эту яму,— сообщает Иван. Он говорит негромко, почти шепотом, будто боится кого-то спугнуть, будто от громкого голоса «МАЗ» еще глубже осядет.

— Пойдем спать. Сейчас нема никаких делов. Утром копаться будем,— говорит Иван. Он водит пальцами по крылу машины.— Чертовщина!

С крыла дождевая мо́рось не стекает. Она остается на крыле ледовой корочкой. Я знаю, что это такое. В гололедицу тщетно ждать попутной машины. Нам с Иваном придется туго: наш «МАЗ» некому будет вытянуть из ямы.

— Ну и погодка, черт бы ее драл! — говорю я. Говорю для того, чтобы разделить с Иваном его чувства. Ведь надо же как-нибудь обругать капризную весеннюю погоду Восточной Сибири.

Иван поет:

А помирать на-а-ам рановато-о,
Есть еще-е-е у нас дома дела-а-а.

— Сала хошь? Нашего, хохлацкого засолу. Открой-ка «ящик». Там, в углу, лежит.

Утро.

— Как же ты полезешь, Иван?

— А черт его знает как! Так, как есть, так и полезу.

— Там каша.

— А что делать? Неделю сидеть?

Ничего не могу возразить. В самом деле, не сидеть же здесь до морковкиных заговен.

Ветер совсем не слабый, до умеренного, как обе-

щало радио. Впрочем, на радио мы не в обиде: оно ведь предсказывало вчерашнюю погоду, а сегодня уже другой день. Сегодня мы должны быть в Братске. Молоко давно должно быть в детских садах или стоять в бутылках где-нибудь в бригадирском тепляке, дожидаясь обеденного перерыва, когда с плотины спустятся бетонщики.

Ветер далеко не умеренный. Он потерял всякую меру. Свистит в соснах, налетает на молоковоз, осыпая его мелкой крупкой, жесткой и сухой. Ледяная крупа, как из пескоструйного аппарата, и я удивляюсь, почему она до сих пор не содрала с «МАЗа» желтую краску.

Дорога заледенела. Ветер без руля — дует то спереди, то сбоку, мечется как ошалелый.

— Градусов мало,— говорит Иван.— Проморозил бы кашу, мы бы ее ломом расковыряли. Там, под сиденьем, домкрат. Принеси. Винтовой не трожь, гидравлический давай. Запаску буду ставить.

Пока я раздвигал неподатливое сиденье, пока доставал домкрат, Иван уже сопел под машиной. Он нашел где-то камень и прилаживал его под мостом, копаясь в грязи.

— Принес? Давай!

— Держи! — Я подал ему домкрат.

Ему неудобно на локтях. Иван переворачивается на спину и ложится. Я вижу, как на его грудь наползает глиняная каша.

— Иван, ты чего делаешь, Иван?

— А что?

В этот момент мне не жалко моей куртки-канадки. Я поспешно скидываю ее и совсем не вспоминаю о том, как я недавно бегал по Риге, искал ее, а когда нашел в одном модном ателье, то отдал все деньги, что у меня тогда были. Я ни о чем не думал сейчас— мне хотелось, чтобы Ивану за шиворот не заползала грязь.

— Она меховая, дорогая, поди,— говорит он спокойно.

— Дорогая? Плевать!

Иван перестал возиться с домкратом. Он подтянулся на балке моста и гудит все тем же голосом:

— Помню один кинофильм. Дамочка шла, шла по дороге, и поперек ее пути ручей тек. Юбчонка узкая, не перешагнуть. Ну, а кавалер ейный не долго думал — хоп с себя шубу, бросил в ручей и говорит: «Милости прошу. Топайте». Хошь знать, кто он был, кавалер-то?

— Ну!

— Барин пижонный.

Он меня разозлил. Меня бесило его спокойствие и собственная беспомощность.

— Иван, а знаешь, кто ты?

— А кто?

— Дурак!

— Еще чего скажешь?

— Не возьмешь куртку?

— Отвяжись.

— Тогда ты еще раз дурак!

— Благодарствую. Садись в кабину и спи. Понял?

Я молчал. Я решил молчать.

— Слыхал?

Я отошел в сторону. Знал бы Иван, что я чувствовал, стоя у крыла автомобиля! Если бы он мне сказал: разденься догола и полезай под задний мост,— полез бы. Все бы сделал, лишь бы он забыл мою злую выходку. За что обозвал я Ивана? Скверная штука, когда ни за что человека обидишь.

Стою и тупо смотрю, как «МАЗ» вздрагивает от пульса домкрата. Для глаза почти незаметно, как машина с каждым качанием рычага отрывается от земли, а лопнувшее колесо распрямляет промятину, будто его накачивают воздухом. Я выбрал точку на цистерне и стал наблюдать, как она приближается к вершине столба, что стоит метрах в ста от машины.

«Цок-цок» — стучит домкрат, и точка букашкой ползет по столбу. Думаю об Иване, которому очень жарко сейчас. «МАЗ» весит тринадцать с половиной тонн. Поднять такую тяжесть... Наверняка грязь, в которой сейчас лежит Иван, стала теплой от жаркой спины.

«Цок-цок». Букашка на цистерне уже совсем подползла к верхушке столба. «Цок... цок... цок...» Что это? Букашка почему-то остановилась, постояла несколько секунд и стала пятиться обратно вниз. «Цок-цок-цок!» Пульс домкрата стал частым и внезапно остановился. Букашка опустилась еще чуть-чуть и замерла.

— Ле-е-в!..— срывает меня с места хриплый и натужный голос Ивана.

Кажется, я впервые почувствовал, как волосы под моей шапкой зашевелились. Иван лежал, придавленный балкой заднего моста.

— Чертовщина, Лев. Грунт под камнем просел.— Иван уперся руками в балку, словно хотел выжать штангу. Штангу весом в тринадцать с половиной тонн.— Выручай, Лев!

Смеемся до упаду. Мы, перепачканные и счастливые, едем.

— А ты обиделся, Иван?

— Откуда ты взял? Я не обидчивый. Есть у нас один шофер. Он второй год на завгара обижается, вся автобаза об этом знает, а завгар по нынешний день не догадывается.

Мы опять смеемся. Нам радостно, что все пережитое позади, что все «чин чинарем», и потому мы смеемся даже над несмешными вещами.

— Иван, какой это по счету рейс из Тулуна в Братск?

— Ха! Почем я знаю. Что, я считал, что ли? Это ты, небось, каждый рейс в книжечку заносишь, верно?

— Отмечаю. Но для меня это последний рейс, Иван.

— У тебя последний. Для меня — еще плюс один. Запомнится, поди?

Я молчу. Вместо ответа я покачал головой. Иван меня понял. Конечно, такое не забудется.

Впервые мне довелось видеть человека на волоске от смерти...

— Выручай, Лев! — прокричал Иван.— Поищи на дороге камень, потом возьми домкрат и поднимай машину.

Я кинулся искать камень. Я метался на дороге и, наверно, походил на таракана, случайно попавшего на горячую сковородку. Наконец нахожу глыбину, волоку к машине.

— Не годится. Плоский ищи.

Я понял. Камень нужен плоский. Иначе он просядет в грунт, когда поставленный на него домкрат примет груз в тринадцать с половиной тонн. Так случилось, когда Иван начал поднимать машину.

Я спешу. Ивана может выручить моя расторопность. Если машина еще чуть просядет, ему не выдержать.

— Этот подойдет? — показываю на зеленоватый камень, похожий на разрезанный пополам каравай хлеба.

— Сгодится,— одобрительно прохрипел Иван.

Беру домкрат, прилаживаю и начинаю крутить ломиком. Этим домкратом редко пользовались, пришлось ржавую резьбу полить маслом. Ломик идет

легко до той поры, пока червяк не упирается в балку моста. Дальше ни в какую. Стукнуть бы топором, но нельзя. От стука машина станет дрожать и еще глубже просядет. Нельзя стучать: под мостом Иван. Упираюсь что есть сил.

— Ага, легче малость,— говорит Иван.

Жму еще, ломик гнется, но все-таки подается на меня.

— Легче. Грудью дышать можно. А то все брюхом дышал.— Голос Ивана стал веселее.— Ну-ка, раздва, взяли! Еще раз! — Это Иван помогает мне вращать ломиком.

— Еще-е раз! Погоди-ка. Попробую вылезти.

Иван, извиваясь, выползает из-под моста. Встал, распрямился и говорит мне спокойно, почесывая в затылке. Так спокойно, будто с печи встал:

— Счастливо отделался. А завгар всегда меня ругал за технику безопасности.— Он посмотрел на меня, мокрого и грязного. Вид у меня был, наверное, смешной, потому что Иван расхохотался.

...И вот мы с той поры едем и все смеемся.

— Скоро двенадцать,— глянул я на часы.

Валит снег. Стена снега. «Дворник» не справляется. Иван ему помогает, поминутно очищая рукавицей ветровое стекло. Морозец не сильный, но будь он такой у нас в Новгороде во второй половине апреля, то, выражаясь языком бюро погоды, говорили бы, что за истекшие сутки наблюдалось резкое похолодание. Но здесь Сибирь. Здесь к этому привыкли. Иван говорил, как однажды на первомайскую демонстрацию шли в валенках.

Справа, прижавшись к самому кювету, стоит мальчик. «Голосует». Ему, наверно, холодно. Он в фуражке, в коротком пальтишке и лакированных резиновых сапогах. Останавливаемся.

— Откуда ты взялся, хлопец? — спрашиваю я мальчишку.

— С «Белого света»,— хнычет в ответ.

— ??? — смотрю на Ивана.

— Тут недалече хутор будет. Название у него такое — «Белый свет»,— поясняет мне Иван. И обращается к мальчишке:— Лезь в кабину.

Мальчишке самому не забраться. Подсаживаю его и устраиваю между собой и Иваном.

— Ты чего плачешь? На-ка, утри сопли, а то подавишься.— Иван достал мятый, как комок газеты, носовой платок.— Зовут-то тебя как?

— Ва-аней!

— О брат, да мы с тобой тезки! Куда ж ты, Иван, путь держал в такую непогодь, а?

— В шко-олу!

— Брось ты хныкать! Чо ты, барышня? Ну! Кончай, а то и я разревусь! — Иван нарочно кривит губы и делает такую занятную рожу, что мальчишка на минуту обомлел и разинул от удивления рот.

— Разревелись два Ивана, как два чокнутых болвана,— сочинил тут же Иван.

— Я в... гм... в школ... гм... школу опаздываю.

— Успеешь в школу. «Белый свет» не за горами. Километра два осталось.

— Мне не туда. Мне... гм... в Зарбу надо.

— В Зарбу? Ты в Зарбе живешь? А чего тебя в «Белый свет» занесло?

— К деду в гости ездил. Свежую рыбу возил.

В Зарбу нам не по пути. Полчаса, как мы миновали эту деревню. Вернуться? Мы опаздываем с молоком. И не знаем, что будет с погодой через час.

— Давай сделаем так, Ванятка. Отвезу-ка я тебя обратно к деду, там и дождешься попутки. А то ты вон куда махнул от него. Ты чего, пешком, что ли, хотел?

— Не, я шел и оглядывался. Я всегда так делаю — иду, а попутка догоняет. В деревне шофера не берут, они на дороге сажают.

— Хитер ты, брат!

— Дядя Ваня, сколько времени?

— Без десяти час,— ответил я за Ивана.

Мальчишка вдруг нагнул голову и захныкал.

— Ты что, опять? — Иван поднял за подбородок его голову.

— В школу опозда-а-ю-ю! К полвторому надо.

— О чудак-человек! — Иван сделал вид, что сердится.— Да что она тебе, школа, далась? Ну, пропустишь разок, дела, подумаешь, важные.

Мальчишка еще пуще разревелся. Он посмотрел на Ивана, потом на меня полными от слез глазами и протянул так жалобно, что я готов был рассмеяться:

— Дяденьки-и, подвезите! Мне сегодня двойку исправлять нада-а-а!

— У-у, брат. Да ты еще и двоечник!

У Ивана и его жены Ганны нет детей. «Почему-то нет, и все»,— сказал мне об этом Иван. Сказал грустно, каким-то упавшим, нет, даже отрешенным голосом. Наверное, это связано с какой-то драмой. У него большое сердце, доброты в нем, наверное, столько, что не уместилась бы в огромной и щедрой Ивановой горсти. Кому дарить добро? Представляю, если бы у Ивана был сын.

Я смотрю на него. Он о чем-то думает, кусает губу и гладит голову Ванятки.

— Вот чего, Иван. Нюни кончай распускать, а садись ко мне на колени и держись за баранку. Будем заруливать к твоей школе...

Поздно ночью мы приехали в Братск. Ночевали на цементном полу молочно-сливного пункта. Наутро, когда мы встали, Иван поспешно спрятал пустую бутылку из-под водки-«красноглазки», которую мы выпили накануне.

— Подальше с глаз долой. А то подумают, что пьянствуем.

Мы распрощались. Мой рейс на попутных машинах от Волхова до Ангары закончился. Пройдено около десяти тысяч километров. Я взвалил на плечи рюкзак.

— А что это у тебя там булькает? — спросил у меня Иван.

— Там у меня бутылка с волховской водой. Знаешь, на нашем Волхове построена первая советская гидростанция. А на Ангаре теперь мощнейшая в мире.

— А бутылка-то зачем?

— Я ее отдам передовой бригаде гидростроителей. Пусть волховскую воду выльют в Ангару. Пусть породнятся реки и частичка Волхова пройдет по турбинам Братской ГЭС.— Я говорил, наверное, очень торжественно. Я вправду был взволнован.

Иван меня понял. Он еще раз пожал мне руку на прощание.

— Такие бригады здесь есть. Желаю успеха!

Я зашел в продовольственный магазин, чтобы купить пачку сигарет. В молочном отделе очередь. Молоко еще не привезли.

— И сегодня без молока? — спросила только что зашедшая старушка.

— С молоком,— ответили ей.— Один шофер все-таки пробился. Говорят, больше суток добирался. Снегу-то вон сколько насыпало.

Об Иване знали. Не знали только, как его зовут. А имя у него простое — Иван Балыко.

Дорога Тулун—Братск,
Иркутская область.

Наш фельетон

Леонид ЛИХОДЕЕВ

ГОЛУБИНОЕ СЛОВО

Рисунки автора.

В этот самый момент, когда вы читаете данный фельетон, за столом лаборатории одного из институтов биологического направления сидит нежная девушка и плачет.

Она плачет не просто так, не от избытка чувств и не оттого, что приспела пора поплакать. Она плачет потому, что ее заставили резать лягушку. А лягушек она боится. Она боится брать их в руки. Ей кажется, что от этого бывают бородавки...

Эта милая девушка хотела стать журналисткой. Ей нравилось быть журналисткой. Она видела себя с красивым фотоаппаратом в коричневом футляре, который так шел бы к легкой кофточке пастельных тонов. Он шел бы также к зеленоватой лавсановой юбке. Она хотела носить в сумочке корректное, но многозначительное корреспондентское удостоверение, которое позволяло бы получать без очереди билеты в кино и контрамарки в театр. Она хотела видеть свое громкое имя под газетным сочинением еще неясного содержания, но вполне респектабельной формы. Журналистика была ее мечтой.

И вот злые люди подкосили эту мечту под корень. Злые люди сказали, что надо уметь излагать свои мысли. А мыслей у девушки не было. У нее была сумочка для удостоверения, кофточка для фотоаппарата и фамилия для подписи. Но злые люди почему-то не сочли эти достоинства достаточными для поступления на журналистский факультет.

Мечта лежала на асфальте, как растоптанная незабудка. Жизнь не удалась. Восторжествовала несправедливость.

Кто знает, что было бы с этой девушкой в результате непоправимого удара! Страшно и подумать. Но, к счастью, она усвоила могучую жизненную установку, сформулированную различными добрыми поэтами и положенную на музыку не менее добрыми композиторами. Во-первых, молодым везде у нас дорога, а во-вторых, все мечты сбываются, товарищ.

Это ее спасло. И мучилась она только пятнадцать минут.

В конце пятнадцатой минуты прибежала подруга. У подруги тоже была мечта. Подруга хотела стать художницей. Но те же злые люди сказали ей, будто для того, чтобы стать художницей, нужно уметь рисовать. Подруга тоже пережила

непоправимый удар и, звонко напевая указанные выше арии, примчалась к нашей героине.

Они взяли газету и стали читать материалы, собранные под зазывным названием «Куда пойти учиться».

И выяснилось, что бескомпромиссной мечтой каждой из них были лесное дело, астрономия, медицина, кибернетика, гельминтология, а также все остальные дисциплины, которые были обозначены в щедром газетном меню.

Они любили гулять в лесу (лесное дело), смотреть по вечерам на звезды (астрономия); они восхищались тонкостью операций, которые производили на экранах их любимые киноактеры и киноактрисы в красивых белых халатах (медицина); они знали, что кибернетика — это что-то очень модное; а вот того, что гельминтология занимается обыкновенными глистами, они просто не знали.

Все мечты сбываются, товарищ! Поэтому девушки решили идти вперед по той самой дороге, которая молодым у нас — везде. То есть в какой институт попадешь, в такой, значит, мечта и привела.

Подруге повезло. Она вышла замуж у дверей седьмого института и сейчас хорошо живет. А наша героиня плачет, потому что мечта привела ее в учебное заведение, где заставляют браться руками за гадких лягушек.

Вот и вся история.

И, как всякая история, она влечет за собою выводы.

И выводы тут как тут.

Когда бог создал землю и все сущее на ней, он осмотрелся вокруг и затосковал. Все проблемы были решены, вокруг висели бодрые лозунги, вселенная шла вперед без страха и сомнений, все мечты сбывались, не успев возникнуть, и с экранов светились белозубые киноулыбки кинопобедителей киностихий. И наиболее приближенные ангелы сочиняли глубокий сценарий о том, как молодой человек хорошо учился в школе, хорошо поступил в институт, хорошо его окончил и теперь хорошо работает. Конфликтов не было. Беззаботная вселенная улыбалась, и улыбка ее была похожа то на раскрытую раковину моллюска, то на двенадцатый номер галош.

И бог понял, что хватил лишку. Старик сообразил, что наворотил кучу легкомыслия и безответственности.

«Этак, пожалуй,— думал он,— они и вовсе разучатся мыслить. И мозг у них дальше куриного не пойдет. И не будет на земле ни Бойля, ни Мариотта, не говоря уже об Аристотеле, Платоне и быстром разумом Невтоне. На кой черт им стараться, если уже заранее известно, что все мечты сбываются, а молодым и без того дорога? На кой черт? Черт... Черт...»

И пока старик бормотал это нехорошее слово, появился черт. Он появился для конфликта. Черт появился, доложил, предъявил справку о профессии и начал втыкать палки в колеса. Колеса ломались, их приходилось ремонтировать, изобретать сверхпрочные спицы и ступицы, искать новые материалы и придумывать сопромат.

Вселенная стала улыбаться только по выходным дням или вечером после работы. Причем улыбка ее стала значительно осмысленнее.

И только беззаботные ангелы продолжали играть на своих хрустальных арфах и распевать бесконфликтные песенки вроде приведенных выше, а также сочинять красивые обещания всем, кто не хочет думать самостоятельно.

Со временем эти ангелы стали прикрывать своими чистыми хитонами юных голубей и голубиц и ворковать над ними голубиное слово:

— Ррромантика, о ррромантика, ррромантика, о ррромантика...

Они научились грамоте и стали сочинять произведения на тему, как легко и просто жить на свете. Как просто победить, как просто превзойти, как просто превозмочь и как просто достичь.

Ангелы и серафимы воркуют устно и письменно свое голубиное слово:

— Прямо пойдешь — победителем станешь, налево пойдешь — в преобразователи попадешь, направо пойдешь — творцом будешь. Иже убо сказано в писании: молодым везде у нас шоссе и автострады, а все мечты становятся явью ровно через полчаса после возникновения...

О святое голубиное колдовство! Шел парень прямо и хотел стать слесарем-водопроводчиком, а стал простым победителем стихий. Шел парень налево и хотел стать комбайнером, а стал простым преобразователем природы. Шел парень направо и хотел стать каменщиком, а стал простым творцом человеческого уюта.

А ангелы-серафимы машут крыльями:

— Вперед, творцы-молодцы, без страха и главным образом без сомнений!

И возникают декларации:

— Моя мечта — стать победителем стихий.

— Мечтаю стать преобразователем природы!

А кем именно? Агрономом? Гидростроителем? Врачом? Парикмахером?

— Не столь важно! Сказано — преобразователем!

— А меня, например, сызмальства в творцы тянет. Очень мне желательно стать творцом. Творить, стало быть, то да се...

— Но и творцы делятся на подразделения! Архитектор — творец, писатель — творец, плотник — творец...

— Не имеет значения. Валяй кулём, потом разберем.

Вот чего наделали безответственные ангелы-хранители легкомыслия.

А жизнь, между прочим, подробна. Она, конечно, представляет собою поприще для сплошной романтики, но ведь и конфликтов в ней тоже будь здоров сколько. И конфликты эти не так уж кинематографичны, как их стараются подать неискушенным голубям ангелы и серафимы. Жизнь нельзя строить «вообще», так сказать, огулом. Она строится и «в частности». Она состоит из вполне конкретных случаев. Какой-то веселый пессимист сказал, что жизнь прекрасна в каждом отдельном случае и ужасна в каждом отдельном случае. Вообще-то она прекрасная штука, но в частности может не разобраться и дать пинка. Не потому ли, что нас много, а она одна. Она может даже наплевать на отдельную личность. Но если отдельная личность вздумает наплевать на нее, жизнь этого даже не заметит. Тут явно неравные условия. И это нужно усвоить и относиться к жизни с уважением.

Конечно, все мечты сбываются, и молодым везде у нас дорога, но при этом необходимо уяснить две вещи: во-первых, сбываются мечты, а не вздорные капризы, а во-вторых, по дороге нужно идти, или, говоря научным языком, топать ножками.

И пока ангелы-серафимы воркуют свое голубиное слово, я хочу сказать без всяких обиняков:

— Милые голуби! Романтика — это только название прекрасной жизни. А сама прекрасная жизнь достигается при помощи сугубо индивидуальных стремлений. И если эти стремления несерьезны, ничего, кроме названия, вы не получите. Это мама вам простит, потому что она мама. И, может быть, комсомольский комитет вам простит. А жизнь вам ни простит, ни не простит. Ей не перед кем отчитываться. Вас у нее много-много. И у нее работы до черта. Вот как обстоят дела, милые голуби. И никакие заклинания здесь ни при чем.

Писателем становится не тот, у кого есть красивая авторучка, а тот, кто может работать и некрасивым карандашом. Врачом становится не тот, кто может заставить себя не бояться морга, а тот, для которого морг — лаборатория, чтобы лечить живых. Агрономом становится не тот, кому до зарезу нужен диплом, а тот, для кого земля и все сущее на ней — поэма...

И тогда никакой черт, существующий для конфликтов, не остановит вашего колеса. Более того, вы будете скучать без этого черта и гнать в шею ангелов. Потому что, если все так легко и просто, как повествуют ангелы,— стоит ли вообще кипятиться и махать руками!

Вот какая получается романтика.

Но о романтике — в другой раз...

У нас в гостях Манолис Глезос

Человек все может!

Рисунок П. Бунина.

Не было рукописи, которую приняли бы в редакции «Юности» с бóльшим волнением. Маленькие, размером с конфетную обертку куски тонкой бумаги, испещренные буквами, различимыми только в сильную лупу, приходили одна за другой с интервалами в неделю.

«Вы написали мне, если я правильно понял ваше письмо, что журнал ваш имеет 550 тысяч подписчиков [1], что все это юноши и девушки, жадные до всего хорошего и потому желающие знать подробно о том, как когда-то два греческих парня-студента сорвали с флагштока на Акрополе фашистское знамя. Человек все может, если только он этого очень захочет, и если он, как говорят у вас в России, настоящий человек».

Это строки той статьи. Автор писал ее тайно, в мрачнейшем каземате, охраняемом зоркими и беспощадными тюремщиками.

Завершающая часть статьи была дописана, когда автор ее Манолис Глезос был уже на свободе. И вот он с нами за столом в редакционной гостиной. Его приветствуют авторы журнала: прозаики, поэты, публицисты. Все с нетерпением ждут рассказа Глезоса.

И вот он начал говорить:

«Когда я выходил из тюрьмы, мои товарищи, оставшиеся за решеткой, просили меня: «Маноли, поживи за нас на свободе, пойди за нас к морю, послушай эхо и ветер, влюбляйся за нас». Но я не ушел от них, мое сердце по-прежнему там, в заключении, и останется там, пока не будут освобождены все эти чистые душой люди, герои и патриоты моей родной страны.

Живой поэзией борьбы, мужества, боли дышал рассказ Манолиса о людях, с которыми он делил борьбу и судьбу. Они без страха и упрека сражались против фашизма, они никогда не пойдут с врагом на мировую.

«Я хочу, чтобы советская молодежь знала о греческих ребятах, которые когда-то пошли в тюрьму за свои идеалы двадцатилетними и которым скоро уже будет сорок, а они все еще остаются в застенках.

Один наш политзаключенный на вопрос о том, сколько он сидит в тюрьме, ответил: «Я давно здесь сижу, уже три раза меняли железные двери моей камеры, железо не выдерживало времени и сырости, а я вот выдержал, и я остаюсь собой».

Вы поймите: ведь любому из этих людей достаточно только написать несколько слов отречения, публично проклясть свое дело, своих товарищей — и двери тюрьмы тотчас распахнутся и все сразу станет доступным: море, солнце, жизнь. А они железно стоят на своем и не отрекаются.

Наш общий долг — силой народного гнева, силой мирового общественного мнения вернуть им свободу, вернуть самую жизнь, потому что в тюрьме, где холод, и сырость, и жесточайшие пытки, самое тяжелое все-таки не физические страдания, а оторванность от жизни. Поймите это, почувствуйте!»

Манолис пытливо смотрит на нас. И в этом невысоком, подвижном человеке с живыми, горячими глазами, с золотой медалью ленинского лауреата на отвороте пиджака мы узнавали того, о ком думали и тревожились годами,— кристальнейшего героя человечества, поднявшего когда-то среди фашистской ночи греческий флаг над Акрополем, беззаветного борца за счастье людей.

Глезос говорил об интернациональной солидарности, о душевной широте тех, кто, распахнув небесные двери, вырвался в космос, но не забыл о братьях, не могущих еще открыть двери тесных тюремных камер.

«Я голос всех, кто преследуется сейчас в моей стране за волю к миру и свободе. Политзаключенные наши нуждаются в помощи всех честных лю-

[1] Прошлогодний тираж «Юности». Сейчас тираж журнала — 600 тысяч экземпляров.

дей. Но в одном им не нужна помощь — в вере. В ней они тверды!

Я вспоминаю товарища Маляракиса, у которого после многих лет мучений дрожат руки, так что он не может сам поднести ложку ко рту. А дух его не сломлен...

Я вспоминаю многих других, старых и молодых, всех их и не назовешь. Это не герои Ницше, не сверхчеловеки. Они люди, и глубоко человечные. Мы все, живущие сейчас на свободе полной и многоцветной жизнью, должны всегда помнить, что мы их надежда».

...Манолис заговорил о первых московских впечатлениях, об умной, насыщенной, смелой жизни советских людей. И с особенным чувством подчеркнул, что не только мы, не мы одни должны гордиться нашим русским чудом: оно по праву принадлежит и тем, кто был с нами всем сердцем, кто радовался нашим победам, делил с нами тяготы борьбы против фашизма в годы второй мировой войны.

«Греческий народ потерял четверть миллиона сынов и дочерей от голода, сто пять тысяч лучших погибли в фашистских концлагерях, семьдесят пять тысяч пали в боях, восемьдесят пять тысяч были казнены. Мы небольшой народ, но это был наш драгоценный вклад, вклад крови в победу над Гитлером.

Когда я возлагал венок на могилу советских солдат, погибших за вашу страну, за будущее всех народов, я мысленно просил у павших героев разрешения почтить этими цветами не только их, русских, но и моих земляков, отдавших жизнь за те же идеалы».

...С болью говорит герой Акрополя о том, что на его родине нет ни одного памятника борцам греческого Сопротивления, не щадившим жизни ради свободной Эллады. Среди тысяч казненных гитлеровцами был и девятнадцатилетний брат Манолиса.

Когда его, почти еще мальчика, повезли на казнь, он уже в тюремной машине написал письмо на подкладке своей куртки: «Дорогая мама, я шлю тебе привет. Меня сегодня убьют. Погибаю за греческий народ».

Это был родной брат Манолиса, но и тысячи других, несогнувшихся, несломленных, он тоже считает родными.

Манолис дружески обнял и трижды поцеловал сидевшего рядом с ним за столом Юрия Пиляра — советского писателя, участника легендарного сопротивления узников Маутхаузена. Быть может, в повести «Люди остаются людьми», только что опубликованной «Юностью», Манолис найдет героев, родственных тем, которых он знал.

«Я не боюсь, что сделаю вам больно своими рассказами о муках наших узников,— сказал Глезос.— Ведь ваши сердца открыты солидарности. А я не устану говорить о том, что жжет меня. Недавно в Париже я встречался с режиссером-американцем и описал ему темницы на греческих островах. И он мне сказал: «Ты причинил мне боль своими страшными рассказами. Но я хочу встретиться снова, чтобы ты снова рассказал мне обо всем, что оставил на родине, потому что это рождает гнев, побуждает к действию».

...Усмехнувшись, Манолис добавил, что провокации реакционеров в Афинах против него продолжаются. Уже затевается новое судебное дело («Двадцать девятое»,— заметил он как бы между прочим). По улицам Афин расхаживают фашиствующие молодчики с лозунгами «Смерть Глезосу!». Но надо ли говорить, что Манолиса они не запугают!

За столом поднимается Стефан Хермлин, известный писатель-антифашист из ГДР. Он говорит Манолису, что был у себя на родине, в Германской Демократической Республике, членом национального комитета «В защиту Глезоса». Он вспоминает потрясшую весь мир кампанию солидарности с греческим героем, сотни тысяч подписей под петициями, благородную тревогу простых людей в разных странах.

Наверно, Манолис ощущал отзвуки этого движения еще в тюрьме, наверно, он выслушал много рассказов о нем на многочисленных встречах в Москве, в зале Большого Кремлевского дворца, где ему торжественно вручался диплом лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Но все равно и этот рассказ о всеобщей борьбе за его вызволение взволновал Глезоса.

Около двух часов длилась дружеская застольная беседа. Увенчала ее трогательная церемония вручения товарищу Манолису Глезосу удостоверения почетного корреспондента «Юности». Ведь с первых листков размером с конфетную обертку, тайно переданных из тюрьмы, Манолис начал сотрудничать в нашем журнале.

Та статья была напечатана в мартовской книжке «Юности» за 1963 год. Но мы уверены, продолжение последует. Уже в качестве настоящего сотрудника «Юности» товарищ Глезос обещал написать новую статью, адресованную советской молодежи. Мы ждем ее...

Заметки и корреспонденции

ОРДЕНУ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ — 45 ЛЕТ

Кавалеры ордена Красного Знамени! В тридцатые годы мы, молодежь того времени, уже издали узнавали их по кумачовому кружку материи на гимнастерке и знаку высшей воинской доблести, проявленной в боях с врагами социалистического Отечества. Мы, мальчишки, отдавали им свою любовь и уважение, восхищались и преклонялись перед их подвигами.

В сентябре нынешнего года исполняется 45 лет со дня учреждения ордена Красного Знамени.

...Центральный музей Советской Армии в Москве свято хранит документы и реликвии, связанные с учреждением ордена Красного Знамени. Тысячи посетителей с волнением знакомятся с делами отцов и дедов, которые могли сказать вместе с поэтом:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Василий Константинович Блюхер.

В «Декрете о знаках отличия», принятом на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 16 сентября 1918 года и подписанном председателем ВЦИК Я. Свердловым и секретарем ВЦИК В. Аванесовым, говорится, что знак отличия присуждается гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности, и что вместе с орденом Красного Знамени гражданам РСФСР вручается особая грамота: «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов в ознаменование исполнения гражданином (таким-то) своего долга перед социалистическим Отечеством в бою против его врагов (там-то и при таких-то обстоятельствах) вручает ему знак ордена «Красное Знамя», символ мировой социалистической революции».

В памятке, выдававшейся награжденным, говорилось: «Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак отличия, должен знать, что он из среды равных себе выделен волею трудящихся масс, как достойнейший и наилучший из них».

Первым кавалером ордена Красного Знамени стал сормовский рабочий, председатель Челябинского ревкома Василий Константинович Блюхер.

В 1918 году, объединив под своим командованием несколько разрозненных красноармейских и партизанских отрядов, он совершил с ними переход в полторы тысячи верст по Уралу, ведя ожесточенные бои с белогвардейцами и белочехами. Уральский обком партии сообщил об этом В. И. Ленину и Я. М. Свердлову, отметив, что «в лице Блюхера и его полков мы имеем подлинных героев, совершивших неслыханный в истории нашей революции подвиг...», и просил, чтобы «Блюхер с его отрядами был отмечен высшей наградой, какая у нас существует, ибо это небывалый случай».

30 сентября 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет на своем заседании заслушал специальный доклад о беспримерных подвигах южноуральских партизан. Реввоенсовет 3-й армии писал в своем представлении:

«...Переход войск тов. Блюхера в невозможных условиях может быть приравнен разве только к переходам Суворова в Швейцарии.

Мы считаем, что русская революция должна выразить вождю этой горсточки героев, вписавшему новую боевую страницу в историю нашей молодой армии, благодарность — восхищение».

ВЦИК единодушно решил наградить В. К. Блюхера орденом Красного Знамени, статут которого был утвержден накануне, 29 сентября. В. К. Блюхеру был вручен орден с порядковым номером первым на оборотной стороне. Вторым кавалером этого ордена стал другой герой гражданской войны — Иона Эммануилович Якир. Его наградили за успешное руководство боевыми действиями и ликвидацию мятежа группы войск Сахарова в 1918 году.

Всего за отличие и подвиги, совершенные в годы гражданской войны, орденом Красного Знамени было награждено 14 998 командиров и красноармейцев. Из них четверо — Василий Константинович Блюхер, Степан Сергеевич Вострецов, Ян Фрицевич Фабрициус и Иван Федорович Федько — были награждены четырьмя орденами Красного Знамени каждый.

Иван Федорович Федько.

Орденом награждались также воинские части и соединения, отдельные коллективы трудящихся. Одним из первых в Красной Армии отмечен орденом 93-й стрелковый полк за доблестное взятие города Луги в 1919 году. Всего за ратные подвиги на фронтах гражданской войны были награждены орденом Красного Знамени три дивизии, пятнадцать полков, ряд военных школ и специальных подразделений, а также морские силы Балтийского флота и крейсер «Аврора».

Ян Фрицевич Фабрициус.

В ознаменование героизма и боевых заслуг десятков тысяч комсомольцев Реввоенсовет СССР своим постановлением от 23 февраля 1928 года наградил ВЛКСМ орденом Красного Знамени.

11 января 1932 года ЦИК СССР утвердил новый статут ордена Красного Знамени. В последующие годы им были награждены сотни тысяч лучших воинов Советских Вооруженных Сил, отличившихся в боях за нашу Родину.

Сыны и внуки тех, кто отстоял нашу социалистическую Родину в годы гражданской войны, сегодня

Степан Сергеевич Вострецов.

тоже по заслугам награждаются этим высоким знаком воинской доблести.

Всей стране известно имя летчика Гражданского воздушного флота комсомольца Эдика Бахшиняна, с риском для жизни приземлившего самолет, захваченный в воздухе бандитами. Он награжден боевым орденом Красного Знамени. В списке награжденных — имена матросов и старшин,

Титульный лист книги «Красные герои».

славных морских пограничников, летчиков, охраняющих мирный труд советских людей.

Еще в годы гражданской войны управление по командному составу Всероссийского главного штаба издавало книги «Красные герои», где перечислялись фамилии тех, кто удостоен ордена Красного Знамени, с кратким описанием подвига. К сожалению, после выхода третьей такой книги издание прекратилось. Быть может, стоит сейчас вернуться к этому благородному делу и продолжить его. Ведь орден Красного Знамени, учрежденный 45 лет назад, и поныне остается знаком мужества, воинской доблести и славы, свидетельством беззаветного служения Советской Родине.

О. ПЕТРОВ,
Н. ИГОРЕВ.

●

ПОМНИМ!

Молодежь Калужской области бережно хранит память о подпольной комсомольской группе, действовавшей в оккупированном гитлеровцами городе Людинове в 1941—1942 годах. Группу эту возглавлял комсомолец Алексей Шумавцов

Молодые подпольщики выполняли задания разведывательного характера, были «глазами и ушами» партизанского отряда, созданного близ Людинова. Много смелых диверсий совершили комсомольцы: жгли немецкие склады, взорвали электростанцию и плотину, пускали под откос поезда, выводили из строя линии связи. По донесениям юных патриотов наши самолеты бомбили вражеские объекты в Людинове.

О подвиге Алексея Шумавцова и его боевых товарищей: Александра Лясоцкого, Анатолия

Памятник героям-подпольщикам в городе Людинове.

Апатьева, сестер Зины, Тони и Шуры Хотеевых и других — рассказывалось в журнале «Юность» № 5 за 1957 год.

Подпольщиков предал изменник Родины, фашистский прихвостень, полицай. Фашисты замучили и расстреляли вожаков группы.

Но герои бессмертны. Алексею Шумавцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а его боевые друзья награждены орденами.

6 июля в Людинове состоялся День памяти героев-комсомольцев. В этот день был проведен объединенный пленум Калужского промышленного обкома и Людиновского горкома ВЛКСМ. На месте, где были зверски замучены А. Шумавцов и А. Лясоцкий, была торжественно открыта памятная плита, у железнодорожного полотна — бюст Алексея Шумавцова. В городском парке культуры людиновцы создали музей комсомольской славы. Его открыли в этот день.

В гости к людиновцам приехало много молодежи из Калуги и области, из других городов страны. Свое обращение к людиновцам прислали Алексей Маресьев и космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова.

Вот что написали людиновцам космонавты:

«Дорогие людиновские комсомольцы! Друзья! Очень рады приветствовать вас в этот незабываемый день — День памяти героев-комсомольцев, действовавших в вашем городе Людинове в годы Отечественной войны.

В нашей стране установилась славная традиция всенародного чествования героев, павших за свободу и честь Родины. Никогда не изгладятся из памяти народа героические подвиги сынов Ленинского комсомола, совершенные ими в годы Отечественной войны. Вместе с памятью о молодогвардейцах, подвигах Зои Космодемьянской, Саши Чекалина, Лизы Чайкиной и многих других мы с гордостью вспоминаем славные имена людиновских комсомольцев-подпольщиков во главе с Героем Советского Союза Алексеем Шумавцовым.

Юные подпольщики бесстрашно действовали в оккупированном Людинове. Смелыми диверсиями они помогали громить врага.

Родина помнит своих сыновей. Нам хочется сказать словами поэта Роберта Рождественского:

Мечту пронесите через года
И жизнью напомните!..
Но о тех, кто уже
не придет никогда,
Помните!

Людиновские герои отдали свою жизнь, чтобы вам жилось счастливо и радостно.

Светлая память о многих патриотах Людинова будет переходить из поколения в поколение. Пусть их замечательные образы служат вдохновляющим примером для советской молодежи, строящей коммунизм.

Скульптурный бюст Алексея Шумавцова.

Желаем вам, дорогие друзья, больших успехов в дерзновенном труде во имя этой великой цели.

В. ТЕРЕШКОВА, Ю. ГАГАРИН,
Герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР».

7 июля в Людинове был устроен большой спортивный праздник, посвященный памяти юных подпольщиков.

В. ДИДОРЕНКО, Г. КУНАКОВА, Р. ПЕНФЕРОВ, В. ПУХОВ.

●

УЛИЦА ДУРОВА, 2

В коридорах одной из школ Дзержинского района г. Москвы можно увидеть фотомонтажи, которые восхищают высоким мастерством, умелой и подчас оригинальной композицией. Мы заинтересовались: какой фотокорреспондент из какой центральной газеты шефствует над школой? Сдерживая смех, старшеклассники ответили, что «собственный фотокорреспондент школы» учится в... 9-м классе и никакого отношения к прессе не имеет.

Видя, что на наших лицах появилось недоумение, ребята наперебой стали перечислять:

— У нас есть и радисты-операторы, и фотокорреспонденты, и массовики-затейники, и шахматные судьи, и даже балетмейстеры.

— Где же и когда они этому научились?

Вместо ответа нам дали бумажку с адресом. Так мы оказались на улице Дурова, в доме № 2. Здесь помещается Дом комсомольца-школьника Дзержинского района. Первый в Москве да, наверное, и не только в столице. Открылся он три года назад.

В этом Доме школьникам предоставлена свобода инициативы и нет той мелочной, назойливой опеки, которая превращает интересные, увлекательные и живые дела в скучные мероприятия.

Комсомольский штаб, состоящий из 18 человек, продумал и составил план работы Дома. И в первую очередь решено было организовать школу комсомольского актива. В то время только что прошли отчетно-выборные комсомольские собрания, и многие вновь избранные секретари школьных комитетов не знали еще, как начать работу.

Годичная школа пользовалась такой популярностью, так много давала нужного и полезного, что в нее порой записывался весь комсомольский актив той или иной школы.

Работники Дзержинского райкома комсомола прочитали цикл лекций по истории комсомола. Из героического прошлого они всегда умело перекидывали мостик к современным делам советских юношей и девушек, молодежи своего района. Журналисты центральных газет увлекательно и интересно рассказали о героях-комсомольцах Олеге Кошевом, Лизе Чайкиной, Зое Космодемьянской и о многих других, чья жизнь и подвиг всегда будут жить в памяти народной. Приезжали к ребятам и старые большевики.

Комсомольский штаб Дома продолжал думать и о создании школы общественных профессий. Постепенно все четче и четче стали вырисовываться ее цели и задачи.

Конечно, помогли в этом деле педагоги.

В один из сентябрьских дней 1961 года почти во всех школах Дзержинского района появилось объявление. В нем говорилось, что при Доме комсомольца-школьника открывается школа общественных профессий, где можно приобрести специальность фоторепортера, радиста-оператора, массовика-затейника, организатора и судьи шахматного матча. Прием в школу — по путевкам комитета комсомола.

На вечере клуба «Содружество» не бывает скучно...

Объявление как объявление. И ребята вначале несколько скептически отнеслись к нему. А некоторые вообще недоумевали: «Что это за такая школа общественных профессий, что она даст, кто там будет обучать?»

Но ребят заинтересовало, что в гости к слушателям школы будут приезжать киноартист Алексей Баталов, известный кинооператор и режиссер Роман Кармен. Встретятся они с шахматистом Василием Смысловым, писательницей Варварой Карбовской, поэтом Григорием Левиным и со многими другими деятелями литературы, искусства, кино.

Прельщало ребят и то, что успешно сдавшие зачет получат настоящее удостоверение об окончании школы и о получении той или иной профессии.

В школу посыпались заявления, рекомендации, просьбы. И даже жалобы: почему, мол, не зачислили, почему не дали путевку?

Такое наблюдается ежегодно. В этом году особенно велик наплыв желающих приобрести профессии.

Вот с жалобой пришел парнишка: ему в комитете комсомола не дают рекомендации из-за того, что он учится в седьмом классе. А ведь на шахматном чемпионате школы он на 21-м ходу поставил мат лучшему шахматисту школы, второразряднику Виктору Синицыну, который учится в десятом классе. Видя, что ему не доверяют, семиклассник достал из кармана курточки диаграмму с вариантом решения неоконченной партии Ботвинник — Петросян. «Ребята считают, что оно ничуть не хуже того, какое Таль привел в «Советском спорте».

«Сраженные» такими доводами, руководители школы заверили парнишку, что ему помогут приобрести профессию шахматного судьи. «Ну, вот и здорово!» — резюмировал он и освободил место следующему «просителю».

Это была сухонькая старушка. Не спеша усевшись на стул и поставив «авоську», набитую свертками и кульками, она начала:

— Вы что же это, милые?! В прошлом году внук не мог получить специальность, и сейчас не разрешаете. Почему не записываете его?

Марии Антоновне — так звали старушку — вежливо и спокойно разъяснили, что в школу общественных профессий ее внука принять не могут, так как ему не дает рекомендации комитет комсомола школы. Видно, он считает, что Владик не заслужил доверия и права заниматься в школе.

В школе общественных профессий уже было два выпуска. Многие из ее питомцев работают по специальностям, которые они здесь получили. Другие нашли применение полученным профессиям непосредственно в своей родной школе. Можно с полной уверенностью сказать, что проблема — кому заведовать радиоузлом, судить шахматный матч, сделать снимки для стенгазеты, быть массовиком-затейником на школьном вечере или в пионерском лагере — перед учащимися Дзержинского района почти не стоит: инструкторы школы общественных профессий отлично справляются со всем этим.

...Постепенно Дом комсомольца-школьника пользовался все большей и большей популярностью. Сюда шли, чтобы почерпнуть сведения о том или другом событии, узнать, что нового и интересного в жизни района; приходили за помощью и советом. Иногда даже целым классом.

Нередко в Доме можно было увидеть учителей. Одни просили помочь организовать диспут. Другие советовались, как лучше провести в классе отчетно-выборное комсомольское собрание.

На каждом этаже, в каждой комнате можно было найти столько интересного, что ребята подчас не знали, чему отдать предпочтение. Ведь в Доме комсомольца, помимо школы общественных профессий,— 14 кружков.

Мальчики, как правило, избирают авиа-, авто-, фото- и радиокружки. Девочек в основном привлекали «женские» профессии; машинопись и стенография стали их полной монополией. В кружках струнном, хоровом, хореографиче-

ском занимаются около 300 школьников.

Дом комсомольца-школьника является запевалой самых разнообразных начинаний в районе. Фотокружок регулярно проводит конкурсы на лучший фотоснимок из жизни молодежи. Театральный кружок провел месячник смотра театральных коллективов и конкурс на лучшего чтеца. На празднике музыкальной весны выявляется лучший хор, солист.

Все эти конкурсы, праздники стали популярными и традиционными; в них принимают участие все школы района.

Примерно год назад в районе начали создаваться клубы старшеклассников. Чтобы помочь им в этом деле, при Доме комсомольца был специально создан выездной клуб «Содружество». Хотя он проводил «проблемные» вечера, диспуты и творческие встречи непосредственно в школах, основная его цель была помочь комитетам комсомола в создании клубов старшеклассников. Сейчас в районе их столько, что уже проводятся конкурсы на лучший клуб.

Жизнь тем временем подсказывает новые формы работы, новые темы, планы. Недавно в школы района была разослана анкета с рядом вопросов. «Твое представление о комсомольском долге?» — таков был первый. Почти половина участвующих в заочном диспуте ответила примерно так: «Не щадя сил, строить коммунизм. Быть достойными своих отцов и старших братьев, приумножать их славные революционные и трудовые подвиги. Отдавать все силы, знания борьбе за счастье своего и других народов».

...Один из вопросов анкеты гласил: «Черты комсомольского характера, которые ты ценишь выше всего?». Большинство старшеклассников ответило: «Честность, правдивость. Уважение к человеку, любовь к своей Родине. Интернационализм, гуманизм».

Как символичны эти ответы! О многом они говорят, многое раскрывают. И прежде всего — высокие нравственные принципы, которые воспитывают в наших детях школа, комсомол.

Дом комсомольца-школьника делает полезное и нужное дело.

А. БОЛЬШАКОВ,
А. ФРЕНКЕЛЬ

ХАЛЧАЯНСКАЯ НАХОДКА

Убегают вдаль ряды хлопчатника. У арыков склонили вихрастые макушки тал и тутовник. На горизонте знойное марево. Глинобитные дувалы, плоские крыши. Это — селение Халчаян, Сурхандарьинской области Узбекистана, колхоз имени Калинина.

Голова воина.
Необожженная раскрашенная глина.

Кто знает о Халчаяне сегодня? Разве что окрестные жители. А завтра о нем напишут книги. Ныне безвестное селение будет упоминаться рядом с Пергамом и Новгородом, Бонампаком и Тассили.

В Халчаяне сделано открытие!

...Механизаторы решили выровнять площадку РТС. Едва нож бульдозера врезался в глиняный холм, раздался скрежет и машина заглохла. Собрались люди, раскопали землю. Смотрят: база колонны. Немедленно на место происшествия вылетела Галина Анатольевна Пугаченкова, профессор, доктор искусствоведческих наук: для историка архитектуры кусок колонны — то же, что отпечаток окаменелой рыбы для палеонтолога.

Галина Анатольевна не может спокойно говорить о халчаянской находке. У нее тонкое, нервное лицо и руки труженицы. Этими руками вместе с сотрудниками и рабочими просеяла она тонны едкой пыли, пока не появились контуры античного города. Мощные крепостные стены, стрелковые площадки, бойницы. Здания дворцового типа, воздушные террасы-айваны.

Но главное было впереди. Началась расчистка парадного зала. Неожиданно на археологов глянуло свирепое красно-медное лицо. Черные, словно говорящие глаза. Клочковатая борода. Перекошенный чувственный рот. Потом еще скульптура, еще... Когда-то весь зал опоясывали горельефные композиции. Тронная сцена, сцена битвы, фриз с амурами, актерами, музыкантшами...

Так были обнаружены халчаянские шедевры.

Что это? Случайность? Может быть, если бы не нож бульдозера, древняя скульптура так и осталась бы навек погребенной? Нет. Случай только ускорил открытие.

Сурхан-Дарьинский оазис уже давно занимал умы археологов. В древности этот район назывался Чаганианом. Бесчисленные тепе — правильной формы холмы, что скрывают развалины античных и средневековых поселений. Мощный культурный слой. Поля буквально усеяны черепками, точно древние здесь только и занимались битьем посуды...

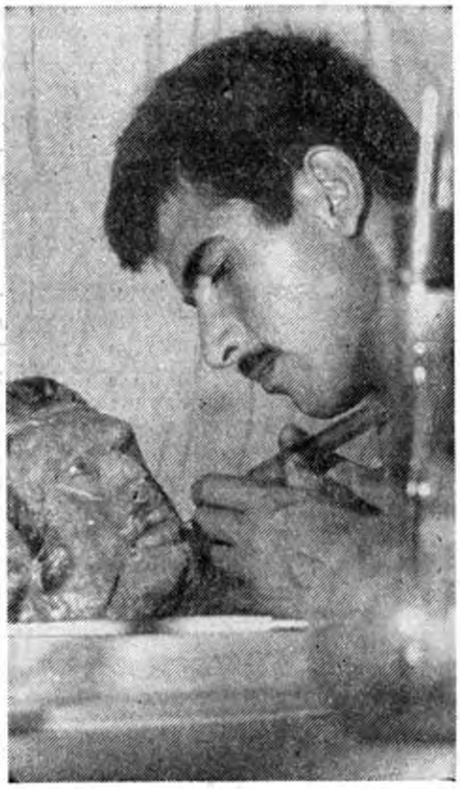
Еще Александр Македонский нашел здесь богатые города, в которых жили стройные, красивые люди, предки нынешних таджиков. Где-то в этих краях полководец взял в жены красавицу Роксану. Здесь же поженились многие его военачальники. На рубеже на-

шей эпохи (именно тогда была создана халчаянская скульптура) район среднего течения Сурхан-Дарьи напоминал бурлящий котел. Политические распри, заговоры, междоусобица — и сражения. «Возможно,— предполагает Галина Анатольевна,— халчаянская батальная сцена передает один из эпизодов войны саков с парфянами».

...Открытие — словно снежный ком. Все больше обрастает оно гипотезами. Все больше людей втягивается в его орбиту. Молодой скульптор Дамир Рузибаев чуть свет спешит в Ташкентский институт искусствоведения. Не пощадило время скульптуру. Трещины, сколы, многие фрагменты навсегда утрачены. Дамир и его старший товарищ Хаким Туснутдинходжаев борются со временем. Нелегкая это борьба.

Голова воина в странном шлеме. Скорбно и удивленно приподняты брови. Глаза широко раскрыты. И такова сила искусства, что чудится: не высушили два тысячелетия в них тайную слезинку. Что видят эти глаза? Гибель друзей, войска? Поражение?..

Вот прекрасное женское лицо. Венцом собраны пышные волосы. Портрет хищноносого старика. Узкое, худое лицо. Костлявые пальцы вцепились в острый клин бороды. Мефистофель, созданный на тысячу восемьсот лет раньше скульптуры Антокольского...



Дамир Рузибаев реставрирует фрагмент халчаянской скульптуры.

Неизвестные мастера (судя по манере, их было несколько) создали произведения искусства, которые могут быть смело поставлены рядом с высшими достижениями человеческого гения. Но не только это определяет ценность халчаянской находки. Удивительный сплав греческого и местного искусства, новое художническое видение — вот основное. Как новгородские зодчие и иконописцы, взяв все лучшее у византийцев, создали свою самобытную школу, так и халчаянские скульпторы открывают перед нами новую главу в истории искусства. Скульпторы древнего Чаганиана профессиональны в лучшем смысле слова. Они свободно владели искусством композиции, прекрасно знали анатомию, отлично чувствовали материал. А материал небывалый для монументальной скульптуры: необожженная раскрашенная глина.

Около тридцати скульптурных портретов нашли археологи. Но это — только начало. Еще не завершены раскопки парадного зала. А дальше? Если такие сокровища были обнаружены в небольшом городке, то какие же открытия ожидают ученых в столице? А Галина Анатольевна нашла столицу древнего Чаганиана. Ее скрывает колоссальный холм Дальверзинтепе...

Впереди много работы. Ведь перевернута только первая страница открытия!

К. РОМАНОВ

УЛИЦЫ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ» НА ЦЕЛИНЕ

В совхозе «Булаевский» Целинного края есть улица Университетская. Родилась она летом 1959 года, когда 330 студентов физического факультета Московского государственного университета впервые приехали на целину строить.

Сооружались новые дома, рождались новые улицы. И студенты давали им «свои» имена. Так появились на домах таблички с названиями: «улица Студенческая», «Историческая», «имени 1 сентября»...

Начиная с 1959 года студенты крупнейших вузов и университетов страны проводят летние месяцы на колхозных и совхозных стройках Целинного края. Будущие ученые, педагоги, командиры производства три месяца в году работают с мастерком и лопатой.

Этим летом в Целинном крае трудятся 16 тысяч студентов. Среди них можно встретить посланцев вузов Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Тбилиси, Баку, Казани, Полтавы, Ростова, Томска, Усть-Каменогорска. В 216 целинных совхозах им предстоит освоить 20 миллионов рублей капиталовложений — в два раза больше, чем в прошлом году. По объему работ это почти строительный трест.

Перечислим, для примера, задание одного типичного отряда строителей — студентов факультета электрификации и автоматизации промышленности и транспорта Московского энергетического института. В совхозе «Кайнарский», Астраханского района, Целинного края, они должны соорудить шесть двухэтажных четырехквартирных домов, пять одноэтажных, помочь завершить строительство школы, а также построить два арочных коровника.

Помимо этого, студенты взяли на себя еще одно добровольное обязательство: создать местные «Лужники». В первое же воскресенье после своего приезда они начали строить в степи, рядом с поселком, совхозный стадион. С тех пор каждый день после конца работы поочередно одна из бригад брала лопаты и отправлялась готовить футбольное поле, ямы для прыжков, волейбольную, баскетбольную и городошную площадки.

Почин «энергетиков» поддержала вся молодежь края. В этом году в Целинном крае с помощью студентов должно быть построено 229 стадионов.

Г. Я.

Андрей СТАРОСТИН

Тяжелая болезнь или временное недомогание?

Фото В. Гребнева.

Что происходит с нашим футболом?

Последние месяцы в нашем футбольном хозяйстве неспокойно. Любимый народом вид спорта печатно и устно подвергался резкой критике. И для этого есть все основания: наша сборная команда в недавнем прошлом без особого успеха выступила в чилийском чемпионате. Армия болельщиков осталась неудовлетворенной: призового места в мировом первенстве мы не завоевали, хотя и сумели подтвердить свою принадлежность к числу восьми сильнейших команд мира.

Со дня поражения в Арике прошло более года. Но со страниц газет, журналов, на трибунах стадионов по-прежнему раздаются возмущенные голоса обозревателей и болельщиков. На сей раз почти все в один голос говорят о деградации советского футбола. И отмахнуться от этого, промолчать сегодня уже нельзя.

Малоинтересные игры в начале сезона, конечно, раздражают зрителей, желающих видеть футбол эмоциональный, содержательный, творческий и, во всяком случае, результативный. К сожалению, похвастать обилием хороших матчей в сезоне мы не можем.

Я вовсе не собираюсь «реабилитировать» плохую игру наших футболистов, но вместе с тем, наверное, нужно объяснить, чем она вызвана.

Это необходимо сделать хотя бы для того, чтобы, не теряя самообладания, постараться выправить существенные недостатки, свойственные нашему весеннему футболу. Я имею в виду матч сборной команды СССР и футболистов итальянского клуба «Фиорентина» (как известно, он закончился нашим поражением со счетом 1 : 3); встречу сборной команды СССР со сборной командой Швеции — «матч престижа», который также закончился поражением советской сборной со счетом 0 : 1; и, наконец, третий международный матч — с бразильской командой «Фламенго», который закончился со счетом 0 : 0.

Конечно, эти неудачи не столь огорчительны, как поражение от чилийцев на мировом чемпионате. Но и они вызвали справедливое раздражение болельщиков, рассматривавших все эти неудачи как закономерное продолжение чилийских.

Так что же все-таки происходит с нашим футболом?

Попробуем разобраться. Попытаемся установить: действительно

Отличный бросок Льва Яшина...

ли катится наш футбол вниз по наклонной плоскости или есть лишь недостатки, порожденные особыми условиями.

Наша сборная команда (а именно ее игра является объективным мерилом уровня нашего футбола) готовилась к чилийскому чемпионату четыре года. За это четырехлетие наши футболисты выиграли Кубок Европы и, пройдя официальные турнирные соревнования, смогли принять участие в финальных играх мирового чемпионата.

За время подготовки к выступлениям в Арике коллектив сборной команды провел тридцать матчей с национальными сборными других стран. Результаты таких встреч в какой-то мере тоже определяют действительный уровень класса игры. Из этих 30 матчей наши футболисты выиграли двадцать три, три свели вничью и четыре матча проиграли, в том числе команде Швеции. Побежденными оказались национальные сборные Чехословакии, Венгрии, Аргентины, Уругвая, Югославии и других «именитых» футбольных стран. Баланс, как видим, неплохой.

Если не забывать, что последние матчи, выигранные нашей сборной командой, были не так уж давно, то вряд ли можно делать вывод, что за истекшие несколько месяцев лучшие мастера советского футбола — такие, как Яшин, Нетто, Иванов, Метревели, Понедельник,— вдруг сразу разучились играть, а наша сборная, с боями вышедшая в верхнюю часть таблицы мирового первенства, неожиданно превратилась в коллектив, потерявший все свои спортивные, моральные и физические достоинства. Я думаю, что такое утверждение противоречит логике фактов.

Мировой чемпионат — соревнование высокого спортивного накала. И любая команда, которая с полным напряжением всех своих нравственных и физических сил принимала участие в штурме «золотой вершины»,— повторяю, любая команда, как бы она ни закончила эту борьбу,—выходит из этого соревнования сильно «амортизированной».

История мировых чемпионатов свидетельствует, что участники мирового первенства, как правило, в последующий, ближайший после чемпионата период снижают качество своей игры. Сказывается естественная депрессия. Взглянем хотя бы на результаты выступлений сборной команды Бразилии в европейском турне 1963 года. Они подтверждают правильность этого положения. Потерпела ряд существенных неудач и сборная команда Чехословакии: как известно, она заняла второе место в Чили, а сейчас выбыла из соревнования на Кубок Европы, проиграв сборной команде ГДР. Думаю, что одной из причин этого поражения чехословацких игроков явилась недавняя затрата энергии, нервов и воли в Чили.

Может ли все это служить оправданием неудач нашей команды на старте сезона? Полным, конечно, нет. Но вместе с тем, когда мы анализируем положение в нашем футболе, этот немаловажный фактор нельзя сбрасывать со счетов. Ибо в этом заключается и трудность и особенность нынешнего сезона.

Есть и другие сложности. Как известно, Федерация футбола в этом сезоне реконструировала календарь и перешла к так называемой классической системе розыгрыша первенства страны в два круга, включив в первую группу класса «А» двадцать команд. Календарь игр сделался значительно плотнее, и тренерам в новых условиях пришлось работать с учетом этой дополнительной усложненности. Дистанция стала длиннее и труднее. А вдобавок ко всему предсезонный период подготовки команд к такому удлиненному марафону оказался неблагоприятным: погода в феврале—марте была как назло плохой. Естественно, что на старте соревнований наши команды, а вместе с ними и футболисты сборной СССР не могли еще обрести лучшую спортивную форму. Это второй (и немаловажный) фактор. Правда, и его нельзя принять как оправдание, но отказываться от него как от объяснения, если мы хотим правильно анализировать имеющиеся недостатки, тоже нельзя.

И, наконец, третье: тактическая перестройка. Она сейчас завладе-

ла умами и треперов, и зрителей, и комментаторов, и журналистов. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство любителей футбола (я включаю сюда и тренерский состав, поскольку все мы любим футбол одинаково большой любовью) рассматривает так называемую бразильскую систему игры как панацею от всех футбольных бед и зол.

«Бразилия! Бразилия! Бразилия!» — только и слышно, когда разговор заходит о современной тактике игры. Восторг небезосновательный. Бразилия — двукратный чемпион мира. И совершенно естественно, что добиться таких успехов на протяжении четырех лет возможно только при самой современной, самой прогрессивной системе игры. И нет ничего плохого в том (а точнее говоря, даже хорошо), что бразильская тактика перекочевала на европейский континент и взята на вооружение нашими футболистами.

Но освоение любой новой системы на первых порах всегда создает дополнительные трудности. А трудности, даже временные, обычно влекут за собой некоторое снижение качества. Даже на промышленных предприятиях введение в строй совершенных автоматических линий требует порой временного снижения плана. Вот почему и этот фактор нельзя не учитывать, говоря о наших неудачах.

Кстати, о бразильской системе. Освоение ее (я высказываю свою точку зрения) затрудняется еще и различиями в этнографических особенностях, свойственных нашим континентам. Мы северяне, они южане. И я не побоюсь высказать как гипотезу, что бразильская система игры быстрее привьется у грузинских и армянских футболистов, чем у команд северных городов.

Это вовсе не означает, что система 4 : 2 : 4, которая преподносится сейчас в нашем футболе почти как обязательная, непригодна для московских команд или для команд Ленинграда, Прибалтики. Я хочу лишь подчеркнуть, что для коренной тактической перестройки необходим разбег во времени. Он нужен, чтобы разобраться во всем глубоко, досконально и отобрать из бразильской системы только то лучшее, что пойдет на пользу нашему футболу. Но делать это надо, не меняя принципов, на которых росла и развивалась советская школа футбола, то есть не утрачивая атлетических качеств, скоростного маневра и высоких моральных достоинств, как характерных особенностей советских спортсменов.

Сегодняшний футбол мало похож на довоенный или даже на футбол первых послевоенных лет. Новая система, новые тактические варианты предъявляют новые требования к игрокам. Защитник современного футбола в мое время, когда я играл, вероятно, считался бы превосходным исполнителем, пригодным для игры в нападении. Техническое мастерство обогатилось новыми приемами ведения, остановки, передачи мяча и ударов. Футбол, как правильно заметил один из журналистов, стал интеллектуальным. Но вместе с тем скоростная выносливость и физическая подготовка по-прежнему остаются тем фундаментом, на котором расцветает и техника и тактика.

На старте сезона наши футболисты еще не обрели лучшей спортивной формы, а техническое мастерство, заметно уступающее бразильскому, не было достаточно качественным, чтобы позволить нападающим успешно пробиваться сквозь заслоны защитных линий.

Встреча нашей сборной с командой «Интернационале» (Италия). На последних секундах игры В. Иванов сильным ударом сравнял счет. 2 : 2.

Этим, быть может, и определяется малая результативность игроков. Короче говоря, трудное освоение новой системы — одна из немаловажных причин, вызвавших болезненные процессы в нашем футболе.

Я думаю, что с повышением физической готовности игроков прямо пропорционально будет повышаться и содержательность и эффективность борьбы на футбольных полях.

И все же, несмотря на все эти объективные причины, мне хочется сказать, что критика в адрес наших футболистов была справедливой. Зритель не хочет считаться со сложностями, с трудностями и особыми условиями. Он всегда хочет видеть красивый, содержательный, эффективный футбол.

Однако даже под самым сильным критическим огнем не следует терять самообладание и делать заключения, уничтожающие наш футбол. Объективный анализ неудач не должен лишать нас оптимизма. Задача заключается в том, чтобы из этой критики сделать нужные выводы, и прежде всего в психологической подготовке наших команд. Впереди встречи нашей первой сборной с командой Италии.

В оставшееся время мы должны создать благоприятную атмосферу для игроков и тренеров. Им предстоит решать сложные задачи. Сейчас они, говоря языком легкоатлетов, еще только «разминаются». Результаты разминки и вызвали резкий критический обстрел.

Анализируя сегодня фактическое состояние советского футбола, я вижу все основания полагать, что неудачи, получившие острую и основательную оценку, безусловно, будут исправлены. У нас есть достаточно спортсменов, обладающих высоким мастерством. Мы не должны рассматривать еще полных сил и энергии Чохели, Шестернева, Данилова, Воронина, Маношина, Метревели, Понедельника, Хусаинова, Месхи и других как игроков, уже утративших перспективу или растерявших за несколько месяцев свои спортивные качества.

Я убежден, что и ветераны футбола, получившие в буквальном смысле слова мировое признание, такие игроки экстра-класса, как Яшин, Нетто, Иванов, еще могут с честью защищать цвета национальной сборной команды в труднейших соревнованиях на Кубок Европы.

Я вовсе не хочу, чтобы меня считали адвокатом нашего футбола. Однако, будучи тесно связанным с ним на протяжении десятков лет, я вижу его неуклонный рост. И чилийские неудачи или майские неприятности не лишат меня оптимизма. Я верю, что наш футбол с честью выйдет из предстоящих испытаний. Но вера без дела мертва. И рассматривать подготовку нашей команды в отрыве от интересов миллионов зрителей, от влияний прессы, от высказываний отдельных специалистов, конечно, нельзя. Поэтому, когда я говорю о психологической подготовке команды, то прежде всего имею в виду именно ту атмосферу доброжелательства, когда в меру и заслуженно критикуют, но в меру и заслуженно признают подлинные достоинства.

Критики было достаточно. Скажем несколько слов о достоинствах. Выступление нашей «олимпийской» сборной в двух официальных матчах против олимпийской команды Финляндии позволяет нам это сделать. Дело не в том, что мы добились побед с крупным счетом (7 : 0 и 4 : 0). Важно, что в этих играх можно было увидеть высокое индивидуальное мастерство наших молодых футболистов. Б. Казаков, Б. Серебрянников, А. Биба и их партнеры «осмелели». Ловкие финты, исполняемые на хорошем техническом уровне, находили в их игре логическое завершение в сильнейших ударах по воротам противника. Забитые ими мячи были на редкость красивы.

Встреча сборной наших клубов с чемпионом Венгрии «Ференцварошем» также принесла определенное удовлетворение. В ходе этой игры наши футболисты не только не уступали венграм, но даже значительно превосходили их в скорости и выносливости. Очевидно, что «зеленый» майский футбол к концу июля дозрел до нужной спелости. Футболисты обрели уверенность в своих действиях. Например, гол, забитый после комбинации Короленков—Иванов — Метревели — Гусаров, можно считать образцом футбольного мастерства. К сожалению, не всегда так получается. И в этом матче наш ансамбль еще временами фальшивил. Но срывов было значительно меньше, чем мы наблюдали их, к примеру, в матчах со сборной командой Швеции или с клубом «Фиорентина».

Похвала в меру не вредит. Более того, она бывает нужна. В особенности в те трудные дни, когда у команды на смену лихорадке неуверенности начинает приходить устоявшаяся зрелость.

Так или иначе, но, рассматривая состояние нашего футбола, я не нахожу в нем признаков тяжелого заболевания, ведущего к деградации. Наоборот, я считаю, что вполне можно поставить благоприятный диагноз. Основанием для него должны послужить и последние выступления наших футболистов — в играх на первенство страны и в международных встречах. И те и другие проходят сейчас на достаточно квалифицированном уровне и позволяют сделать обнадеживающий вывод: кризис миновал, и к матчу со сборной Италии наша команда может прийти с хорошо отточенным тактическим, физическим и психологическим оружием.

Без твердой веры, без твердой убежденности большие и хорошие дела не делаются. А у нас, право же, есть все основания для такой веры.

Для младших братьев и сестер

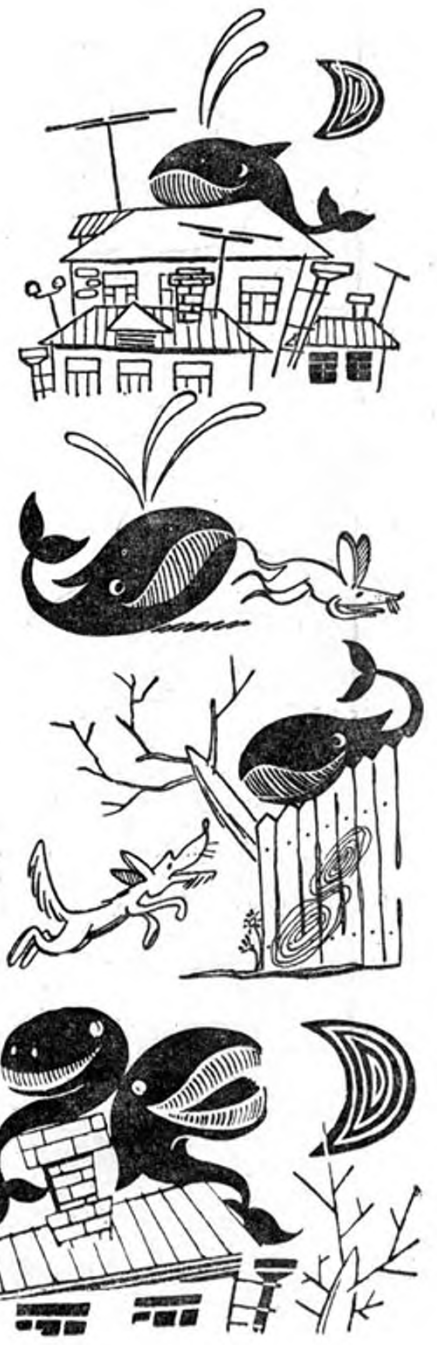
Борис ЗАХОДЕР

Рисунки И. Оффенгендена.

Кой и Кой

К. И. Чуковскому

В этой сказке
Нет порядка:
Что ни слово,
То загадка!
Вот что сказка говорит:
— Жили-были
Кот и Кит.
Кот
Огромный, просто
страшный!
Кит
Был маленький, домашний.
Кит мяукал,
Кот пыхтел.
Кит
Купаться не хотел,
Как огня, воды боялся!
Кот
Всегда над ним смеялся.
Время так проводит
Кит:
Ночью бродит,
Днем храпит.
Кот
Плывет
По океану,
Кит
Из блюдца ест сметану!
Ловит Кит
Мышей
(На суше),
Кот на море
Бьет баклуши!
Кит царапался, кусался.
Если ж был неравен
спор,—
От врагов своих спасался,
Залезая на забор.
Добрый Кот
Ни с кем не дрался,
От врагов уплыть
старался:
Плавниками бьет волну
И уходит
В глубину...
Кит любил залезть
повыше,
Ночью песни пел
на крыше.
Позовешь его:
— Кис-кис!
Он охотно спрыгнет вниз.
— Кто там по морю
плывет?
— Вероятно, рыба-кот!
— Кто на дереве сидит?
— Очевидно, Васька-Кит.
...Так бы все и
продолжалось
Без конца, само собой,
Но развязка
приближалась:
В море вышел
Китобой!
Зорко смотрит



Капитан,
Видит, в море
Бьет фонтан.
Он команду
Подает:
— Кит по курсу!
Полный ход!
Китобой
Подходит к пушке.
Пушки — это не игрушки!
Я скажу
Начистоту,
Не завидую
Киту!
— Мама! —
Крикнул Китобой,
Отскочив от пушки.—
Что же это?
Хвост трубой...
Ушки на макушке...
Стоп, машина!
Брысь, урод!..
Эй, полундра!
В море —
Кот!!!
— Успокойся! Что
с тобой?
— Я,— кричит,—
не КОТОБОЙ!
Доложите капитану:
Я стрелять в Кота
Не стану!
— Всем-всем-всем!—
Дрожа, как лист,
Телеграмму шлет
Радист:

— ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ!
НА НАС ИДЕТ
ЧУДО-ЮДО-РЫБА-КОТ!
ТУТ КАКАЯ-ТО ЗАГАДКА!
В ЭТОЙ СКАЗКЕ
НЕТ ПОРЯДКА!
КОТ ОБЯЗАН ЖИТЬ
НА СУШЕ!
СОС! (СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ!)

И в ответ
На китобазу
Вертолет
Садится сразу.
В нем
Ответственные лица
Прилетели
Из столицы:
Доктора,
Профессора,
Медицинская сестра,
Академик По Котам,
Академик По Китам,
С ними семьдесят
студентов,
Тридцать пять
корреспондентов,
Два редактора
с корректором,
Кинохроника
с прожектором,
Юные натуралисты —
Крупные специалисты.
Все на палубу спустились,
Еле-еле
Разместились...
Разбирались
Целый год,
Кто тут Кит
И где тут Кот.
Обсуждали,
Не спешили
И
В конце концов
Решили:
«В этой сказке нет
порядка.
В ней ошибка,
Опечатка!
Кто-то
Против всяких правил
В сказке буквы
переставил:
Переправил
Кит — на Кот,
Кот — на Кит,
Наоборот!»
Ну
И навели порядок.
В сказке больше нет
загадок.

В океан
Уходит Кит.
Кот на кухне
Мирно спит.
Все как надо,
Все прилично...
Сказка стала
на «отлично»!
Всем понятна
И ясна.
Жаль,
Что кончилась она!

Сказка про Ёжика

По мотивам польской поэтессы Ванды Хотомской.

Среди елок и осин
Еж
Устроил магазин.

На витрине буквы четки:
«В магазине —
Щетки, щетки,
Всех размеров
И сортов,
Назначений
И цветов:
Обувные,
Платяные,
Половые
И зубные,
Для усов
И для ресниц,
Для мужчин
И для девиц,
Для обоев,
Для ковров —
Словом,
Выбор —
Будь здоров!»
Всем нужна
В хозяйстве
Щетка.
И пошла торговля
Ходко.
Постепенно
Входит в раж
Наш
Удачливый
Торгаш:
Продавал
Зубную щетку —
Завернул
Родную тетку.

Вместо щетки
Платяной
Распростился он
С женой!..
Ничего не замечает —
Только деньги получает!
Вместо щеток
Для ногтей
Продает родных детей!

Но когда Ежова сына
Понесли
Из магазина,
Кто-то крикнул:
— Глупый Еж!
Ты кого же
Продаешь?!

Обмер Ежик
И...
Свернулся...
...К жизни
Он
Уж не вернулся.

Говорят,
С тех пор
Повсюду
Моют
Ежиком
Посуду!

Г. ГОЛЕНДЕР

На общественных началах

Рисунок И. Бронникова.

— Нет-нет, если ты опять насчет туристической базы, то меня нет,— отбивался директор обувной фабрики от секретаря комсомольской организации Коли Сорокина.

— Иван Михайлович...

— И не проси, денег на это у меня все равно нет.

— Иван Михайлович, выслушайте,— молил напористый Коля,— никаких денег не надо. Мы сами все сделаем... сами, на общественных началах!

— Да ну?! Это уже другой разговор... Постой, а чего же ты от меня хочешь?

— Поддержка нужна... Нет-нет, только моральная. Есть возможность приобрести списанный пароход...

Директор сделал жест, означающий «Сгинь, нечистая сила!», и испуганно заходил по кабинету.

— Сколько же будет стоить это удовольствие?

— Бесплатно! — победоносно заявил Коля.— На этом пароходе и будет наша туристическая база. Построим дебаркадер и возле него поставим на прикол пароход. Нужно только заплатить за буксировку... Но это будут последние деньги. Все остальное мы сделаем сами, на общественных началах.

— Ладно,— сдался директор,— если на общественных, давай действуй.

И Сорокин начал действовать.

— Алло! Деревообделочный цех? Сорокин. Да... все в порядке. Только вот фанера нужна... Борта кое-где починить... Тысячу квадратных метров. Что-что? Говоришь, что из такого количества фанеры новый пароход построить можно? Ну, это ты зря.

— Алло! Сергей Петрович! Ты, конечно, в курсе? Спасибо... все в порядке... только линолеум нужен... полы покрыть на пароходе, а то как-то некрасиво... Метров двести... Почему не можешь? Знаю, что для производства. А я для кого? Для дачи, что ли? Ты мне мероприятие срываешь.— Сорокин положил трубку и сокрушенно пробормотал:— Недопонимают некоторые... Он, видите ли, считает, что этот пароход имеет отношение к обувной промышленности только тем, что похож на старую калошу.

— Алло! Красильный цех? Анна Васильевна? Да... Спасибо. Да вот... белила нужны. Пароход покрасить. Санинспекция за горло взяла. Говорит, что оскверняет своим видом зону отдыха. Да, литров пятьдесят... Пол-литра? Только? Как личное одолжение? Мне же пароход красить, а не табуретку.

— Алло! Склад? Все нормально. Водопроводные трубы нужны. Да... метров двести... Без разрешения директора не выдашь? Ну и что, что брал на прошлой неделе? Кто же знал, что их столько пойдет. Что значит не хочешь слышать про этот пиратский корабль?

— Все в порядке,— радостно сообщил Коля, входя в кабинет директора.— Кое-какие материалы мы достали, а вот людей нет. Я здесь подготовил списочек самых необходимых, кого надо командировать на пароход: бригаду плотников, бригаду маляров, бригаду электриков, пару сварщиков... Да, чуть не забыл, водолаза надо где-то достать, у нас на фабрике такой должности ведь нет.

— Подожди, подожди! На общественные работы я не командирую. Ты же все обещал делать на общественных началах. Какие же могут быть командировки! И так денег черт знает сколько вбухали в этот «бесплатный» пароход! Все производство уже на него работает. Что у нас, обувная фабрика или судовая верфь, в конце концов?

Однако отступать было поздно. Обувная фабрика бойко строила пароход.

— Иван Михайлович, с электричеством для парохода надо бы решить. А то проводку сделали, а ток дают только два часа в сутки. Но я уже кое-что узнал в этом направлении. На одной электростанции генератор списывают. Можно приобрести совершенно бесплатно, а остальное мы сами сделаем: починим, перемотаем, отрегулируем... на общественных началах...

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

Из цикла «Раздумья о молодых поэтах»

1

Пишите, юные, на свой манер.
Дерзайте быть новаторами ярыми!
Но иногда писать не вредно и по-старому:
Как Пушкин, например...

2

Отнюдь не значит этот разговор,
Что Пушкин Маяковского важнее.
Средь критиков, о том ведущих спор,
Мне тот смешон, кто до сих пор
Поэтам не велит проламывать забор,
Воздвигнутый из ямба и хорея.

3

Я всей душою голосую
За рифму сложную, за рифму составную,
За рифму точную, за ассонанс в строке.
Но кто-то строит рифмы на песке,
Иль вешает на тонком волоске,
Иль со спокойствием новатора большого
Рифмует «телефон — корова».

4

Мы молодых поэтов не лелеем.
Их критики иль славят или гробят...
А по-моему,
Не следует юнцов ни поливать елеем,
Ни обливать помоями.

Ю. РИХТЕР

Налево и направо

В универмаге было это.
Везде торговля бойко шла,
В отделе бус, носков, беретов
История произошла.

Стояла за прилавком Тома,
Шел Томе двадцать первый год,
Налево Томин был знакомый,
Направо — остальной народ.
Налево так она сказала:

— Я заграничный фильм видала,
Там героиня хлещет кьянти,
Герою говорит она...

Ну вот что, гражданин,
отстаньте:
На всех товарах есть цена.

(Сомнений не возникнет, право,
Что это сказано направо.)
Потом налево:

— Вспоминаю:
Сказал герой-миллионер...

Нет, я, гражданочка, не знаю,
Когда поступит ваш размер!

Опять налево:
— В шумном зале
Шепнула вдруг ему она...

Ну что вы, граждане, пристали?
Вас много здесь, а я одна.

И вновь о фильме:
— После бала
Она письмо ему писала,
В письме — любви на целый том!
Потом она его послала...

Идите... выше этажом.

Затем налево:

— Задрожала
Вдруг героиня, дав ответ...

У завотдела книга жалоб!
Я закрываюсь на обед!

Так разговаривала Тома:
Направо — тоном громче грома,
Налево — речи, словно мед.
Никак понять не может Тома,
Что, как ни мил ее знакомый,
Зарплату платит ей народ.

Рисунки Р. Вольского.

Короткие раздумья

Девиз лжеца

Неправда
Гораздо правдоподобнее,
А главное —
В употребленье удобнее!

●

Бег с препятствиями

Он не спортсмен,
Но во имя карьеры
Готов одолеть он
Любые
барьеры.

●

О шутке

Жизнь не шутка.
Но от шуток откажись —
И
безжизненной
тотчас же
Станет жизнь.

●

Между строк...

Нет,
я не родился, как видно,
в сорочке,
И бог
был ко мне
слишком строг.
...Сказал мне редактор:
— Мы платим за строчки,
А здесь у вас все между строк!

В. ТАТАРИНОВ

Мел

Мел
В классе зашумел:
— Все, хватит жить в тоске,
Писать чужие мысли на доске!
Исчез.
Но вскоре
Его стихи
Я встретил на заборе.
В нем хватка мага!
Он твердо верит до сих пор:
Где стих не выдержит бумага,
Там смело выдержит забор!

Ф. НОСКОВ

В НОМЕРЕ:

Владимир ОРЛОВ. Соленый арбуз. Роман 2

Юрий РЯШЕНЦЕВ. «Зеленое лето стоит над рекой...» Горожане. В зоопарке. Стихи 37

Римма КАЗАКОВА. «Очень просто народ сочиняет...». Волчьи ягоды. «Обнимаются лошади неуклюже...». Песенка о парусе. Улыбка. Под ногами земля молодая... В заграничной командировке. Стихи 38

Фазиль ИСКАНДЕР. Баллада о зависти. Стихи 40

Владимир МАЛЫХИН. Два рассказа: 1. Морские волки. 2. Как Фидель Кастро выручил Федю Сорокина . . . 41—45

Алексей БАЛАКАЕВ. Три рисунка. Маленькая повесть (перевод с калмыцкого) 46

Евгений ЕВТУШЕНКО. Опять на станции Зима. Смеялись люди за стеной. «Очарованья ранние прекрасны...». «Нет, мне ни в чем не надо половины!..». Невеста. Оленины ноги. Стихи . . . . . 57—61

С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Видеть завтрашний день! 62

Наши публикации

Письма твоего сверстника. Из неопубликованных писем Бориса Горбатова 70

Из прошлого

Н. ТАГУНОВ. Первый урок 78

А. ЛЕВИНА. Личная форма глагола. Очерк 81

Тамара ЖИРМУНСКАЯ. Глаза. Стихи 86

Лев БАШКАНОВ. Плюс один рейс. Очерк 87

Наш фельетон

Леонид ЛИХОДЕЕВ. Голубиное слово 92

У нас в гостях Манолис Глезос . . . . . 95—96

Заметки и корреспонденции

✲ О. ПЕТРОВ, Н. ИГОРЕВ. Ордену Красного Знамени — 45 лет ✲ В. ДИДОРЕНКО, Г. КУНАКОВА, Р. ПЕНФЕРОВ, В. ПУХОВ. Помним! ✲ А. БОЛЬШАКОВ, А. ФРЕНКЕЛЬ. Улица Дурова, 2 ✲ К. РОМАНОВ. Халчаянская находка ✲ Г. Я. Улицы «Университетские» на целине... . . . 97—102

Спорт

Андрей СТАРОСТИН. Тяжелая болезнь или временное недомогание? 103

Для младших братьев и сестер

Борис ЗАХОДЕР. Кит и Кот. Сказка про Ежика . . . 107—109

«Пылесос» (Страницы сатиры и юмора) ✲ Г. ГОЛЕНДЕР. На общественных началах... ✲ А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. Из цикла «Раздумья о молодых поэтах». ✲ Ю. РИХТЕР. Налево и направо ✲ В. ТАТАРИНОВ, Ф. НОСКОВ. Короткие раздумья . . . . . 110—112

На 1-й и 4-й страницах обложки — рисунок Л. КОРСАКОВА.

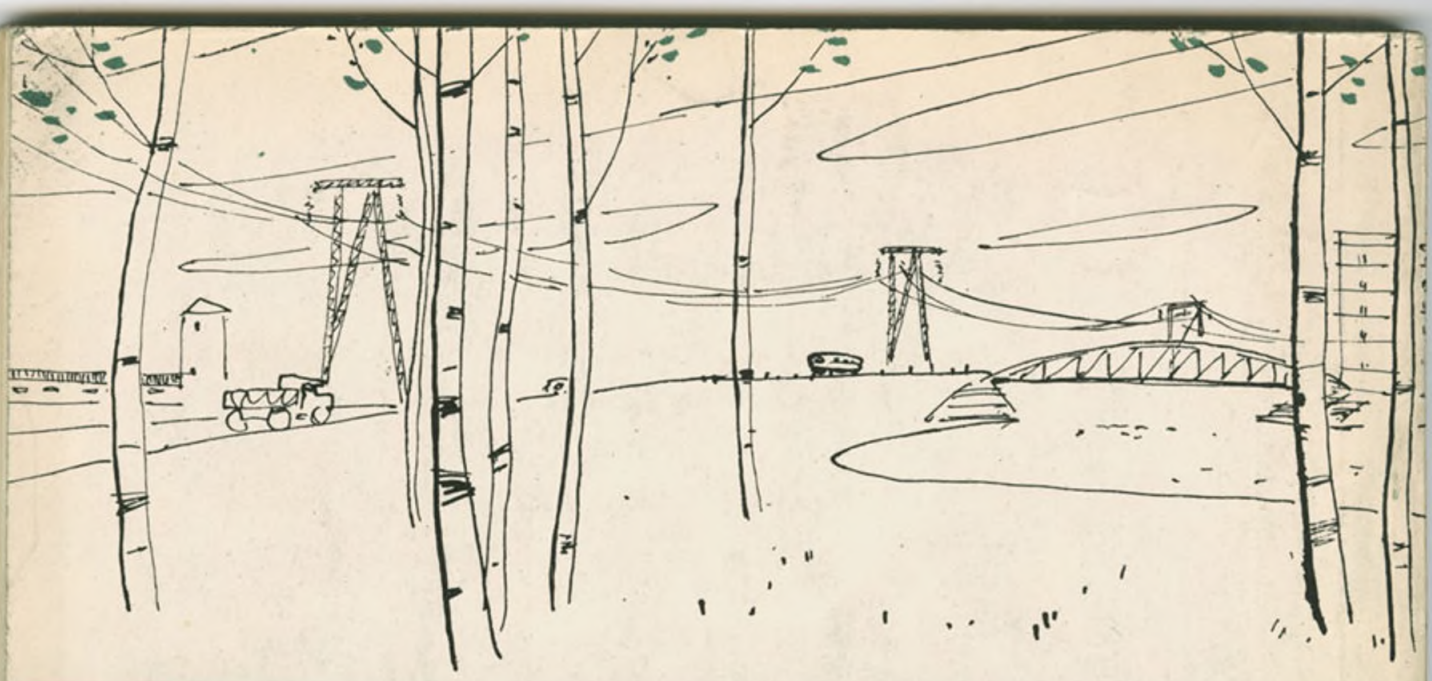
На 2-й странице обложки — цветное фото Н. МАТОРИНА «Девичий перекур» (удостоено диплома II степени на фотовыставке «Семилетка в действии»).

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00450. Подп. к печ. 13/IX 1963 г. Тираж 600 000 экз. Изд. № 1662. Заказ № 1820. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Бум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, ул. «Правды», 24.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71950